ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ФИЛОСОФСКИЙ
И ОБЩЕСТВ.-ЭКОНОМ. ЖУРНАЛ

№ 10—11
ОКТЯБРЬ—НОЯБРЬ

ИЗДАНИЕ ГАЗЕТЫ „ПРАВДА"
МОСКВА—1925

Главлит № 49540. Москва. Тираж [illegible]

Типография изд. «Правда» и «Беднота», Яузский мост, Серебрян[illegible]

СОДЕРЖАНИЕ.

Энгельс и диалектическое понимание природы.

А. Деборин.

I.

Еще задолго до появления в свет «Диалектики природы» Энгельса среди марксистов обнаружились разногласия по основным вопросам диалектического материализма. Одни стали третировать диалектику как схоластику, другие пытались отождествить диалектику с механикой. Как те, так и другие одинаково стали на ту точку зрения, что диалектический материализм исчерпывается «современным естествознанием». Естественно, что отсюда с логической необходимостью вытекало, что диалектический материализм представляет собою, вследствие совпадения или отождествления его с естествознанием, лишний балласт, от которого марксизму следует освободиться.

Наиболее «темпераментные» товарищи об'явили жестокую войну философии: эти товарищи совершенно просмотрели то чрезвычайно важное обстоятельство, что марксизм имеет свою философию, с которой он неразрывно связан и без которой он неизбежно вырождается в ревизионизм.

Марксизм, как этому учили Маркс, Энгельс, Плеханов и Ленин, есть не что иное, как диалектический материализм, душой которого является материалистическая диалектика. Марксизм ныне у многих товарищей уже оторвался от философского материализма, или же от революционной диалектики, превратившись у одних в вульгарный позитивизм, а у других в механический материализм.

Таким образом мы можем сказать, что марксизму грозит большая опасность, если не будут выяснены и устранены раздирающие ныне лагерь революционных марксистов разногласия. Ведь всякому понятно, что разногласия в области марксистской теории не могут не отразиться самым гибельным образом на «революционной практике».

Итак, основная тенденция, которая замечается у наших противников, сводится к замене диалектического материализма механическим материализмом, к замене диалектики механикой и к отождествлению, в конечном счете, диалектического материализма с «современным естествознанием», что обязательно должно повлечь за собою ликвидацию диалектического материализма. Начало этой ликвидации было положено у нас, как уже сказано, давно. Но можно было надеяться, что появление «Диалектики природы» Энгельса и заметок о диалектике Ленина заставит наших противников пересмотреть свои взгляды. Но не тут-то было. Людям, как известно, свойственно не только ошибаться, но и упорствовать в своих ошибках и заблуждениях. Человек обычно находит в книгах то, что ему хочется найти. Поэтому вполне естественно, что и наши механические материалисты в «Диалектике природы» Энгельса тоже нашли то, что им хотелось найти. Оказывается, что Энгельс проделал большую эволюцию— от диалектического материализма к материализму механическому.

Поистине бабушка история питает слабость к диалектическим шуткам. Во время безраздельного господства в естествознании механического миропонимания марксисты боролись за преодоление этой ограниченной точки зрения, опираясь на «требования» материалистической диалектики. Ныне же, когда само естествознание вступает на новый путь, среди марксистов раздаются голоса за возврат к механическому материализму. Но что особенно пикантно во всей этой трагикомической истории— это то, что своим почетным союзником они ныне провозгласили того самого Энгельса, который в течение всей своей литературной деятельности вел неустанную борьбу против механического материализма. Не будет, мне кажется, преувеличением, если я скажу, что лейтмотивом всех философских работ Энгельса является критика механического материализма с точки зрения материалистической диалектики. Это относится в одинаковой степени как к «Анти-Дюрингу», так и к «Людвигу Фейербаху» и в особенности к «Диалектике природы», где Энгельс поставил себе специальной целью дать диалектическую критику современного ему естествознания.

Энгельс вообще не обнаруживал, подобно нашим «естественникам», священного трепета перед современным ему естествознанием, а в качестве мыслителя подверг его диалектической критике с тем, чтобы очистить путь для дальнейшего его развития, освободить его от множества общепринятых предрассудков и свойственной ему специфической ограниченности.

Но прежде чем перейти к Энгельсу, не бесполезно ознакомиться с взглядами Ленина, которого ведь наши «естественники»

также склонны считать своим единомышленником. Мы увидим, что «философы» с полным основанием должны считать Ленина своим и не могут его уступить «естественникам», механическим материалистам.

Ленин в своей книге «Материализм и эмпириокритицизм» формулирует вполне ясно и определенно различие между диалектическим и механическим материализмом. Мы позволим себе привести это место целиком.

«Энгельс яснее ясного говорит,—пишет Ленин,—что Бюхнер и К° «не вышли ни в чем за пределы учений их учителей», т.-е. материалистов XVIII века, не сделали ни шагу вперед. За это и только за это упрекает Энгельс Бюхнера и К°, не за их материализм, как думают невежды, а за то, что они не двигали вперед материализма, «не помышляли раньше о том, чтобы развивать дальше теорию» материализма. Только за это упрекает Энгельс Бюхнера и К°. И тут же, по пунктам, перечисляет Энгельс три основных «ограниченности» (Beschränktheit) французских материалистов XVIII века, от которых избавились Маркс и Энгельс, но не сумели избавиться Бюхнер и К°. Первая ограниченность: воззрение старых материалистов было «механическим» в том смысле, что они «применяли исключительно масштаб механики к процессам химической и органической природы»... Вторая ограниченность: метафизичность воззрений старых материалистов в смысле «антидиалектичности их философии»... Третья ограниченность: сохранение идеализма «вверху», в области общественной науки, непонимание исторического материализма» [1]).

Таким образом первая и основная ограниченность старого материализма состояла в его механическом характере, в том, что он применял масштаб механики к процессам химической и органической природы. В этом пункте, как мы видим, Ленин вполне согласен с Энгельсом. Но сама механика с точки зрения материалистической диалектики была, так сказать, насквозь метафизична. Она исходила из учения о неизменных, непроницаемых элементах, об абсолютном характере основных законов, об абсолютных свойствах материи и проч. С точки зрения диалектического понимания явлений старая механика представляла собою оплот метафизического материализма.

Диалектический материализм не может мириться с этой механикой. Поэтому в современном кризисе механики мы должны видеть лишь подтверждение правильности материалистической диалектики, а, между тем, находятся такие товарищи, которые пытаются отождествить диалектическое воззрение с механи-

[1]) Н. Ленин. Собр. соч., т. X, стр. 200.

ческим, свести диалектический метод к механическому, не подозревая даже того, что диалектика и механика совершенно различные «категории».

Диалектика есть наука о всеобщих законах и формах движения в природе, обществе и мышлении. Ставя механику на место диалектики, необходимо распространить права механики на все явления природы, общества и мышления, превратив ее во всеобщий метод,—что в сущности иными литераторами и ораторами уже и проводится в жизнь. А между тем, происходящий ныне в самой механике кризис сводится к проникновению в нее духа диалектики. Естествознание в целом бессознательно проникается постепенно диалектическим методом.

Ленин прекрасно понимал смысл происходящего в физике кризиса; он понимал диалектический характер этого кризиса, как ему совершенно ясно было соотношение между философским материализмом, диалектикой и конкретными физическими теориями о строении материи. В подтверждение нашей мысли приведем опять несколько цитат из Ленина. По вопросу о так называемом исчезновении материи Ленин пишет: «Материя исчезает—это значит исчезает тот предел, до которого мы знали материю до сих пор, наше знание идет глубже; исчезают такие свойства материи, которые казались раньше абсолютными, неизменными, первоначальными (непроницаемость, инерция, масса и т. п.) и которые теперь обнаруживают, как относительные, присущие только некоторым состояниям материи. Ибо единственное «свойство» материи, с признанием которого связан философский материализм, есть свойство быть об'ективной реальностью, существовать вне нашего сознания» [1]).

Мне уже приходилось указывать на то обстоятельство, что современные «естественники», не понимая существа диалектического материализма, смешивают философский материализм с физическим учением о строении материи. Теперь можно еще прибавить, что они смешивают диалектику, как универсальный метод, с механикой, составляющей лишь специальный случай диалектики. В самом деле, Ленин подчеркивает неоднократно, что единственное свойство материи, связанное с признанием философского материализма, есть свойство ее быть об'ективной реальностью. Материя есть философское понятие для этой об'ективной реальности. Любое же конкретное учение о строении материи представляет собою определенное приближение к познанию абсолютной реальности.

Диалектика не мирится с раз навсегда законченными и абсолютными, конечными и неизменными свойствами материи.

---

[1]) Там же, стр. 218.

Диалектический материализм,—говорит совершенно справедливо Ленин,—настаивает на временном, относительном, приблизительном характере всех этих вех познания природы прогрессирующей наукой человека. «Но диалектический материализм настаивает на приблизительном, относительном характере всякого научного положения о строении материи и свойствах ее, на отсутствии абсолютных граней в природе, на превращении движущейся материи из одного состояния в другое, повидимому, с нашей точки зрения, непримиримое с ним и т. д. Как ни диковинно с точки зрения «здравого смысла» превращение невесомого эфира в весомую материю и обратно, как ни «странно» отсутствие у электрона всякой иной массы, кроме электромагнитной, как ни необычно ограничение механических законов движения одной только областью явлений природы и подчинение их более глубоким законам электромагнитных явлений и т. д.,—все это только лишнее подтверждение диалектического материализма» [1]). В другом месте, говоря о Дюгеме и Сталло, Ленин замечает, что оба эти физика воюют с атомистически-механическим пониманием природы. «Они доказывают ограниченность такого понимания, невозможность признать его пределом наших знаний, закостенелость многих понятий у писателей, держащихся этого направления. И такой недостаток старого материализма несомненен: непонимание относительности всех научных теорий, незнание диалектики. преувеличение механической точки зрения (курсив мой. *А. Д.*),—за это упрекал прежних материалистов Энгельс. Но Энгельс сумел (в отличие от Сталло) выбросить гегелевский идеализм и понять гениальное—истинное зерно гегелевской диалектики» [2]).

Но наши современные механические материалисты страдают не только «преувеличением механической точки зрения», как говорит Ленин, они стремятся даже к отождествлению диалектики с механикой, что несомненно заставило бы Ленина—будь он жив—весьма нелестно отозваться об этих новаторах.

II.

Теперь обратимся к Энгельсу и посмотрим, каково его отношение к механическому материализму. Прежде всего необходимо подчеркнуть, что с тех пор, как Маркс и Энгельс овладели диалектикой, они стали в резкую оппозицию к французскому материализму XVIII века из-за его механического и метафизического характера.

[1]) Там же, стр. 219. Курсив мой.

[2]) Там же, стр. 261.

Диалектическому материализму они оставались верными в течение всей своей жизни, никогда от него не отступая. Ныне же тов. Степанов, которому очень хотелось бы иметь своим единомышленником Энгельса, сделал великое открытие, которое сводится к мнимой эволюции Энгельса от диалектического к механическому воззрению. По его концепции выходит, что есть два Энгельса: Энгельс-диалектик и Энгельс-механист. До восьмидесятых годов Энгельс стоял на диалектической точке зрения. В дальнейшем же он «доразвился» до понимания диалектики, как *механики*, и перешел из донаучного состояния в научное, поднявшись до механической точки зрения. Эта *чудовищная концепция*, если бы она получила распространение и признание, нанесла бы непоправимый удар марксизму.

Нет никакого сомнения, что эта теория найдет сочувственный отклик прежде всего среди естественников, которым недостает марксистского образования и которые вообще склонны относиться презрительно к «философии», хотя бы и марксистской. Ведь не даром же Энгельс, как и Ленин, упрекают естествоиспытателей постоянно в ограниченности за их презрение к диалектике... Впрочем, и часть общественников, повидимому, страдает той же болезнью...

Итак, мы стоим ныне перед большой опасностью. Достаточно ведь только вспомнить, какое непоправимое зло принесло бы применение *механической* точки зрения к общественным явлениям. Но обратимся к Энгельсу. Быть может, Энгельс в самом деле стоял на механической точке зрения, и все мы, включая Плеханова и Ленина, находились в глубоком заблуждении на счет истинных взглядов Энгельса.

Я уже привел выше словами Ленина те *три основных признака*, которые отделяют старый материализм от материализма Маркса и Энгельса. На первом месте, как мы видели, Ленин ставит *механичность* старого материализма и соглашается с Энгельсом, что неправильно применять исключительно масштаб механики даже к процессам химической и органической природы. Это положение считалось, по крайней мере, среди ортодоксальных марксистов прочно установленным. И вот оказывается, что даже сам Энгельс в «Диалектике природы» от этого взгляда отказывается. Нам кажется, что здесь над Энгельсом произведено чудовищное насилие исключительно в целях оправдания ошибочных взглядов механических материалистов. «Диалектика природы», с нашей точки зрения, представляет собою *единое целое* в смысле выдержанности от начала до конца *диалектической* точки зрения.

В *специальном* примечании к «Анти-Дюрингу», озаглавленном «О механическом естествознании», Энгельс подробно выяс-

вяет недостаток последнего, как и ограниченность французского материализма XVIII века. Приведем подлинные слова Энгельса: «Называя физику механикой молекул, химию—физикой атомов и, далее, биологию—химией белков, я желаю этим выразить переход одной из этих наук в другую и, значит, связь, непрерывность, а также различие, разрыв между обеими областями. Итти же дальше этого, называть химию своего рода механикой, по-моему, нерационально.

Механика—в более широком или узком смысле слова—знает только количества, она оперирует скоростями и массами и, в лучшем случае, об'емами. Там, где на пути у нее стоит качество, как, например, в гидростатике и аэростатике,—она не может притти к удовлетворительным результатам, не вдаваясь в рассмотрение молекулярных состояний и молекулярного движения; она сама только вспомогательная наука, предпосылка физики... Всякое движение заключает в себе механическое движение и перемещение больших или мельчайших частей материи; познать эти механические движения является **первой** задачей науки, однако лишь первой. Само же это механическое движение вовсе не исчерпывает движения вообще. Движение вовсе не есть простое перемещение, простое изменение места; в над-механических областях оно является также изменением качества. Мышление есть тоже движение. Открытие, что теплота представляет собой молекулярное движение, составило эпоху в науке. Но если я не имею ничего другого сказать о теплоте, кроме того, что она представляет собой известное перемещение молекул, то лучше мне замолчать. Химия находится на пороге того, чтобы из отношения атомных об'емов к атомным весам об'яснить целый ряд химических и физических свойств элементов. Но ни один химик не решится утверждать, будто все свойства какого-нибудь элемента выражаются исчерпывающим образом его положением на кривой Лотара Мейера, что этим одним определяются, например, специфические свойства углерода, делающие его главным носителем органической жизни, или же необходимость фосфора в мозгу. Между тем механическая концепция сводится именно к этому; она об'ясняет всякие изменения из изменений места, все качественные различия из количественных и не замечает, что отношение между качеством и количеством взаимно, что качество так же переходит в количество, как количество в качество, что здесь имеется взаимодействие» [1]).

Мы ниже займемся разбором высказанных Энгельсом в приведенной цитате взглядов и покажем, что Энгельс, вопреки Сте-

[1]) Архив К. Маркса и Ф. Энгельса, под ред. Д. Рязанова, кн. II, стр. 143—145.

панову, оставался им верен до конца своей жизни, что ни о какой «эволюции» его в сторону механической точки зрения и речи быть не может. Вместо того, чтобы прямо признать свои ошибки и противоречия, т. Степанов валит их теперь на голову бедного Энгельса, открывая в «Диалектике природы» кучу противоречий. Было бы гораздо прямее, если бы т. Степанов заявил, что он вообще не разделяет взглядов Энгельса на диалектику, и защиту механической точки зрения принимает на себя лично.

Итак, высказанные выше Энгельсом взгляды, относящиеся к 1878 году, т. Степанов считает неправильными, от которых будто бы Энгельс впоследствии отказался. Но как раз к этому времени относится замечательная работа Энгельса, посвященная Дюрингу. В основу этой работы, вышедшей в том же году, положены взгляды, изложенные в приведенном примечании к «Анти-Дюрингу». Стало быть, прямой вывод отсюда тот, что «Анти-Дюринг» также построен на ложных основаниях. «В «Анти-Дюринге» и «Л. Фейербахе»,—пишет т. Степанов,—он (Энгельс. *А. Д.*) по существу просто повторил (курсив мой. *А. Д.*) критические замечания о «механическом материализме» XVIII в., которые были даны в сороковых годах в «Святом семействе»[1].

Что означает это великолепное—«просто повторил», я, признаться, не понимаю. «Просто повторил», не будучи согласен с самим собой? Или «повторял» неоднократно, потому что считал свою критику механического материализма правильной и не отступал от нее? Я, грешный, рискуя навлечь на себя гнев тов. Степанова, сознаюсь, что придерживаюсь второго взгляда. Нельзя же согласиться, что Энгельс занимался заведомо и сознательно распространением ложных идей...

Стало быть, в 1878 г., когда писался «Анти-Дюринг», при преступном соучастии Маркса, Энгельс стоял, по мнению тов. Степанова, на виталистической, т.-е. идеалистической, точке зрения. «Сказать, что химические и физические процессы—нечто «побочное» для явлений органической жизни,—говорит тов. Степанов по адресу Энгельса,—это значит подать виталистам не палец, а всю руку». Для тов. Степанова «бесконечно приемлемее» мысль, формулированная Энгельсом несколькими страницами раньше в той же самой главе «Диалектика и естествознание», где Энгельс восстает против жизненной силы, не отказываясь, однако, от своего общего взгляда, что «форма движения в органической природе отличается от механической, физической, химической, содержа их в себе в снятом виде».

Тов. Степанов не заметил, что Энгельс здесь (на стр. 21) стоит на той же самой точке зрения, что и на стр. 29,

[1]) «Под Знаменем Марксизма», кн. 8—9, стр. 48.

где говорится о, так называемых, «побочных формах». А, между тем, по мнению т. Степанова, выходит, что на 29 стр. Энгельс подает виталистам «всю руку», на странице же 21 он дает приемлемую для т. Степанова формулу. Как же это так? Неужели Энгельс не способен «без противоречий» связать свои мысли на протяжении нескольких страниц? Или эти «противоречия» Энгельса также приходится отнести на счет злополучной «диалектики»? Тов. Степанов при внимательном изучении «Архива» пришел к тому выводу, что одно дело—Энгельс семидесятых годов, а другое дело—Энгельс восьмидесятых годов. Теперь же мы видим, что тов. Степанов «открыл» существенные противоречия в одной и той же главе, где даны одновременно *и* виталистическая формулировка жизни, *и* анти-виталистическая формулировка.

Как же обстоит дело с «витализмом» Энгельса на самом деле? По моему мнению, противоречие здесь действительно имеется налицо, но у тов. Степанова, а не у Энгельса. Ибо как первая, так и вторая формулировка Энгельса выражают одну и ту же мысль. Поэтому, если т. Степанов отвергает первую формулировку о «побочных формах», он должен отвергнуть и вторую. Принимая же вторую, он должен признать для себя приемлемой и первую формулировку. Можно не согласиться с данными Энгельсом формулировками, но обвинения в противоречии Энгельс не заслуживает. Приведем же эти таинственные формулировки полностью и посмотрим, в чем здесь дело.

На 27—29 стр. Энгельс дает критику, так называемого, механического движения. «У естествоиспытателей,—говорит он,—движение всегда понимается, как механическое движение, перемещение. Это перешло по наследству из дохимического XVIII столетия и сильно затрудняет ясное понимание вещей. Движение, в применении к материи,—это и з м е н е н и е в о о б щ е. Из этого же недоразумения вытекает яростное стремление свести все к механическому движению,—уже Грове сильно склонен думать, что прочие свойства материи являются и, в конце концов, будут сведены к видам движения, чем смазывается специфический характер прочих форм движения. Этим не отрицается вовсе, что каждая из высших форм движения связана всегда необходимым образом с реальным механическим (внешним или молекулярным) движением, подобно тому, как высшие формы движения производят одновременно и другие виды движения.

Химическое действие невозможно без изменения температуры и электричества, органическая жизнь невозможна без механических, молекулярных, химических, термических, электрических и т. д. изменений. Но наличие этих побочных форм не исчерпывает существа главной формы в каждом случае. Мы, несомненно,

«сведем» когда-нибудь экспериментальным образом мышление к молекулярным и химическим движениям в мозгу; но исчерпывается ли этим сущность мышления? [1]). По поводу этого рассуждения Энгельса, тов. Степанов пишет: «Можем ли мы подписаться под этими строками? Я прямо говорю: нет, их следует отвергнуть. Можем ли мы утверждать, что изучение физических и химических процессов, совершающихся в организме, не продвигает нас к пониманию существа жизни?» [2]).

Прежде всего необходимо категорически отвергнуть приписываемое т. Степановым Энгельсу утверждение, будто изучение физических и химических процессов, совершающихся в организме, не продвигает нас к пониманию существа жизни. Ничего подобного, как это видно из приведенной нами цитаты, Энгельс никогда не утверждал. Зачем приписывать Энгельсу такие нелепости? Энгельс ведь говорит только о том, что «побочные формы» не исчерпывают сущности главной, основной формы. Это нечто совершенно другое, т. Степанов.

Но любопытнее всего то, что т. Степанов несколькими страницами дальше сам становится на точку зрения «главной» и «побочных форм», что, однако, ему не мешает тут же подвергнуть Энгельса «разносу». Так, по поводу той же приведенной нами цитаты, где Энгельс говорит о том, что сущность мышления не исчерпывается «сведением» его к молекулярным и химическим движениям, т. Степанов говорит следующее: «В настоящее время мы скажем: да, об'ективная сторона нервно-мозговых процессов этим исчерпывается. И более того: мы признаем, что эта об'ективная сторона связана с суб'ективною стороною необходимою связью, как причина с следствием. Но столь же бесспорно, что между об'ективной и суб'ективной сторонами для нас остается перерыв, узловая линия, отделяющая одно качество, физические и химические явления, происходящие в нервно-мозговой системе, от другого качества, от явлений сознания» [3]).

Если физические и химические явления составляют одно качество, а явления сознания—другое качество, то очевидно, что явления сознания или сущность мышления, по выражению Энгельса, не исчерпывается физическими и химическими явлениями, что в данном случае, т.-е. при изучении явлений сознания, последние являются главной формой, подлежащей изучению, а физические и химические явления не главными, а «побочными формами». Когда мы имеем дело с такими

---

[1]) Архив К. Маркса и Ф. Энгельса, под. ред. Д. Рязанова, кн. I, стр. 27—29.

[2]) «Под Знаменем Марксизма», № 8—9, стр. 49.

[3]) «Под Знаменем Марксизма», № 8—9, стр. 59—60.

мыслителями, как Маркс и Энгельс, мы не должны придираться к словам, а постараться вникнуть в их смысл. Неосторожность тов. Степанова поставила его в чрезвычайно пикантное положение: ведь он пред'явил Энгельсу обвинение в дуализме, витализме и, стало быть, идеализме. После авторитетного выступления такого уважаемого марксиста, как тов. Степанов, все буржуазные критики марксизма несомненно ухватятся за степановский «палец»—и пойдет писать губерния. Надо прямо сказать, что тов. Степанов стал жертвой своего бурного темперамента и... механического мировоззрения.

Итак, что же хотел сказать Энгельс выражением «побочные формы»? Так как Энгельс не принадлежал к механистам, а оставался всегда диалектиком, то он стремился постоянно к выяснению отношения между высшими и низшими формами движения. Вполне естественно, что ему всякий раз приходилось отыскивать специфические особенности каждой формы движения, ее связь с низшими и в то же время ее специфическое отличие от последних. Для механиста задача решается просто: сведением всего многообразия форм к механическому движению. Диалектик, разумеется, так рассуждать не может. Поэтому Энгельс и говорит, что если всякое движение свести к механическому движению, то «смазывается специфический характер прочих форм движения», что все формы движения связаны между собою и в то же время каждая из них («главная» форма движения) не исчерпывается полностью низшими формами движения, которые он называет «побочными». Тов. Степанов поднимает по этому поводу шум и зачисляет Энгельса по ведомству виталистов.

А между тем мы видим, что сам тов. Степанов, говоря о «явлениях сознания», рассматривает их как особое качество, не сводимое к физико-химическим явлениям. Но ведь о том же самом говорит Энгельс, указывая на то, что мышление не исчерпывается физико-химическими процессами. Я повторяю, можно не согласиться с трактовкой Энгельса тому, кто считает ее неправильной, но третировать Энгельса как виталиста—недопустимо.

Теперь обратимся к другой формулировке, которая оказывается с точки зрения тов. Степанова приемлемой. «Эта неразбериха (речь идет о всевозможных силах, к которым прибегают естественники. *А. Д.*),—говорит Энгельс,—привела к тому, что стали говорить о жизненной силе, и если этим желают сказать, что форма движения в органической природе отличается от механической, физической, химической, содержа их в себе в снятом виде, то способ выражения негоден в особенности потому, что сила,—предположив перенос движения—является здесь чем-то внесенным в организм извне, а не присущим ему, неотделимым от

него. Поэтому-то жизненная сила является последним убежищем всех супранатуралистов» [1]).

Разве Энгельс не говорит здесь в несколько других выражениях о том же самом, о чем он говорил на 27—29 стр.? И здесь он подчеркивает, что форма движения в органической природе с одной стороны отличается от механической, физической и химической форм, но, с другой стороны, содержит их в себе в снятом виде. Именно потому, что они «сняты» в органической жизни, они и содержатся в ней в качестве низших, подчиненных или «побочных» форм. Но, как бы предвидя упрек, который ему будет сделан тов. Степановым на счет витализма, он раз'ясняет, что витализм исходит из понятия силы, которая предполагает перенос движения и является, таким образом, чем-то внесенным в организм извне, а не присущим ему, неотделимым от него. Кто понял точку зрения Энгельса, тот никогда не сделает ему упрека в витализме, ибо Энгельс, вслед за Гегелем, ведет неустанную борьбу с понятием силы, признавая лишь разные формы движения.

Органическая форма движения представляет собою для Энгельса не что иное, как синтез механической, физической и химической формы. Теперь я спрашиваю читателя, чем эта «формулировка» отличается от той, которая дана Энгельсом в заметках, относящихся к 1881—1882 годам и которая гласит: организм есть, разумеется, высшее единство, связывающее в себе в одно целое механику, физику и химию, так что эту троицу нельзя больше разделить? По-моему, эта формулировка представляет собою лишь новую вариацию все той же мысли, высказанной в семидесятых годах. А между тем, по мнению тов. Степанова, Энгельс в заметках от восьмидесятых годов отказывается якобы от своих прежних взглядов, которые будто бы носили виталистический и дуалистический характер.

В заметках от 1881—1882 годов Энгельс будто бы перешел на механическую точку зрения. Но так как «Людвиг Фейербах» был написан, как известно, в 1888 году, то небезынтересно проверить, какой же точки зрения держался Энгельс в самый «зрелый» период своей жизни. Для этого мы и приведем соответствующее место из «Людвига Фейербаха». «Материализм прошлого (XVIII) века,—пишет Энгельс,—был преимущественно механическим, потому что из всех естественных наук к тому времени достигла известной законченности только механика твердых тел (земных и небесных), короче, механика тяжести. Химия была еще в детском состоянии, в ней придерживались еще теории флогистона. Биология была в пеленках; растительный и животный организм был

[1]) Архив К. Маркса и Ф. Энгельса, кн. II, стр. 21.

еще мало исследован, его отправления об'яснялись чисто механическими причинами. В глазах материалистов XVIII столетия человек был машиной, как животные в глазах Декарта. Исключительное приложение мерила, заимствованного у механика, к химическим и органическим явлениям, т.-е. таким явлениям, в области которых механические законы, хотя и продолжают, конечно, действовать, но отступают на задний план перед другими, высшими законами,— составляет первую специфическую, неизбежную тогда, черту ограниченности классического французского материализма» [1]).

Казалось бы, более ясно выразиться, чем это сделал Энгельс в своей последней философской работе относительно механического естествознания, уже нельзя. Можно ли допустить, что в 1881—1882 г.г. Энгельс пришел, как уверяет т. Степанов, к прямо противоположным взглядам и все же продолжал излагать в своих новых работах старые ошибочные взгляды? Разумеется, для этого нет решительно никаких оснований. Тов. Степанов об'ясняет это обстоятельство тем, что Энгельс просто повторил то, что им было усвоено в качестве прочного предрассудка в сороковых годах. Замечательное об'яснение! Но почему же Энгельс повторяет свои старые взгляды, относящиеся как раз к механическому материализму? На этот вопрос мы у тов. Степанова ответа не находим по той простой причине, что построение его ни малейше не соответствует действительности. Приведенная нами цитата из «Людвига Фейербаха» представляет собою новую формулировку все того же самого взгляда на механический материализм, высказываемого Энгельсом решительно во всех его работах лишь в различных, а подчас и в одинаковых, выражениях. Стало быть, нет ни малейшего основания утверждать, что Энгельс в семидесятых годах приближался к витализму, как нет основания для того, чтобы Энгельса восьмидесятых годов превратить в механиста. Энгельс всегда оставался диалектиком. Ниже нам придется подробнее остановиться по существу на энгельсовской диалектике естествознания. Пока же нам необходимо последовать за тов. Степановым в «формальном» разборе его ссылок и цитат.

В подкрепление своей позиции т. Степанов отсылает своих противников к известному примечанию Г. В. Плеханова к приведенному нами выше месту из «Людвига Фейербаха». По мнению т. Степанова, Г. В. Плеханов «преодолел» Энгельса в вопросе о диалектическом понимании процессов природы и сделал шаг вперед в направлении к механическому воззрению. «А теперь я очень прошу читателя,—пишет тов. Степанов,—еще раз вспо-

[1]) Ф. Энгельс, Людвиг Фейербах, пер. Плеханова, 1906 г., стр. 45—46.

мнить о той поправке Плеханова к энгельсовской критике механического материализма, на которую я настойчиво указывал моим противникам и в «Большевике», и в «Под Знаменем Марксизма». Далее приводится поправка Плеханова, которая гласит так: «По этому поводу (т.-е. по поводу энгельсовской критики механического материализма. *А. Д.*) можно заметить, пожалуй, что и химия, и биология, в конце концов, сведутся, вероятно, к молекулярной механике».

Эти чрезвычайно осторожные строки заставляют т. Степанова торжествовать победу над своими противниками, которые, конечно, «жестоко промахнулись», ничего не поняли, попали в нелепое положение и т. п. Критики, разумеется, никогда ничего не понимают, — правда, с точки зрения лица критикуемого. Это—старая история, которая вечно повторяется.

Итак, критики не поняли ни т. Степанова, ни Г. В. Плеханова. Зато т. Степанов ухватился обеими руками за «поправку» Г. В. Плеханова. «Внося свою поправку к Энгельсу,—говорит т. Степанов,—он (Плеханов) делал такой шаг, необходимость которого увидал и сам Энгельс в 1881—1882 г.г.». Но мы уже видели, что Энгельс в 1888 г., т.-е. в «Людвиге Фейербахе», не делает той поправки, необходимость которой он якобы увидал в 1881—1882 г.г. Читатель должен признать, что т. Степанов здесь не сводит концов с концами. Теперь позволим себе сказать несколько слов о «поправке» Г. В. Плеханова.

Я беру на себя смелость сказать, что поправка Г. В. Плеханова не удовлетворительна. И вот почему. Вопрос о возможности «сведения» химии и биологии к механическим законам есть вопрос принципиальный. Его методологическая постановка и разрешение не могут находиться в зависимости от того, достигнуто ли уже или не достигнуто еще практически такое «сведение». Г. В. Плеханов в своем ответе на вопрос о «сведении» обнаруживает колебания. Самые эти колебания должны были бы заставить т. Степанова с его точки зрения признать Г. В. Плеханова, по крайней мере, на половину виталистом.

Если память мне не изменяет, такая неопределенная формулировка встречается у Г. В. Плеханова всего один раз, и поэтому приходится признать ее случайной.

Последовательность, говаривал Кант, первая обязанность философа. Тов. Степанов относится с большим презрением к философам, но «последовательность» он признает и для себя обязательной. А чтобы быть последовательным, то, стоя на точке зрения механического материализма, необходимо «свести» все явления, стало быть, психические и общественные явления, к механике. Как же относится Г. В. Плеханов к такому «сведению»? Приведем несколько соответствующих цитат. В предисловии к

тому же «Людвигу Фейербаху», где имеется приведенная «поправка», Плеханов говорит: «Противникам материализма, имеющим о нем по большей части самое нелепое представление, кажется, что Энгельс неправильно определил сущность материализма, что на самом деле материализм сводит психические явления к материальным» [1]). И дальше он продолжает: «Если, как мы видели выше, Пристлей учил, что материя имеет свойство ощущать и думать, то уже из этого видно, что материализм вовсе не пытается свести все психические явления к движению материи, как это говорят за него его противники. Для материалиста ощущение и мысль, сознание, есть внутреннее состояние движущейся материи. Но никто из материалистов, оставивших заметный след в истории философской мысли, не «сводил» сознания к движению и не об'яснял одного другим. Если материалисты утверждали, что для об'яснения психических явлений нет надобности придумывать особую субстанцию,—душу; если они утверждали, что материя способна «ощущать и мыслить, то эта способность материи казалась им таким же основным, как и движение» [2]).

Теперь подумайте только, читатель, к каким выводам приходит здесь, как, впрочем, и в других своих работах, Г. В. Плеханов. Оказывается, что сознание нельзя ни сводить к движению материи, ни об'яснять этим движением. Способность материи ощущать и мыслить представляет собою некое специфическое и основное свойство или «качество» ее, которое не может быть сведено не только к механике, но и к какой-либо другой форме движения. И так как ощущение и сознание присущи в той или иной степени органической жизни, то выходит, что и биология также не может быть «сведена» не только к механике, но и к физическим и химическим процессам. Как же после этого не провозгласить Плеханова «виталистом» и вообще «идеалистом»? Ведь Плеханов прямо и открыто признает сознание и ощущение первичными «качествами», не сводимыми ни на что другое. Разве же это не чистейший дуализм?

Механисты, которым естественно чужда диалектика, стоят на точке зрения «сведения» и полагают, что только такое простое сведение и ведет к монизму. Но их монизм мертвый, метафизический монизм, а не диалектический. В этом вся суть. Всякий, кто отвергает их механическое и метафизическое «сведение», неизбежно должен представляться им виталистом, дуалистом и пр. Если же мы теперь вернемся к Энгельсу и вспомним, что заставило т. Степанова об'явить его виталистом, то увидим,

---

[1]) Энгельс, Людвиг Фейербах, стр. 9.

[2]) Там же, стр. 11—12.

мнить о той поправке Плеханова к энгельсовской критике механического материализма, на которую я настойчиво указывал моим противникам и в «Большевике», и в «Под Знаменем Марксизма». Далее приводится поправка Плеханова, которая гласит так: «По этому поводу (т.-е. по поводу энгельсовской критики механического материализма. *А. Д.*) можно заметить, пожалуй, что и химия, и биология, в конце концов, сведутся, вероятно, к молекулярной механике».

Эти чрезвычайно осторожные строки заставляют т. Степанова торжествовать победу над своими противниками, которые, конечно, «жестоко промахнулись», ничего не поняли, попали в нелепое положение и т. п. Критики, разумеется, никогда ничего не понимают, — правда, с точки зрения лица критикуемого. Это—старая история, которая вечно повторяется.

Итак, критики не поняли ни т. Степанова, ни Г. В. Плеханова. Зато т. Степанов ухватился обеими руками за «поправку» Г. В. Плеханова. «Внося свою поправку к Энгельсу,—говорит т. Степанов,—он (Плеханов) делал такой шаг, необходимость которого увидал и сам Энгельс в 1881—1882 г.г.». Но мы уже видели, что Энгельс в 1888 г., т.-е. в «Людвиге Фейербахе», не делает той поправки, необходимость которой он якобы увидал в 1881—1882 г.г. Читатель должен признать, что т. Степанов здесь не сводит концов с концами. Теперь позволим себе сказать несколько слов о «поправке» Г. В. Плеханова.

Я беру на себя смелость сказать, что поправка Г. В. Плеханова не удовлетворительна. И вот почему. Вопрос о возможности «сведения» химии и биологии к механическим законам есть вопрос принципиальный. Его методологическая постановка и разрешение не могут находиться в зависимости от того, достигнуто ли уже или не достигнуто еще практически такое «сведение». Г. В. Плеханов в своем ответе на вопрос о «сведении» обнаруживает колебания. Самые эти колебания должны были бы заставить т. Степанова с его точки зрения признать Г. В. Плеханова, по крайней мере, на половину виталистом.

Если память мне не изменяет, такая неопределенная формулировка встречается у Г. В. Плеханова всего один раз, и поэтому приходится признать ее случайной.

Последовательность, говаривал Кант, первая обязанность философа. Тов. Степанов относится с большим презрением к философам, но «последовательность» он признает и для себя обязательной. А чтобы быть последовательным, то, стоя на точке зрения механического материализма, необходимо «свести» все явления, стало быть, психические и общественные явления, к механике. Как же относится Г. В. Плеханов к такому «сведению»? Приведем несколько соответствующих цитат. В предисловии к

тому же «Людвигу Фейербаху», где имеется приведенная «поправка», Плеханов говорит: «Противникам материализма, имеющим о нем по большей части самое нелепое представление, кажется, что Энгельс неправильно определил сущность материализма, что на самом деле материализм сводит психические явления к материальным» [1]). И дальше он продолжает: «Если, как мы видели выше, Пристлей учил, что материя имеет свойство ощущать и думать, то уже из этого видно, что материализм вовсе не пытается свести все психические явления к движению материи, как это говорят за него его противники. Для материалиста ощущение и мысль, сознание, есть внутреннее состояние движущейся материи. Но никто из материалистов, оставивших заметный след в истории философской мысли, не «сводил» сознания к движению и не об'яснял одного другим. Если материалисты утверждали, что для об'яснения психических явлений нет надобности придумывать особую субстанцию,—душу; если они утверждали, что материя способна «ощущать и мыслить, то эта способность материи казалась им таким же основным, как и движение» [2]).

Теперь подумайте только, читатель, к каким выводам приходит здесь, как, впрочем, и в других своих работах, Г. В. Плеханов. Оказывается, что сознание нельзя ни сводить к движению материи, ни об'яснять этим движением. Способность материи ощущать и мыслить представляет собою некое специфическое и основное свойство или «качество» ее, которое не может быть сведено не только к механике, но и к какой-либо другой форме движения. И так как ощущение и сознание присущи в той или иной степени органической жизни, то выходит, что и биология также не может быть «сведена» не только к механике, но и к физическим и химическим процессам. Как же после этого не провозгласить Плеханова «виталистом» и вообще «идеалистом»? Ведь Плеханов прямо и открыто признает сознание и ощущение первичными «качествами», не сводимыми ни на что другое. Разве же это не чистейший дуализм?

Механисты, которым естественно чужда диалектика, стоят на точке зрения «сведения» и полагают, что только такое простое сведение и ведет к монизму. Но их монизм мертвый, метафизический монизм, а не диалектический. В этом вся суть. Всякий, кто отвергает их механическое и метафизическое «сведение», неизбежно должен представляться им виталистом, дуалистом и пр. Если же мы теперь вернемся к Энгельсу и вспомним, что заставило т. Степанова об'явить его виталистом, то увидим,

[1]) Энгельс, Людвиг Фейербах, стр. 9.

[2]) Там же, стр. 11—12.

что энгельсовская формулировка является прямо безобидной в сравнении с выше цитированными мыслями Плеханова. В самом деле, что говорит Энгельс? «Мы,—говорит он несомненно,—экспериментально «сведем» когда-нибудь мышление к молекулярным и химическим движениям в мозгу; но исчерпывается ли этим сущность мышления?»

Сопоставляя высказывания Энгельса и Плеханова, можно притти, пожалуй, к выводу, что Энгельс был куда более «грубым» материалистом, чем Плеханов, ибо первый как будто допускает сведение мышления к молекулярным и химическим движениям, а второй принципиально такое сведение отвергает. С точки зрения Энгельса, мышление, как главная форма, не исчерпывается молекулярными и химическими движениями, как «побочными», т.-е. подчиненными, формами движения. Между тем, как Плеханов просто отвергает всякое сведение мышления к каким бы то ни было формам движения, не то, что к «побочным». Не скатился ли Плеханов к идеализму? Нет, нисколько. Более того, как ни далекими кажутся друг от друга точки зрения Энгельса и Плеханова, на самом деле они стоят очень близко друг к другу. Но тов. Степанов, с своей точки зрения, обязательно должен зачислить в виталисты и идеалисты заодно с Энгельсом и Плеханова, на которого он ссылается, как на механиста.

Если читатель хочет знать, что означает механическое или механистическое воззрение в применении к общественным явлениям, то пусть послушает Г. В. Плеханова.

«Общеизвестен пресловутый афоризм о песчинке, попавшей в мочевой пузырь Кромвеля и изменившей судьбу мира,—говорит он. Этот афоризм содержит не более и не менее, чем рассуждение Гольбаха об «атомах» и «частицах», как причинах исторических событий. Различие в том, что автор афоризма был человек набожный, полагавший, будто провидение направило роковую песчинку, куда следовало, с целью погубить узурпатора-протектора. Гольбах слышать не хотел о боге, но с остальным он охотно соглашался.

«Есть «песчинка» истины в таких афоризмах,—продолжает Плеханов. Но в том-то и дело, что эта песчинка относится к целой истине, как атом ко всей материи, наполняющей вселенную. Песчинка так мала, что не подвигает нас ни на шаг вперед при изучении социальных явлений, и если бы исторической науке не осталось ничего делать, как только ждать гения,—о котором мечтал Лаплас,—способного об'яснить все прошлые, настоящие и будущие тайны истории помощью молекулярной механики,—то мы могли бы спать долгим непро-

будным сном. Такой чудесный гений придет не скоро» [1]). Мы можем прибавить, что «песчинка» механики относится к целой диалектической истине, как атом ко всей материи.

III.

Мы видели, что тов. Степановым был сделан Энгельсу строгий выговор за его взгляды семидесятых годов, когда Энгельс (стало быть, и Маркс) будто бы стоял на близкой к витализму точке зрения. Против Энгельса было выдвинуто то место, в котором говорится о «главных» и «побочных» формах движения. Только в заметках 1881—1882 г.г. Энгельс будто бы делает решительный поворот в сторону механического воззрения, хотя, как мы видели, в своих опубликованных работах (см. «Людвиг Фейербах») держится прямо противоположного взгляда.

Об'яснения для этого «странного» факта расхождения Энгельса с самим собой мы у тов. Степанова не находим. И не находим потому, что на самом деле у Энгельса никакого противоречия нет. Основной довод тов. Степанова сводится к тому, что в 1878 г. Энгельс не считал возможным свести органическую жизнь и в особенности мышление к «молекулярной механике». Но ведь у тов. Степанова нет ровнехонько никаких доказательств в пользу того, что в восьмидесятых годах Энгельс такое сведение считал возможным. Более того, мнимую эволюцию Энгельса от «виталистической» к механической точке зрения т. Степанов усматривает в том, что Энгельс позже отступил от взгляда, что «изучение физических и химических процессов, совершающихся в организме, не продвигает нас к пониманию существа жизни», как выражается т. Степанов. Но неужели тов. Степанов не заметил, что именно в той же самой главе, где он вычитал, что физические и химические процессы не продвигают нас к пониманию жизни, Энгельс говорит даже больше, чем о продвигании. «Физика,—говорит Энгельс,—должна была или могла оставить без рассмотрения живое органическое тело, химия же находит только при исследовании органических соединений настоящий ключ к истинной природе наиважнейших тел; с другой стороны, она составляет тела, которые встречаются только в органической природе. Здесь химия приводит к органической жизни, и она подвинулась достаточно далеко вперед, чтобы убедить нас, что она одна (подчеркнуто Энгельсом. *А. Д.*) об'яснит нам диалектический переход к организму» [2]).

Таким образом Энгельс в одной и той же главе, относящейся именно к семидесятым годам, говорит, с одной сто-

[1]) Г. Плеханов, Очерки по истории материализма, под ред. Д. Рязанова, 4-ое издание, стр. 39.

[2]) Архив К. Маркса и Ф. Энгельса, кн. II, стр. 9.

роны, что одна химия об'яснит диалектический переход к организму, что она одна продвигает нас к пониманию жизни; а с другой,—тут же утверждает, что «побочные формы» движения не исчерпывают существа «главной» формы. Что же касается механики, то она вообще оказывается в применении к жизни «беспомощной категорией». При наличии таких «противоречий» в одной и той же статье, не должны ли мы просто констатировать теоретическую беспомощность Энгельса? Или правильней будет вывод, что т. Степанов поспешил со своей оригинальной концепцией и сам не связал концов с концами?

К моему великому сожалению, я вынужден признать, что именно т. Степанов безнадежно запутался в «Диалектике природы». И запутался он потому, что для него существует или механический материализм, или идеализм, т.-е. витализм. Диалектического материализма, материалистической диалектики для него не существует.

Стало быть, Энгельс в вопросе о соотношении физических и химических процессов в органической жизни в семидесятых годах придерживался той же точки зрения, что и в восьмидесятых. В подтверждение нашего взгляда позволим себе привести теперь несколько цитат из заметок 1881—1882 г.г. «Изучение химических процессов,—пишет там Энгельс,—наталкивается на органический мир, как на область исследования, как на мир, в котором химические процессы происходят согласно тем же законам, но при иных условиях, чем в неорганическом мире, для об'яснения которых достаточно химии. Все химические исследования органического мира приводят в последнем счете к одному телу, которое, будучи результатом обычных химических процессов, отличается от всех других тел тем, что является самостоятельным, постоянным, химическим процессом, — приводят к белку. Если химии удастся изготовить этот белок в том определенном виде, в котором, очевидно, он возник, в виде так называемой протоплазмы, в том определенном, или, вернее, неопределенном виде, в котором он потенциально содержит все другие формы белка (при чем нет нужды принимать, что существует только один вид протоплазмы), то диалектический переход совершится здесь и реально, т.-е. будет закончен. До тех пор дело останется в области мышления, alias—гипотезы. Если химии удастся изготовить белок, то химический процесс выйдет из своих собственных рамок, как мы это видели выше относительно механического процесса. Он проникает в обширную область органической жизни. Физиология есть, разумеется, физика и в особенности химия живого тела, но вместе с тем она перестает быть специально химией:

с одной стороны, сфера ее действия здесь ограничивается, но, с другой—она поднимается на высшую ступень» [1]).

В этих поистине гениальных строках Энгельсом дана исчерпывающая характеристика диалектики естествознания. Что она находится в резком противоречии с механическим материализмом, стоящим на почве механического «сведения»,—это ясно само собою. Что Энгельс здесь столь же далек от витализма, сколь звезда небесная от нашей грешной земли, это тоже понятно каждому грамотному человеку. Но, что гораздо важнее в данном случае, приведенные нами строки Энгельса не только не противоречат прежним его взглядам, но составляют, я бы сказал, классическую их формулировку.

В самом деле, попытаемся пока хотя бы бегло и поверхностно проанализировать процитированный отрывок. Изучение химических процессов наталкивается на органический мир, оно приводит к белку, оно продвигает нас к пониманию жизни. Если химии удастся изготовить белок, то совершится реально диалектический переход к организму. Когда химический процесс изготовлением белка проникнет в область органической жизни, то тем самым он выйдет из своих собственных рамок. Проникая в область органической жизни и выходя из своих собственных рамок, химия перестает быть специальной химией, т.-е. отрицает себя. Тем самым она «поднимается на высшую ступень», и сфера ее действия здесь ограничивается.

Для об'яснения неорганического мира достаточно химии, но для об'яснения органического мира химии недостаточно, т.-е. она не исчерпывает органической жизни. Таким образом химии вполне достаточно для диалектического перехода к организму, но не для исчерпывающего об'яснения жизни. Такова мысль Энгельса. И эта мысль прекрасно формулирована именно в заметках от 1881—1882 г.г. Теперь я спрашиваю читателя, можно ли говорить о механическом понимании природы у Энгельса? Курьезнее всего то, что т. Степанов приводит этот отрывок в доказательство того, что Энгельс выступает здесь законченным механистом! Тов. Степанов не обратил никакого внимания на внутренний смысл энгельсовских слов и, конечно, совершенно не заметил диалектической трактовки Энгельсом интересующей нас проблемы.

Приведенную нами заметку Энгельса т. Степанов снабжает следующим комментарием: «Как бесконечно далеко ушел здесь Энгельс от химических и физических процессов, как «побочных форм» для органической жизни. Для него теперь уже нечто

[1]) Энгельс, там же, стр. 197.

само собою разумеющееся, что «физиология есть физика и в особенности химия»[1]. Во-первых, тов. Степанов [illegible] здесь Энгельса на полуслове и на самом, так сказать, интересном месте. Ибо Энгельс говорит, что физиология есть физика и в особенности химия живого тела, но вместе с тем,—продолжает он,—она перестает быть специально химией. И в этом гвоздь вопроса. Во-вторых, Энгельс не ушел «бесконечно далеко» от своей прежней позиции, а продолжает твердо стоять на ней. Словами «наличие побочных форм не исчерпывает существа главной формы в каждом отдельном случае» он и хотел выразить ту мысль, что «побочные формы» существуют в высшей форме движения в «снятом» виде, что и раз'яснено несколькими страницами раньше. А что Энгельс великолепно знал в 1878 г., что изучение физических и химических процессов приводит к органической жизни и даже об'ясняют диалектический переход к организму, мы уже показали. Вслед за фразой о «побочных формах», не исчерпывающих (не исчерпывающих, тов. Степанов, а не то, что не продвигающих нас вперед! *А. Д.*) главной формы, Энгельс в раз'яснение своей мысли продолжает: «Мы, несомненно, «сведем» когда-нибудь экспериментальным образом мышление к молекулярным и химическим движениям в мозгу, но исчерпывается ли этим сущность мышления?»

В восьмидесятых годах Энгельс говорит то же самое только другими словами. Неужели это непонятно? И неужели т. Степанов хочет всерьез приписать Энгельсу мысль, что «жизнь зарождается и действует в организме каким-то таинственным образом», как он выражается, и что физические и химические процессы для Энгельса не имеют никакого значения? Но ведь это же вопиющая нелепость, тов. Степанов!

IV.

Теперь обратимся к другим возражениям т. Степанова против энгельсовской критики механического материализма. Выше мною была уже приведена цитата из примечания к «Анти-Дюрингу», носящего название «О механическом естествознании». Как это ни странно, но тов. Степанов именно здесь, в этой блестящей критике механического понимания природы, видит подтверждение правильности последнего. Поэтому нам придется теперь несколько дольше остановиться на указанном примечании. Тов. Степанов приводит следующее место: «Между тем, механическая концепция... об'ясняет всякие изменения из перемещений, из изменений места, все качественные различия из

---

[1]) «Под Знаменем Марксизма», № 8—9, стр. 61.

количественных, и не замечает, что отношение между качеством и количеством взаимно, что качество так же переходит в количество, как количество в качество, что здесь имеется взаимодействие. Если мы должны сводить все различия и изменения качества к количественным различиям и изменениям, к механическим перемещениям, то мы с необходимостью приходим к утверждению, что вся материя состоит из тождественных мельчайших частиц, и что все качественные различия химических элементов материи обусловливаются количественными различиями в числе и пространственной группировке этих мельчайших частиц при их об'единении в атомы. Но до этого нам еще далеко».

Приведя это место, тов. Степанов делает от себя следующее заключение: «Вся критика «механического естествознания» у Энгельса в конечном выводе обостряется на этих положениях, опирается на них, исходит из них. И все другие места и целые страницы представляют просто выводы из этих положений, простые их варианты. С присущей ему ясностью Энгельс заявляет: если бы мы получили основания утверждать, что вся материя состоит из тождественных частиц, и что все качественные различия химических элементов следствие количественных различий в числе и пространственной группировке этих частиц, образующих атомы, то вместе с тем падут все, решительно все возражения против механического естествознания».

«Таким образом, — продолжает тов. Степанов, — мы нашли тот,—в действительности единственный,—камень преткновения, на который снова и снова наталкивается Энгельс, мы нашли те основные соображения, которые делали для него «механический материализм неприемлемым» [1]).

Прежде всего мы вынуждены самым решительным образом отвергнуть приписываемое т. Степановым Энгельсу заявление, которого он никогда не сделал и которое у тов. Степанова имеет такой вид: «С присущей ему ясностью Энгельс заявляет: если бы мы получили основания утверждать... и проч., то падут все, решительно все возражения против механического естествознания». Ничего подобного Энгельс никогда и нигде не писал. Это только умозаключение тов. Степанова, который исходит из понимания движения исключительно как перемещения. И совершенно неверно, будто Энгельс говорит, что если вся материя состоит из тождественных частиц и проч., то он приемлет механическое естествознание, что именно это единственное условие, которое мешает ему признать правильность механического естествознания. Ведь Энгельс-то как раз исходит из этого «единственного» условия и все же или именно потому

[1]) «Под Знаменем Марксизма», № 8—9, стр. 54—55.

признает для себя неприемлемыми вытекающие из него выводы. Он не говорит: если вся материя состоит из тождественных частиц, если все качественные различия сводятся к количественным различиям в числе и пространственной группировке, то я признаю правильность механического материализма. Энгельс говорит нечто прямо противоположное. Именно потому, что механика об'ясняет всякие изменения из изменений места, из механического перемещения, именно потому, что она об'ясняет все качественные различия из количественных, именно потому, что она не замечает, что отношение между качеством и количеством взаимно, что между ними существует взаимодействие,—именно поэтому Энгельс не считает возможным превратить механику в единую универсальную науку, об'ясняющую все явления природы. Попутно Энгельс здесь высказывает чрезвычайно интересную мысль о том, что «если мы должны сводить все изменения качества... к механическим перемещениям, то мы с необходимостью приходим к тому положению, что вся материя состоит из тождественных мельчайших частиц», что для Энгельса неприемлемо. Тов. Степанов скажет, что в таком случае современное естествознание опровергло «диалектика» и «гегельянца» Энгельса. На это я ему отвечу, рискуя еще раз быть причисленным к столь презираемым им «философам», что не следует придавать абсолютного значения и современному естествознанию, что поставленный Энгельсом вопрос о качественной тождественности или нетождественности материи нисколько современной наукой не разрешен.

По этому поводу можно сказать словами Энгельса, что если современная наука движется в этом направлении, то это не доказывает, что это единственно правильное и что, идя этим путем, мы исчерпаем физику и химию до конца. Но это между прочим; к этому вопросу нам придется, быть может, вернуться в другой связи.

Итак, Энгельс не допускает существования голого количества, ибо с диалектической точки зрения отношение между количеством и качеством взаимно. Он отвергает взгляд, согласно которому материя «качественно исконно одинакова». «Как доказал уже Гегель,—пишет Энгельс,—это воззрение, эта «односторонняя математическая точка зрения», согласно которой материя определима только количественным образом, а качественно исконно одинакова, является «именно точкой зрения» французского материализма XVIII столетия. Она является даже возвратом к Пифагору, который уже рассматривал число, количественную определенность, как сущность вещей» [1]).

[1]) Архив К. Маркса и Ф. Энгельса, кн. II, стр. 147.

Механика имеет дело только с количествами; она оперирует только скоростями и массами и, в лучшем случае, об'емами,—говорит Энгельс. В физике и еще больше в химии нам приходится уже иметь дело с качествами. Когда же тов. Степанов делает отсюда вывод, будто Энгельс в семидесятых годах не знал, что качества можно «выводить» из количественных изменений других качеств, то он глубоко ошибается. По мнению тов. Степанова, Энгельс вынужден был «принять некоторые качества, как таковые, с самого начала признать известную множественность качеств и несводимость их к какому-либо более элементарному качеству»[1]).

Но я спрашиваю тов. Степанова, как вяжется это последнее его утверждение с вполне ясной и определенной формулировкой Энгельса, данной им в том же самом абзаце, где говорится будто бы о несводимости качеств к другим более элементарным качествам, и гласящей, что «отношение между качеством и количеством взаимно». Я утверждаю, что у Энгельса и намека нет о «несводимости качеств к другим более элементарным качествам». Каким образом тов. Степанов мог приписать Энгельсу такую мысль, моему уму просто непостижимо, ибо Энгельс в этом месте, как и повсюду, ратует именно за сводимость. Тов. Степанов неправильно приписывает теперь Энгельсу ту же самую нелепость, какую он раньше столь же несправедливо приписывал своим противникам (см. полемику с тов. Стэном), оказавшимся теперь в одной компании с Энгельсом. В самом деле, что говорит Энгельс? Механическая концепция,—пишет он,—об'ясняет все изменения из изменений места, из перемещений; все качественные различия растворяются в количественных различиях. Отсюда общая формулировка: количество переходит в качество. Но механика бессильна об'яснить как самые качества, так и обратный переход качества в количество. Вот в чем суть вопроса. Механика не замечает,—раз'ясняет популярно Энгельс,—что «отношение между качеством и количеством взаимно, что качество так же переходит в количество, как количество в качество, что здесь имеется взаимодействие»[2]).

Что же дало тов. Степанову основание пред'явить Энгельсу столь тяжкое обвинение в непонимании того, что так хорошо теперь знает любой рабфаковец, благодаря, между прочим, работам того же «непонятливого» Энгельса?

Итак, если в механике мы имеем дело только с количествами, и в лучшем случае с переходом количества в качество, то в

---

[1]) «Под Знаменем Марксизма», № 8—9, стр. 60.

[2]) Энгельс, там же, стр. 145; курсив мой.

физике и в особенности в химии происходят не только качественные изменения в результате количественных изменений, но и количественные изменения в результате качественных изменений. Эта последняя мысль выражена у Энгельса словами: здесь приходится также рассматривать множество изменений качества, относительно которых совершенно не доказано, что они вызваны количественными изменениями». Усиленно обращаю внимание читателя на то, что у Энгельса говорится здесь не о «множественности качеств, не сводимых к какому-либо элементарному качеству», как это приписывает Энгельсу тов. Степанов, а о множестве *изменений* качества, относительно которых не доказано, что они вызваны *количественными изменениями*. Непосредственно следующие за этим рассуждения Энгельса разъясняют смысл приведенных слов. «Всякое движение,—пишет он,— заключает в себе механическое движение и перемещение больших или мельчайших частей материи; познать эти механические движения является *первой* задачей науки, однако лишь первой. Само же это механическое движение вовсе не исчерпывает движения вообще. Движение вовсе не есть простое перемещение, простое изменение места, в надмеханических областях оно *является также и изменением качества*. Мышление есть тоже движение. Открытие, что теплота представляет собою молекулярное движение, составило эпоху в науке. Но если я не имею ничего другого сказать о теплоте, кроме того, что она представляет собою известное перемещение молекул, то лучше мне замолчать. Химия находится на пороге того, чтобы из отношения атомных об'емов к атомным весам об'яснить целый ряд химических и физических свойств элементов. Но ни один химик не решится утверждать, будто все свойства какого-нибудь элемента выражаются исчерпывающим образом его положением на кривой Лотара Мейера, что этим одним определяются, например, специфические свойства углерода, делающие его главным носителем органической жизни, или же необходимость фосфора в мозге»[1]).

Оставаясь верным своей излюбленной идее о «глубокой пропасти», отделяющей якобы Энгельса семидесятых годов от Энгельса восьмидесятых годов, тов. Степанов Энгельса № 2 причесывает под «механическую» гребенку, а Энгельса № 1 под гребенку виталистическую и идеалистическую. Но тов. Степанов оказался очень неловким «парикмахером». Посмотрим же, как выглядит у него Энгельс восьмидесятых годов. Для этого приведем несколько цитат из статьи тов. Степанова.

«Иллюстрировав на нескольких примерах универсальную значимость закона перехода количества в качество для области

---

[1]) Энгельс, там же, стр. 143—145.

физики,—пишет т. Степанов об Энгельсе № 2,—Энгельс продолжает «Но открытый Гегелем закон природы празднует свои высочайшие триумфы в области химии. Химию можно назвать наукой о качественных изменениях тел вследствие изменения количественного состава». Только при наличии редкостного умственного дальтонизма,—продолжает т. Степанов,—можно проглядеть глубокую пропасть (курсив мой. *А. Д.*), отделяющую эти положения от недавно приведенных суждений Энгельса за какие-нибудь 4 года до того времени. В 1881—1882 годах химия для Энгельса—наука о качественных изменениях вследствие изменения количественного состава». Значит, общий метод химии таков: все качественные изменения должны получить об'яснение из количественных изменений. А в 1878 году он писал: «Но в физике, а еще более в химии, не только происходит постоянное качественное изменение вследствие количественного изменения, но приходится также рассматривать множество изменений качества, обусловленность которых количественными изменениями не доказана» [1]).

Вырыв, таким образом, достаточно «глубокую пропасть» для Энгельса, тов. Степанов старается свалить в нее своих противников и в первую очередь тов. А. Тр. [2]), который, «перелистав» Архив и не «потрудившись» изучить его содержание, «с торжеством ссылается против моих воззрений на заметки Энгельса, относящиеся к 1878 году и совершенно не замечает, что в 1881—1882 годах Энгельс пришел к прямо противоположным взглядам» (курсив мой. *А. Д.*), заканчивает т. Степанов.

Что и говорить, дерзкий народ эти критики, но по существу все-таки прав тов. А. Тр. Он сослался на заметки 1878 г., но с таким же основанием он мог бы сослаться и на заметки 1881—1882 г.г., ибо между ними не то, что «глубокой пропасти», но и вообще никакой принципиальной разницы нет.

В замечательной, но, к сожалению, не оконченной главе «Общий характер диалектики как науки» Энгельс устанавливает три основных закона диалектики. Ему удалось здесь остановиться более или менее подробно только на законе перехода количества в качество и качества в количество. Тов. Степанов в этой именно главе находит якобы подтверждение своей мысли о решительном повороте Энгельса в 1881—1882 г.г. к механической точке зрения. Посмотрим же, отступил ли здесь Энгельс хоть сколько-нибудь от своих прежних взглядов. «В механике,—пишет Энгельс,—

[1]) «Под Знаменем Марксизма», № 8—9, стр. 52.

[2]) Пользуюсь случаем, чтобы выразить решительный протест против допущенных тов. Степановым непозволительных резкостей по адресу тов. А. Тр.

мы не встречаем никаких качеств, а в лучшем случае состояние, как равновесие, движение, потенциальная энергия, которые все основываются на измеримом перенесении движения и могут быть выражены количественным образом. Поэтому, поскольку здесь происходит качественное изменение, оно обусловливается соответствующим количественным изменением»[1]).

Стало быть, Энгельс здесь остается на своей старой точке зрения, что механика имеет дело лишь с количествами, что в ней не встречается никаких качеств, что здесь имеют место лишь количественные изменения. А ведь к этому в значительной степени и сводится механическое воззрение, тождественное в таком случае с математическим воззрением на природу, согласно которому число приобретает характер мировой субстанции.

Химия же, в отличие от механики, как науки о количественных изменениях, есть наука о качественных изменениях, происходящих вследствие изменения количественного состава. В механике происходят почти только количественные изменения, в физике всякое изменение есть переход количества в качество, химия же есть исключительно наука о качественных изменениях. «Все качественные различия в природе основываются либо на различном химическом составе, либо на различных количествах или формах движения (энергии), либо, что имеет место почти всегда—на том и другом»,—поясняет Энгельс. В механике качество не изменяется; движение там сводится лишь к простому перемещению, к простому изменению места. В надмеханических же областях,—говорит Энгельс,—движение является также и изменением качества.

«Ведь когда мы превращаем теплоту в механическое движение, или наоборот, то здесь качество изменяется, а количество остается тем же самым? Это верно,—говорит Энгельс,—но относительно изменения формы движения можно сказать то, что говорит Гейне о пороке: добродетельным может быть каждый про себя, для порока всегда необходимы два суб'екта. Изменение формы движения является всегда процессом, происходящим, по меньшей мере, между двумя телами, из которых одно теряет определенное количество движения такого-то качества (например, теплоту), а другое приобретает соответствующее количество движения такого-то другого качества (механическое движение, электричество, химическое разложение). Следовательно, количество и качество соответствуют здесь друг

[1]) Энгельс, там же, стр. 223.

другу взаимно. До сих пор не удалось еще превратить движение внутри отдельного изолированного тела из одной формы в другую»[1]).

Можно ли согласиться с тов. Степановым в том, что Энгельс здесь утверждает нечто, «прямо противоположное» тому, что он писал в 1878 г., и что между взглядами Энгельса, высказанными им в 1878 г., и взглядами, формулированными в 1881—1882 г.г., лежит «глубокая пропасть»? Нет, ни в коем случае. Эта «глубокая пропасть» сконструирована И. И. Степановым для того, чтобы придать видимость оправдания своему механическому материализму.

Из главы «Общий характер диалектики как науки» И. И. Степанов приводит то место, где у Энгельса говорится о законе перехода количества в качество и качества в количество, как всеобщем, универсальном законе развития природы, общества и мышления, при чем тов. Степанов всегда говорит лишь о переходе количества в качество, ни одним словом не упоминая о том, что у Энгельса постоянно подчеркивается взаимное отношение между количеством и качеством. Это вполне понятно, потому что для тов. Степанова существует лишь механическая, т.-е. чисто количественная, точка зрения, между тем как Энгельс исходит из единства количества и качества. Тов. Степанов стремится все свести к количественным моментам, поэтому он у Энгельса берет лишь одну половину его формулы и цитирует лишь те места, где речь идет о количественном моменте, тщательно затушевывая вместе с тем вторую часть энгельсовской формулы, где говорится о качественном моменте. Энгельс, как это видно из приведенной нами выше цитаты, подчеркивает, что количество и качество соответствуют друг другу взаимно, и подчеркивает он это одинаково как в заметках 1878 г., так и в заметках 1881—1882 г.г. Для Энгельса вообще не существует ни количества без качества, ни качества без количества. Они составляют диалектическое единство,—меру.

Если верить тов. Степанову, Энгельс только в восьмидесятых годах пришел к пониманию того, что закон перехода количества в качество составляет всеобщий универсальный закон природы, общества и мышления; в семидесятых же годах он будто бы стоял на точке зрения абсолютных, несводимых качеств. Это утверждение столь же ложно, как и другое утверждение тов. Степанова, будто Энгельс в семидесятых годах не понимал того, что физические и химические процессы «продвигают» нас к пониманию жизни.

[1]) Энгельс, там же, стр. 223, курсив мой.

«Анти-Дюринг» написан Энгельсом в 1877—1878 г.г. Между тем там речь идет о гегелевском законе перехода количества в качество, и обратно, как о всеобщем законе природы, общества и мышления. Приведем из «Анти-Дюринга» хотя бы одно место. «Мы могли бы привести для доказательства этого закона,—пишет там Энгельс,—еще сотни подобных фактов как из природы, так и из жизни человеческого общества. Так, например, в «Капитале» Маркса весь четвертый отдел, о производстве относительной прибавочной стоимости, трактует о несчетном числе случаев в области кооперации, разделения труда и мануфактуры, машинного производства и крупной промышленности, где количественное преобразование изменяет качество вещей и, обратно, качественное преобразование изменяет количество их; так что, употребляя столь ненавистное для г. Дюринга выражение, количество переходит в качество и обратно. Таков, например, факт, что кооперация многих лиц, слияние многих отдельных сил в одну общую силу, создает, говоря словами Маркса, «новую возведенную в степень силу», существенно отличную от суммы составляющих ее отдельных сил» [1]).

Итак, Энгельс в 1878 г. превосходно знал, что количественное преобразование изменяет качество вещей, и качественное преобразование изменяет количество их,—одним словом, что закон перехода количества в качество и обратно составляет всеобщий закон природы и общества. Вина Энгельса заключается лишь в том, что он понимает этот закон лучше, т.-е. шире, полнее и всестороннее, чем тов. Степанов. И после этого нас хотят уверить в том, что Энгельс в 1878 г. стоял на другой, прямо противоположной, точке зрения, чем в 1881—1882 годах.

Что же говорит Энгельс в своих заметках 1878 г. в «Диалектике природы»? То же самое, что в «Анти-Дюринге» и в заметках 1881—1882 г.г. Механическая концепция не замечает,—говорит он,—что «отношение между качеством и количеством взаимно, что качество так же переходит в количество, как количество в качество, что здесь имеется взаимодействие» (стр. 145). Механическая концепция не замечает того самого, чего не замечает и тов. И. И. Степанов.

До какой степени запутался в своей «концепции» тов. Степанов, видно, между прочим, еще из следующего. Процитировав одно место из заметок 1881—1882 г.г., он восклицает: «Что осталось от приведенных выше рассуждений Энгельса, относящихся к 1878 году и направленных против «механического мате-

---

[1]) Ф. Энгельс. Переворот в науке, произведенный г. Евгением Дюрингом, 3 изд., 1923 г., стр. 146.

риализма»? Очень немного. Химия стала для него физикой атомов, а физика—механикой молекул» [1]).

Итак, химия в 1881—1882 г.г. стала для Энгельса физикой атомов и т. д., значит, в 1878 г. она была для Энгельса чем-то другим. Ведь от рассуждений Энгельса, относящихся к 1878 г., ровно ничего не осталось. Так ли это? А между тем в 1878 г. Энгельс пишет: «Называя физику механикой молекул, химию—физикой атомов и, далее, биологию химией белков, я желаю этим выразить переход одной из этих наук в другую и, значит, связь, непрерывность, а также различие, разрыв между обеими областями» [2]).

А в 1881—1882 г.г. он писал: «Масса состоит только из молекул, но она нечто, по существу отличное от молекул, как молекула в свою очередь отлична от атома. Это—то самое отличие, на котором основывается обособление механики, как науки о небесных и земных массах, от физики, как механики молекул, и от химии, как физики атомов» (стр. 223).

Теперь я снова спрашиваю читателя, где та «глубокая пропасть», о которой говорит тов. Степанов? Ведь в обоих случаях Энгельс утверждает одно и то же и даже в одинаковых выражениях.

Так как Энгельс не механист, а диалектический материалист, то он, разумеется, рассуждает диалектически. В основу своих рассуждений он кладет об'ективный процесс опосредствования движущейся материи, начиная с низших форм и кончая высшими. Механист «сводит» все формы движения к механическому движению. Он исходит из абстрактного тождества всего сущего. Диалектик же исследует все связи и ступени, изучая их специфический характер, не забывая ни тождества, ни отличия их от низших и высших форм движения. На этой специфичности форм связи и покоится обособление одной отрасли знания от другой. Механистический материализм признает и должен признавать в сущности одну лишь науку: механику, которая является единой универсальной наукой, в которой утопает все многообразие мира. Механист пренебрегает всеми качественными особенностями вещей, он видит лишь одни количества и одно механическое движение,—перемещение. Иначе смотрит на дело диалектик. У молекул,—говорит Энгельс,—совершенно иные свойства, чем у атома. А масса качественно отлична от составляющих ее молекул. Вот эти качественные различия составляют основу для обособления одной отрасли знания

[1]) «Под Знаменем Марксизма», № 8—9 стр. 51.

[2]) Энгельс, там же, стр. 143.

от другой[1]). Механика, поэтому, составляет ту часть физики, которая имеет дело с массами и их свойствами. Она составляет основу физики и химии. Физика—наука о молекулах, или, по выражению Энгельса,—наука о механике молекул. Химия—физика атомов; биология—химия белков. Между всеми этими областями существует связь, единство и различие. И данная Энгельсом великолепная формула выражает диалектически переход одной науки в другую, т.-е. связь их, равно как и их различие, разрыв. Мы имеем дело с различными ступенями действительности. Вся совокупность ступеней составляет конкретное целое, единую цепь; каждая же ступень в отдельности представляет собой звено в этой единой цепи. Она, с одной стороны, обращена назад, к низшим формам движения материи; но, с другой стороны, она смотрит вперед, к высшим формам. Сказать, что органическая жизнь «сводится» к молекулярной механике, или к физике атомов,—значит, сказать очень мало или только частицу истины. Называть химию своего рода механикой,—говорит справедливо Энгельс,—нерационально, ибо «безусловное сведение даже химических процессов к чисто механическим суживает поле химии». Так называемые «промежуточные» науки, связывающие смежные области знания, имеют огромное значение, поскольку они связывают их, вскрывают непрерывность развития в природе, их единство и вместе с тем переход, но за единством и за непрерывностью не следует забывать качественного различия, своеобразия, разрыва между одной стороной действительности и другой. Каждая новая ступень составляет новый синтез, новую форму опосредствования движущейся материи. Смена форм и сводится прежде всего к качественному изменению; качественное изменение и перемена формы—одно и то же[2]).

---

[1]) В письме к Марксу от 16 июня 1867 г. Энгельс пишет: «Молекула, как мельчайшая способная к самостоятельному существованию часть материи,—есть совершенно рациональная категория, «узел», как говорит Гегель, в бесконечном ряде делений, не замыкающий этого ряда, но устанавливающий качественную разницу». См. также ответ Маркса от 22 июня 1867 г.

[2]) Фейербах в § 7 своей «Сущности религии» (1845) г. пишет: «Вода есть сложная сущность, зависящая от водорода и кислорода, но вместе с тем и нечто новое, лишь самому себе равное оригинальное, в чем сняты, уничтожены самостоятельные свойства обоих элементов». Ведь Фейербах как никак тоже был «заражен» гегельянством, т.-е. диалектикой. Если даже вода есть нечто новое, то уж что сказать об органической жизни?

Не могу не привести мнения Фейербаха о сущности качества. В «Сущности христианства» он говорит, что «качество есть огонь, кислород, соль существования. Существование вообще, без определенного качества, есть безвкусное существование», как он остроумно выражается.

В главе «Основные формы движения», написанной в 1881—1882 годах, Энгельс подчеркивает неоднократно, что механическое движение не исчерпывает движения вообще, что нельзя сводить всякое движение к механическому движению. А т. Степанов по какой-то действительно совершенно непостижимой аберрации мысли относит Энгельса восьмидесятых годов к механистам.

Читатель не посетует, надеемся, на нас, если мы приведем еще одну довольно длинную цитату из упомянутой выше главы «Об основных формах движения».

«Движение, рассматриваемое в самом общем смысле слова, т.-е. принимаемое как способ существования материи, как внутренне присущий материи атрибут, обнимает собой все происходящие во вселенной изменения и процессы, начиная от простого перемещения и кончая мышлением. Само собой разумеется, что изучение природы движения должно было исходить из низших, простейших форм его и об'яснить их, прежде чем могло дать что-нибудь для об'яснения высших и более сложных форм его. И, действительно, мы видим, что в историческом развитии естествознания раньше всего была создана теория простого перемещения, механика небесных тел и земных масс; за ней следует теория молекулярного движения, физика, а тотчас же вслед за последней, почти на-ряду с ней, а иногда и раньше нее, наука о движении атомов—химия. Лишь после того, как эти различные отрасли познания форм движения, господствующих в области неорганической природы, достигли высокой степени развития, можно было приступить к об'яснению явлений движения, представляющих процесс жизни, при чем успехи его шли параллельно прогрессу науки в области механики, физики и химии» [1]).

Но чтобы не оставалось никаких сомнений насчет «механических» воззрений Энгельса, приведем еще следующее место из той же главы: «Всякое движение связано с каким-нибудь перемещением небесных тел, земных масс, молекул, атомов или частиц эфира. Чем выше форма движения, тем мельче это перемещение. Оно нисколько не исчерпывает природы соответствующего движения (курсив мой. *А. Д.*), но оно неотделимо от него. Поэтому его приходится исследовать раньше всего остального» [2]).

Для Энгельса, как и для всех диалектических материалистов, движение составляет способ существования материи, ее атрибут. Нет материи без движения, как нет движения без материи. Но подобно тому, как материя не сводится только к массе, так и движение не «сводится» только к простому перемещению. Каждая

1) Энгельс, там же, стр. 231.

2) Там же.

высшая форма движения представляет собою некий новый синтез, новый узел, новую форму связи, существенно отличную от составляющих ее низших форм движения или низших «узлов». Тот факт, что все узлы образуются из единой движущейся материи, нисколько не опровергает и того другого факта, что каждый узел составляет нечто специфическое и особенное, нечто новое, особенную форму движения, которая подлежит изучению как в своей общности с низшими формами движения, так и в своем качественном своеобразии, в своем отличии от них. Неужели это непонятно? Подчеркивая, что организм есть «высшее единство, связывающее в себе в одно целое механику, физику и химию, так что эту троицу нельзя больше разделить», Энгельс хочет сказать, что организм представляет собою своеобразное качество, специфический узел, включающий в себя все три указанные формы и не сводящийся к каждой из них в отдельности, а тем более к простой «механике».

Этот узел не есть и простая механическая сумма механики, физики и химии, а их синтез. Но раз вы говорите новый синтез, то, по мнению тов. Степанова, вы немедленно попадаете в об'ятия виталистов. «И долбить в настоящее время,—говорит он,—с величайшей, даже с исключительной настойчивостью указывать здесь «новое качество», здесь «перерыв непрерывности», здесь «узловая линия», значит быть реакционером в науке («ретроградом» по Энгельсу) или играть на руку «черносотенцам» от науки, по прекрасному, правильному, а не только полемическому выражению тов. А. К. Тимирязева» [1]). А на следующей странице той же статьи тов. Степанов по адресу т. Стэна пишет след.: «Различные физические и химические процессы в мертвой материи: одно качество». В живой материи мы также наблюдаем физические и химические процессы, но вот тов. Степанов упорно забывает, что между мертвой материей и живой материей лежит узловая линия, за которой начинается новое качество, именно живая материя. И только т. Степанов с его вульгарным пониманием причинности и презрением к философии хочет свести явления жизни к тем относительно простым явлениям, которые мы наблюдаем в физике и химии.

«Браво, браво!—восторженно приветствуют моих противников виталисты.—Мы уже давно толкуем, что жизнь, это—совершенно новое качество». «Скорей вашу руку,—кричит мистик и оккультист Лодж,—теперь у меня есть союзники и продолжатели» [2]).

[1]) «Под Знаменем Марксизма» 1925 г., № 3, стр. 224.

[2]) Там же, стр. 225.

Я должен прямо сказать, что «ураганный огонь» тов. Степанова на меня, как и на моих единомышленников, страха никакого не наводит, тем более, что в «реакционеры», «черносотенцы» и «виталисты» теперь попал не кто иной, как сам Энгельс, на которого тов. Степанов ссылался в своей полемике с тов. Стэном. Помилуйте, ведь Энгельс говорит об организме, как о высшем единстве, синтезирующем в себе механику, физику и химию.

И чего в самом деле тов. Степанов так испугался «нового качества»? Неужели в природе никогда не возникало и не возникает ничего нового? Неужели тов. Степанов полагает, что все в природе существует в готовом виде от века? Тов. Степанов эволюционист. Разве он не согласен с тем, что на известной ступени развития нашей земли возникла органическая жизнь, и что когда органическая жизнь возникла, то это было новым явлением, новым качеством, новой формой движущейся материи? Вот если бы тов. Стэн утверждал, что органическая жизнь возникла не как результат эволюции движущейся материи, а из чего-то другого, что для об'яснения жизни необходимо прибегнуть к какой-то иной субстанции или жизненной силе, тов. Степанов был бы прав. Но ничего подобного он никогда не говорил.

На стр. 226 той же статьи тов. Степанов пишет: «Мои противники видят ее (диалектики. *А. Д.*) основную характеристику в «узловых линиях», в перерывах непрерывности».

Я вижу ее основную характеристику в познании непрерывности единого универсального движения, в непрерывности его превращений из одной формы в другую. Это, можно сказать, принцип современной науки, в том основа диалектико-материалистического метода, это та общая точка зрения, с которой мы должны оценивать частные факты частных наук. Все, что противоречит этим диалектическим воззрениям на природу, должно вызывать нашу сугубую подозрительность, хотя бы и старалось прикрываться марксистским флагом, должно наводить на вопрос, не служит ли этот флаг в данном случае просто для прикрытия контрабанды».

Сочно выражается тов. Степанов! Однако противники его страха не имут, ибо сочный слог тов. Степанова должен здесь служить прикрытием для протаскивания настоящей контрабанды. В самом деле, что пишет здесь тов. Степанов? Вы,—говорит он, обращаясь к своим противникам,—считаете основной характеристикой диалектики «перерыв непрерывности» и «узловые линии», а я вижу основную характеристику диалектики в принципе непрерывности. Очень хорошо, тов. Степанов. Но в таком случае вы просто прикрываете своим «сочным слогом» контрабанду, которая называется вульгарным эволюциониз-

мом. Положение нисколько не улучшается от того, что эволюционизм мы будем величать диалектикой, как это делает тов. Степанов. В подкрепление своей точки зрения он ссылается на современную науку, которая имеет своим принципом идею непрерывности, исключающую «перерывы непрерывности», скачки и проч. Но ведь до сих пор все ортодоксальные марксисты считали огромным завоеванием и преимуществом диалектики перед эволюцией, что первая дает об'яснение скачкам и признает «перерывы постепенности»; на почве же идеи непрерывности стояли ревизионисты. А «современная наука»? Современное естествознание?—спрашивает т. Степанов. На это мы ему отвечаем: во-первых, современное естествознание становится на почву признания скачков, перерывов и проч. Поскольку же оно отстаивает только идею непрерывности в природе (а буржуазное обществознание—идею непрерывности в обществе), марксизм всегда признавал его недостаточно научным.

Итак, все, что противоречит этим диалектическим воззрениям на природу (подчеркиваю во избежание недоразумений, что под «диалектическим» воззрением на природу тов. Степанов имеет в виду принцип непрерывности. *А. Д.*), должно вызвать нашу сугубую подозрительность, хотя бы и старалось прикрываться марксистским флагом, должно наводить на вопрос, не служит ли этот флаг в данном случае просто для прикрытия контрабанды». Но, тов. Степанов, главарями шайки контрабандистов, к которой вы рекомендуете относиться с «сугубой подозрительностью», которая «пользуется марксистским флагом» и проч., являются Маркс, Энгельс, Плеханов и Ленин. Не будем приводить больше цитат из произведений всех этих «контрабандистов», так как они должны быть известны всем. Энгельс, как это видно из приведенных уже цитат, говорит прямо о разрыве непрерывности.

Но тов. Степанов ссылается на Ленина, желая изобразить его «постепеновцем», приверженцем идеи непрерывности. Он приводит из ленинских заметок о гегелевской логике следующее место: «Все vermittelt, опосредствовано, связано воедино, связано переходами. Долой небо—закономерная связь всего (процесса) мира». Неужели тов. Степанов серьезно думает, что эти слова Ленина говорят в его пользу? Я этого не думаю. Ленин говорит о том, что все связано переходами. Для того, чтобы читатель понял, что этим хочет сказать Ленин, приведем цитату из другой работы Ленина. «Две основные (или две возможные? или две в истории наблюдающиеся?) концепции развития (эволюции) суть: развитие как уменьшение и увеличение как повторение. И развитие как единство противоположностей (раздвоение единого на взаимоисключающие противоположности и взаимоотношение между ними).

Первая концепция мертва, бедна, суха. Вторая жизненна. Только вторая дает ключ к «самодвижению» всего сущего, только она дает ключ к «скачкам», к «перерыву постепенности», к «превращению в противоположность», к уничтожению старого и возникновению нового» [1]). Таким образом Ленин с его «скачками», «перерывам постепенности» и «возникновением нового», с его отрицанием эволюции в смысле непрерывного и постепенного развития и проч., под марксистским флагом проносит опасную контрабанду и должен вызвать к себе «сугубую подозрительность». Неужели т. Степанов не знает, что именно марксистская диалектика «синтезирует» принцип непрерывности с принципом «перерыва непрерывности»,—эволюцию с революцией?

VI.

В своей статье «Диалектическое понимание природы—механистическое понимание» [2]) тов. Степанов писал: «Я не буду обвинять критиков в сознательном извращении того, что я, следуя принятой терминологии, назвал механистическим миропониманием. Нет, дело для них много печальнее: они не понимают, не могут понять этих воззрений. Хотя я говорю о механистических воззрениях, т. Стэн упорно приписывает мне механическую точку зрения, т.-е. все время от физики и химии скатывается к механике» [3]). И дальше. «Они подменяют современный механистический материализм механическим материализмом, каким он был в XVIII веке. Они просто повторяют возражения, направленные против этого старого материализма, в основных чертах формулированные Марксом и Энгельсом еще в сороковых годах прошлого века». Таких мест в статье тов. Степанова довольно много. Критики не только «не понимают», но и «неспособны понять» отличие механистических воззрений от механических, они «подменяют» механистический материализм механическим и проч. Но, повидимому, критики тоже знают, где раки зимуют, ибо они правильно поняли взгляды т. Степанова, хотя он и принял меры «заградительного» характера. В своей последней статье тов. Степанов, хотя и с некоторой опаской, воюет в сущности за механическую точку зрения. Зачем же, спрашивается, он обвинял бедного Стэна и других критиков в «непонимании» и «подмене».

«Ни в своем «Историческом материализме», ни в статьях, написанных в его защиту, я ни разу, ни одним словом,

1) См. «Большевик», № 5—6, 1925 г., стр. 102.

2) См. «Под Знаменем Марксизма», 1925 г., № 3.

3) Там же, стр. 219.

не утверждал, будто различные формы движения сводятся для меня к превращенным формам механического движения. Суть механистического понимания природы, в противоположность механическому естествознанию, отвергаемому Энгельсом, заключается для меня в универсальности закона сохранения энергии и превращения ее форм из одних в другие. А при такой постановке,—продолжает т. Степанов,— остается по меньшей мере открытым вопрос, не может ли ныне теперь утверждать, что основная форма движения—механическое движение, перемещение. Значит, по меньшей мере остается открытым и тот вопрос, не может ли наука теперь, через пятьдесят лет после того, как Энгельс подвергал критике идеи Грове, перейти от механистического к механическому пониманию природы» [1]).

Итак, основная и в сущности единственная форма движения для тов. Степанова — все-таки простое перемещение, т.-е. механическое движение. А если это так, то естественно, что механическое понимание природы является единственно правильным. Но как раз против понимания движения, исключительно как перемещения, всегда возражал Энгельс. А формы движения бывают разные. Здесь не место подробнее останавливаться на выяснении этого вопроса. Для наших задач достаточно вышеприведенной цитаты из Энгельса, где говорится об основных формах движения. Движение, как основной атрибут материи, обнимает решительно все изменения и процессы, происходящие как в природе, так и в обществе и мышлении. Материалистическая диалектика есть наука об основных законах этого движения, как основного атрибута материи. Диалектика есть вместе с тем об'ективное движение, или движение есть об'ективная диалектика всего сущего. На различии форм движения основывается также обособление различных наук. Поэтому каждая форма движения представляет собою лишь частный, специальный случай. Простейшие формы движения не обнимают собою движения вообще, и поэтому диалектика механики еще чрезвычайно проста, элементарна. Чем больше усложняется форма движения, тем более выпукло выступают в ней диалектические законы. Низшие формы движения, конечно, существуют в высших, но в снятом виде. Каким образом усложняются диалектические законы—это будет показано нами в другой связи. Во всяком случае здесь достаточно подчеркнуть, что движение означает также изменение формы.

Тов. Степанов полагает, что движение «сводится» лишь к механическому движению, а это значит, что диалектика

[1]) «Под Знаменем Марксизма», 1925 г., № 8—9, стр. 48.

исчерпывается механикой. Но это чистейший абсурд. Диалектика естествознания имеет своей задачей исследование всех форм движения, переход их друг в друга и отличие одной формы от другой. Каждая форма движения имеет свой специфический диалектический характер, при чем сама диалектика, так сказать, усложняется, по мере усложнения формы движения. Диалектика химии богаче, полнее и всестороннее диалектики механики. Диалектическая природа органической формы движения, т.-е. жизни, богаче и многостороннее диалектики химии. В обществе диалектика еще больше усложняется. Сама диалектика, будучи подчинена общему закону развития от абстрактного к конкретному, на высших ступенях, в наиболее сложных формах движения, выступает в наиболее полном виде. В механике мы имеем дело с самыми абстрактными или «бедными» диалектическими законами, так как она изучает самые простые формы движения.

Вместо того, чтобы постараться понять диалектику, как особую науку о формах движения, вместо того, чтобы действительно заняться изучением диалектических законов в каждой отдельной науке, -исследованием каждой специфической формы движения, наши «естественники», в своем необычайном, ничем не оправдываемом высокомерии, предпочитают ругать «философов», разносить Энгельса и т. п.

Вся премудрость этих «диалектиков» сводится к отрицанию жизненной силы и признанию принципа непрерывности. Но это очень и очень немного для марксиста-диалектика. Преподнося нам азбучные истины из физики или биологии, они делают вид, что открывают невиданные горизонты.

«Перерывы», «узловые линии»,—поучает нас т. Степанов,—становятся не абсолютными, а относительными, пограничными черточками». «Конечно, и современная наука величайшее внимание фиксирует именно на узловых линиях. Можно сказать, что именно они больше всего влекут к себе громадное количество современных исследователей. Но влекут как раз потому, что одна из существеннейших задач современной науки заключается в развязывании этих узлов, в снижении этих порогов, в сужении этих полос до размеров тоненьких черточек, в раскрытии непрерывности движения».

Подумайте только, какую великую истину открыл тов. Степанов своей теорией «тонких» и «толстых» узлов. Как будто речь идет о размерах толщины узлов. Как будто кто-нибудь когда-нибудь утверждал, что наука должна остановиться с благоговением перед этими «узлами» и молиться на них. Ведь если верить

т. Степанову, то именно его противники только жаждут «удли-нения» узлов и всячески противятся их «развязыванию». Зачем замазывать сущность спора? А сущность спора сводится к тому, что тов. Степанов фактически **отрицает** скачки, «перерывы» и отстаивает **непрерывность**, т.-е. становится на почву вульгарного эволюционизма.

В природе, как и в обществе, «узловые линии», скачки и перерывы не перестанут же существовать от того, что мы вскроем связь или переход от одной формы к другой. Но ведь ясно, что как бы узловая линия не «утончилась», переход от одной формы к другой совершается посредством **скачка**, посредством **перерыва** непрерывности. Сама непрерывность есть цепь перерывов, подобно тому как и самый перерыв не может совершиться без «непрерывности». Мы можем сколько угодно в нашем познании «утончить» узловую линию, пролегающую между двумя общественными формациями классового строения, но реальный переход от одной к другой совершится все же путем скачка, перерыва, революции.

Таким образом, противники тов. Степанова спорят не против бесспорных и азбучных истин, которые преподносятся нам как некое откровение, а против **забвения** или **извращения** диалектики, против неправильного истолкования результатов современного естествознания. Тов. Степанов утверждает, что «философы» дерзают даже вступить в конфликт с «современной наукой», ибо современная наука, по мнению тов. Степанова, признает один лишь принцип непрерывности. Я должен сказать, что не испытываю священного ужаса перед «современной наукой», ибо знаю, что ее жрецы, в силу известных тов. Степанову условий, очень не долюбливают «перерывов». Там, где речь идет о **теоретическом** осмысливании естественно-научных фактов, необходимо относиться с большой осторожностью к представителям современной науки.

Впрочем, современная наука становится именно на почву признания скачков. Вот что пишет М. Планк по вопросу о непрерывности динамических явлений: «Это положение (о непрерывности. *А. Д.*) принималось раньше за бесспорную предпосылку всех физических теорий. Его формулировки вслед за Аристотелем в виде известного догмата: natura non facit saltus (природа не делает скачков). Но современное исследование пробило порядочные бреши и в этой почтенной крепости физической науки. На этот раз общепризнанное положение оказалось в противоречии с принципами термодинамики в виду новых опытных данных; по всем признакам дни его уже сочтены. Природа, повидимому, делает скачки и даже довольно странные» [1]).

---

[1]) М. Планк, Физические очерки, 1925 г., стр. 60

VI.

Так вот, за критику ошибочных взглядов тов. Степанова его противники удостоились следующей характеристики: «Наша лите- тура больна. В ней много углов с застоявшейся атмосферой, потому что в этих углах литераторы той или иной дробной специальности начинают вариться в собственном соку. Необходимо шире раскрыть все окна и двери, необходимо ограничить эти «заседания при закрытых дверях», необходимо проветрить не окончательно погубленные мандаринским чванством мандариньи головы. И уж во всяком случае необходимо, чтобы рецензенты общими фразами не возмещали своего незнакомства с предметами и книжками, о которых они пишут. Иначе дело не пойдет» [1]).

«Мандариньи головы», как видит теперь читатель, виноваты только в том, что они выступают с большим жаром против заблуждений тов. Степанова. Однако у тов. Степанова в запасе имеется против «мандаринов» убийственный аргумент: «На моей стороне,—говорит он,—оказалось подавляющее большинство коммунистов, специальностью которых являются различные отделы естествознания (физика, химия, биология); на другой стороне— пока немногочисленные коммунисты, специальностью которых является философия, главным образом философия Гегеля» (В скобках заметим: философия марксизма. *А. Д.*).

Я не знаю, каким образом удалось установить тов. Степанову «соотношение сил» между естественниками и философами. Охотно допускаю, что большинство естественников на стороне тов. Степанова. Что же? Тем хуже для них. Для нашего брата, скажу прямо, «голосовавшие» за тов. Степанова естественники в вопросах теоретического естествознания авторитетами не являются. Вам угодно узнать, почему? Вот вам ответ Энгельса, очень ярко изложенный самим тов. Степановым. «Энгельс с полным основанием говорит...: не превозноситесь над философами,—у них, начиная древними греками и кончая Гегелем, вы могли бы многому поучиться, они могли бы исцелить вас от вашей ограниченности, если только что-нибудь способно вас исцелить» [2]).

А Ленин по тому же вопросу писал след.: «Современные естествоиспытатели найдут (если сумеют искать и если мы научимся помогать им) в материалистически истолкованной диалектике Гегеля ряд ответов на те философские вопросы, которые ставятся револю-

---

1) «Под Знаменем Марксизма», 1925 г., № 3, стр. 238.

2) «Под Знаменем Марксизма», № 8—9, стр. 70.

цией в естествознании и на которых «сбиваются» в реакцию интеллигентские поклонники буржуазной моды.

Без того, чтобы такую задачу себе поставить и систематически ее выполнять, материализм не может быть воинствующим материализмом. Он останется, употребляя щедринское выражение, не столько сражающимся, сколько сражаемым. Без этого крупные естествоиспытатели так же часто, как до сих пор, будут беспомощны в своих философских выводах и обобщениях. Ибо естествознание прогрессирует быстро, переживает период такой глубокой революционной ломки во всех областях, что без философских выводов естествознанию не обойтись ни в коем случае»[1].

Итак, без материалистически истолкованной диалектики Гегеля, в которой естественники найдут ответ на философские вопросы, которые ставятся революцией в естествознании,—как прекрасно пишет Ленин,—даже крупные естествоиспытатели будут беспомощны в своих философских выводах и обобщениях. Наши естественники действительно беспомощны в теоретическом естествознании. Каждый из них знает свою «дробную специальность» и не имеет желания возвыситься до философии естествознания, т.-е. его диалектики. Многие из них часто употребляют это модное словечко, но знают они о ней до смешного мало. Применять же диалектику в своей области и вовсе не умеют. Так вот, или диалектика модное словечко, тогда просто откажитесь от нее; или же диалектика действительно всеобщий метод, способный обогатить и двигать вперед науку, тогда... тогда требуется серьезное к ней отношение.

Гегель, не будучи естествоиспытателем, при помощи своей диалектики, формулировал за много десятков лет до Менделеева основы периодической системы элементов. В 1812 г. он писал: «Можно было бы предложить задачу установить относительные показатели ряда удельных весов, как систему на основании правила, которое специфировало эту чисто арифметическую множественность в ряд гармонических узлов. Такое требование было бы уместно и для познания вышеупомянутых рядов химического сродства»[2]. Но от этого,—заключает Гегель,—наука еще далека. Вот каковы преимущества диалектики перед эмпирическим естествознанием! Можно было бы привести, конечно, и другие еще более выразительные факты. Но на сей раз хватит и сказанного.

Вполне естественно, что тов. Степанов и его единомышленники, вопреки Энгельсу и Ленину, требуют изгнания из на-

[1]) Ленин, О значении воинствующего материализма, «Под Знаменем Марксизма» 1922 г., № 3, стр. 10—11, курсив мой.

[2]) Гегель, Наука логики, первая книга, ч. 1,. стр. 254 (русский перевод Дебольского).

ших вузов истории философии. Правда, тов. Степанов приходит здесь в резкое противоречие и с самим собою, так как он присоединяется к мнению цитируемого им Энгельса, что естественники могли бы многому поучиться у философов и в особенности у Гегеля, что исцелило бы их от их ограниченности. Тем не менее, гнев его против «мандаринов» и «схоластиков» столь велик, что он восклицает: «Действительно, нет ли чего-то от средневековщины в том, что мы сохраняем историю философии—и не думаем об истории науки?». Ибо ужасен «произвол философов», который «проявился в их отношении к механическому пониманию мира», т.-е. к воззрениям тов. Степанова.

Но если я в чем-нибудь согласен с тов. Степановым, так это в том, что спор вокруг его воззрений «вскрыл существование в марксизме двух противоположных течений», как он выражается. Что верно, то верно.

VII.

А теперь подведем итоги «нашим разногласиям».

Тов. Степанов и его единомышленники отвергают диалектический материализм, хотя и употребляют этот термин. «Современные научные воззрения на природу,—говорит он в одном месте,—я называю в своей книжке сначала «общефилософским» или «философским материализмом», так как первоначально они были достоянием известного течения философии; затем я окончательно конкретизирую и определяю эти воззрения, как «механистическое понимание природы», так как современная наука, унаследовав то ценное, что было в философском материализме, претворила его в механистическое истолкование мира» [1]). Стало быть, философский материализм «сводится» для тов. Степанова к механистическому истолкованию мира, к «современному естествознанию». Современное естествознание представляется тов. Степанову истиной «в последней инстанции». Достаточно сопоставить эти взгляды с взглядами Ленина, чтобы убедиться, насколько далеко тов. Степанов ушел от последнего.

Материя вообще уже дана тов. Степанову «в окончательной инстанции» в современном учении об электронах. Таким образом определенное учение о строении материи исчерпывает для него сущность философского материализма. Данными в окончательном виде он считает, вопреки, напр., Ленину, все виды вещества, силы природы и формы движения, что свидетельствует о метафизическом характере его материализма.

Диалектика есть учение о непрерывности процессов, т.-е. сводится к вульгарному эволюционизму, отвергающему

1) «Под Знаменем Марксизма», 1925 г., № 3, стр. 218.

перерывы и скачки. Отсюда борьба с «мандаринами» и с их «перерывами», «узловыми линиями» и проч. Диалектика далее конкретизируется как **механика**, которая становится универсальным методом. Стоя по существу на механической точке зрения, он признает лишь количественный «момент» и не дает места качественному моменту.

Тов. Степанов обвиняет несправедливо Энгельса в признании им «несводимых качеств» и проч. грехов, не понимая, что для Энгельса нет качества без количества, как нет количества без качества, что он исходит из единства их обоих, из того, что Гегель называет **мерой**.

Заняв механическую (или механистическую) и антидиалектическую точку зрения, тов. Степанов не в состоянии со своей точки зрения об'яснить диалектическую концепцию Энгельса, его учение о переходе одной формы движения в другую и о соотношении между низшими и высшими формами. Поэтому он вынужден был разорвать Энгельса на-двое: на Энгельса, подающего «всю руку виталистам», и Энгельса-механиста. Эта конструкция, как мы показали, не выдерживает решительно никакой критики. Раскритиковав в пух и прах Энгельса, тов. Степанов по адресу своих противников пишет: «В № 3 «Под Знаменем Марксизма» за 1925 г. (стр. 222—227) я уже показал, что мои критики, пока еще неосознанно для себя, являются **критиками марксизма** и прежде всего **критиками Энгельса**».

Таковы основные выводы из последних выступлений тов. Степанова. «Мандариньи головы» за тов. Степановым и его единомышленниками-естественниками не пойдут. Они предпочитают оставаться и впредь на старых позициях Маркса, Энгельса, Плеханова и Ленина.

Старая погудка на старый лад.

К. Милонов.

Ты являешь ритмы духа,
О, философ и барон...
А. В. Луначарский.

„Прочитав, озлился и взбесился необычайно: для меня еще яснее стало, что он идет архиневерным путем, не марксистским".

„Вы должны понять и поймете, конечно, что раз человек партии пришел к убеждению в сугубой неправильности и вреде известной проповеди, то он обязан выступить против нее".

В. И. Ленин. Письма к Горькому.

Тов. Луначарский выпустил книгу «От Спинозы до Маркса». В «заключении» он пишет: «весьма возможно», что книгу «встретит более или менее ожесточенная критика» (стр. 133). Каждый, перелиставший ее, убедится, что критика не только возможна, но необходима, обязательна. При том, именно, «ожесточенная». Поэтому, вслед за Плехановым, мы можем повторить: Tu l'as voulu, Georges Dandin!

О чем говорит тов. Луначарский?

«От Спинозы до Маркса». Однако это не выяснение генезиса философских взглядов Маркса, ибо в главе о научном социализме последний фигурирует как экономист и теоретик классовой борьбы (я не говорю сейчас о неверном понимании того и другого). Если бы дело обстояло так,—то где Тьери, Гизо и Минье с их теорией классов?—где Смит, Рикардо, Родбертус с их элементами теоретической экономии?

Это и не анализ Марксовой теории социализма, хотя одна глава книги посвящена утопистам. Не анализ потому, что в главе о научном социализме нет ничего о социализме, как таковом, и о пути к нему.

Что же это? При чем тут Спиноза и спинозисты, Кант и его учение о боге, Фихте, Шеллинг, Гегель, английские деисты, Фейербах и, наконец, именно, наконец—после Маркса и Энгельса, в «Заключении» книги — Дицген? При чем тут резкая критика французских материалистов, атеизм которых подчеркивали все, начиная Марксом и кончая Лениным?—Только вчитавшись в книгу, вы понимаете это. Вы увидите, что Кант инте-

ресует автора вовсе не с точки зрения тех гениальных идей, предвосхищающих элементы Гегелевской диалектики, которые посеяны в его «Естественной истории и теории неба» и в «Опыте введения отрицательных величин». Такой подход понятен и обязателен для марксиста, как выясняющий элементы марксистской методологии. Здесь нет и критики «критических» устремлений Канта, что было бы интересно и важно в связи с возрождением кантианства. Зато мы имеем «Учение Канта о боге», где как критическая приведена такая мысль: «пролетарский социализм укажет, как на причину полезности бога, на бессилие человека прежних эпох перед природой» (36. Курсив автора). Не чувствуется ли уже здесь, до прочтения главы о научном социализме и заключения о Дицгене, что господь бог полезен и нам, имеющим на-ряду с социалистическими ростками «прежние эпохи» вплоть до «патриархального, т.-е. в значительной степени натурального, крестьянского хозяйства» (Ленин) включительно? Да чувствуется: притворным елеем и ладаном веет от этого «указания» «пролетарского социализма».

Или о Фихте. Мы поняли бы и приветствовали бы, если бы тов. Луначарский дал нам анализ Фихтевской диалектики. Вместо этого: «Мистицизм Фихте (слушайте! *К. М.*) есть предчувствие(!) этого социального и реалистического миросозерцания, которое принесет с собою пролетариат вместе с социализмом» (43). Какая дивная, всеохватывающая картина! Какая глубина! Какая поэзия! «Вершинный носитель духа» (42. Стиль-то какой!)—пролетариат есть лишь реализация мистицизма Фихте! Это... это здорово сказано. И так дальше в том же «духе».

Мы понимаем теперь. Нужно, очевидно, доказать, что история философии, следовательно, и марксизм, являющийся ее завершением, в обычной их трактовке не удовлетворительны. Как же! Ведь, «со стороны недругов или чужих раздаются иногда еще и теперь обвинения марксизма в сухости и холодности» (188). Ну, как же можно не попытаться «отеплить» марксизм? Обязательно!

Оное отепление мы сейчас и разберем. Ежели в процессе разбора мы нередко будем чихать от архивной пыли—то вина не наша. «Жизнеразность» пишущего эти строки положительна, что и свидетельствует в его анти-архивную пользу.

Умер ли эмпириомонизм? Часть первая, архивно-справочная.

Иной, небось, думает, что постановка такого вопроса, по меньшей мере, устарела. Разве может еще существовать в марксистской партии эмпириомонизм после работ Плеханова и Ленина? Конечно, нет! Однако не будем торопиться с ответом. Обратимся к изучению некоторых относящихся сюда документов. Сам Богданов нас сейчас не интересует: он давным давно «отлучен» от марксизма. Возьмем только автора книги «От Спинозы до Маркса». В своем предисловии к сборнику этюдов «Против идеализма» [1]) он писал буквально следующее: «Я стоял *и в значительной мере стою* на точке зрения *соединения* правильно понимаемого (?) марксистского материализма с

[1]) Изд. «Работник Просвещения», Москва 1924 г., стр. 6. Курсив мой, как и везде, где не оговорено.

главнейшими элементами эмпириокритического метода». И дальше: «В общем и целом в 99% доминирующее в коммунистической партии плехановско-ленинское философское течение, конечно, для всех нас приемлемо. Более спокойное время покажет путем обмена мнениями, не являлось ли бы существенным улучшением положения (т.-е. «плехановско-ленинского философского течения», надо думать. *К. М.*) несколько более углубленно реалистическая (?—эмпириокритическая? *К. М.*) постановка вопросов познания... Но, повторяю, я настолько убежден, что сейчас было бы несвоевременным поднимать вопрос о разногласиях (между автором и «плехановцами»), касающихся хотя бы и существенных деталей..., что если бы мне пришлось издать сейчас мои старые статьи, как явно идущие под звездой эмпириокритицизма, я бы от этого решительно воздержался». Итак, автор еще не встал целиком на точку зрения «плехановско-ленинского течения», на точку зрения марксизма. Поскольку в свое время так прямо и заявлялось, поскольку было признано нецелесообразным до «более спокойного времени» «поднимать вопрос о разногласиях», постольку действительно можно было пройти мимо этой, с позволения сказать, «философии». Однако теперь автор стоит, очевидно, на иной точке зрения. Так, на стр. 133 вновь появившейся книги «От Спинозы до Маркса» он говорит: «Я воспользовался для этого (=для книги. *К. М.*) главами давнего моего сочинения, в некоторых местах исправив их, и сделал я это именно потому, что считаю эти страницы вполне своевременными». Тов. И. Луппол в своей рецензии в «Правде» уже указал, какое «давнее свое сочинение» имеет в виду автор. Это—«Религия и социализм», том II (стр. 213—371, изд. «Шиповник», СПБ.), сочинение, каковое может и должен прочесть всякий, сколько-нибудь интересующийся историей марксизма в России. Эта работа, направленная отчасти против Плеханова (автор развивает там положительные взгляды), и может считаться как раз той из серии «старых статей», которые «явно идут под звездой эмпириокритицизма». Раньше т. Луначарский от этого «решительно воздерживался», теперь—«эти страницы вполне своевременны». Очевидно, наступило «более спокойное время». Именно поэтому мы и должны учинить соответствующий «обмен мнениями». Мы, с своей стороны, согласны!

Но ведь автор говорит, что он исправил свое старое сочинение. Исправление исправлению рознь. Бывает такое, которое равно фактически полному разрыву с своей прежней точкой зрения. Его бы мы целиком приветствовали. Исправление же, как понимает его автор, приветствовать трудно, даже при доброй к тому воле. Сам т. Луначарский о методе исправлений говорит так: «небольших терминологических перемен, кое-каких приписок, кое-каких редакционных изменений было достаточно, чтобы сделать мой подход к вопросам теории познания... приемлемым для всякого марксиста». Хотя это сказано в предисловии к «Против идеализма», однако целиком приложимо и к новой книге. Какой-нибудь библиофил либо историк взглядов т. Луначарского приведет нам все его исправления. Мы же, не страдая склонностью к возне в архивной пыли, дадим пока два—три образчика.

На стр. 21 автор вдруг заявляет: «Комментировать эти страницы (из Энгельсовского «Развития социализма». *К. М.*) я не считаю нужным». И точка. Затем: «Энгельс самым резким образом возражал против применения слова религия к великому миросозерцанию пролетариата». Читатель—в смятении: из приведенной двухстраничной цитаты совершенно не видно, возражал или не возражал Энгельс против «слова религия». Однако буря в душе читателя сейчас же успокаивается, когда он спутешествует на стр. 353 второго тома «Религии и социализма». Там становится ясно, почему не дается комментария и почему столь резко возражает Энгельс против слова религия. Там написано: «Комментировать эти страницы я не считаю нужным... религиозная душа воззрений Энгельса на историю ясна. К самому термину религии Энгельс относился, однако, крайне отрицательно». Теперь вы понимаете, что и Энгельс, даже в новом издании, возражает только против слова религия, а не против нее самой. Таково исправление!

Еще пример: «Пролетариат,—говорит автор,—несет с собой совершенно новую форму самопознания: центром является Вид, коллектив, личность вращается вокруг него (так и вращается?! Интересно бы посмотреть! Вероятно, бывают частые головокружения, бедная! *К. М.*), но чувствует свое коренное единство с ним; это антропоцентризм, одинаково далекий от обеих предыдущих точек зрения». Так как вид с большой буквы вселяет в нас священный трепет, мы наводим справку на стр. 388 «старого сочинения» и находим, что не только вид имеет там большую букву, но и сама мысль продолжена несколько более определенно [1]): «это антропоцентризм, одинаково далекий от обеих предыдущих точек зрения, но представляющий собою нечто столь же противоположное антирелигиозности, как и религиозности. А так как это новое миросозерцание своеобразно разрешает основную религиозную проблему, чего антирелигиозное миросозерцание дать не в состоянии, то мы и склонны называть его (т.-е. «самопознание пролетариата». *К. М.*) высшей формой религиозности». И так далее в том же духе. Мы должны согласиться, следовательно, с автором в том, что здесь есть лишь «небольшие терминологические перемены», «кое-какие редакционные изменения». Что правда—то правда!

Однако все это мы привели лишь в целях, так сказать, академических. Марксист, читающий книгу «От Спинозы до Маркса», не преминет заметить, что независимо от того, новое это сочинение или старое, несогласие т. Луначарского с марксизмом проявляет здесь себя достаточно остро. Об этом свидетельствуют нападки на Плеханова, установление разногласий Маркса с Энгельсом, своеобразная история философии, когда все философы подгоняются под одну схему, конструирование марксизма, как религии, своеобразная «философия истории», наконец, откровенное эмпириокритически-Богдановское понимание действительности, науки, опыта и т. д. Ей-ей, не нужно большой теоретиче-

[1]) Кстати, комический момент: корректор нового издания забыл поставить точку после приведенной цитаты, оставив запятую прошлых лет и тем прямо приглашая взглянуть в «Религию и социализм».

ской зоркости, чтобы понять, например, что под марксизмом, как «целостным мирочувствованием», на деле скрывается «марксизм как религия».

В предисловии к «Против идеализма» автор писал: «Может быть, какой-нибудь сучок или задоринку очень придирчивый взгляд и найдет, но в общем и целом я всюду старался и, как мне кажется, успел встать на обще-марксистскую точку зрения» (стр. 6). Напрасно кажется: вредное самообольщение. Помилуйте, какие же это «сучки и задоринки», нужен ли «очень придирчивый взгляд», ежели последними словами ругают Энгельса и Плеханова и делают все прочие выше нами указанные и подлежащие рассмотрению грехи против азбуки марксизма? «Уж мы теперь не дети», кое-что все-таки понимаем: дело идет не о «нюансах», а, можно сказать, о самых коренных вопросах. Или автор думает, что старики все забыли, а молодежь [1] — благо у нас больше технических ВУЗ'ов — ничему не научилась?

* * *

Мы привели достаточно подробные справки, свидетельствующие, что книга «От Спинозы до Маркса» есть лишь терминологически подправленное переиздание старых эмпириокритических взглядов автора. Однако в дальнейшем мы вынуждены будем разбирать ее как нечто самостоятельное. И это по двум причинам: во-первых, не всякий может самостоятельно справиться по старому изданию, а, не справившись, вообразит, что здесь дано что-то очень новое; во-вторых, раз книга издана в том виде, в каком мы имеем ее сейчас, значит автор стоит и сейчас на этой точке зрения, значит надо эти взгляды разобрать.

Умер ли эмпириомонизм? Часть вторая, критическая.

Тов. Луначарскому почему-то представляется, что в марксизме существует две философии: Энгельса и Маркса. Он говорит: «Конечно, мысль Маркса и мысль Энгельса были очень близки; конечно, Маркс официально (а про себя, значит, думал: какой же Энгельс дурак? Так, что ли? *К. М.*) одобрил философию Энгельса, поскольку она выражена в «Анти-Дюринге». Но все же Энгельс не выразил всей глубины философской мысли Маркса: он упустил некоторые черты его мировоззрения, с философской точки зрения представлявшие огромный интерес» (стр. 97). Путешествие по страницам показывает нам следующую картину: «Маркс отнюдь не задавался целями мирооправдания (кстати, прежде стояло: «богооправдания или мирооправдания». «Рел. и соц.», т. II, стр. 335). Для него дело заключалось не в том, чтобы утешительно интерпретировать мир, а в том, чтобы активно приспособить его к потребностям человека» (106). «Маркс учит нас..., что борьбу, составляющую суть истории, ведет Вид» (107)[2]. «Для Маркса «действительность» и мир, «воспринимае-

---

[1]) Автор в том же предисловии заявляет, что его эмоциональные экзерциции полезны, в особенности для... аудитории молодых людей, чутких к вопросам морали и чувства.

[2]) Несколькими строками ниже идет напоминание читателю цитаты из письма Маркса Мейеру. Но оно фигурирует только в I томе «Религии и социализма». Плохи ваши редакционные исправления, т. автор!

мый внешними чувствами», совпадают. Нет ни звука о вещах в себе» (113). И т. д. и т. д. Маркс превращается в эмпириомониста.

Энгельс «считает заслугой Фурье, что тот» подобно тому, как Кант ввел в естествознание идею о будущей гибели земли, «ввел в историческое мировоззрение идею о будущей гибели человечества». «Необходимость... навсегда останется, по Энгельсу, царицей человека» (117). «Некоторый натуралистический фатализм Энгельса мы считаем... не вытекающим необходимо из философии Маркса» (118; прежде—стр. 350, курсив автора—стояло: «постановка науки и ее законов выше практики, т.-е. жизни и ее инстинктов, на наш взгляд—материалистический грех Энгельса»). «У Энгельса, быть может, можно отметить некоторое преувеличение оценки данных именно нынешнего естествознания, как незыблемо точные» (117. Этого нет в «Религии». Однако сравните с только что приведенной цитатой со стр. 350, и вы увидите, что т. Луначарский не изменился: Энгельс по-прежнему виноват в том, что слишком превозносит науки, интерпретацию, об'яснение вопреки «активисту» Марксу. Ну и ну!). И т. д. Гораздо короче все это можно формулировать в прежних выражениях автора: «Энгельс подменял современной ему наукой... важные элементы марксовской философии и гносеологии... И хотя точка зрения Энгельса значительно научнее и выше Плехановской—легкий уклон с высот марксизма в низменность плехановизма (?!) у него есть. Для Маркса безусловно одно—практика, все построения науки относительны. Энгельс же верил в незыблемость законов эволюции и в этом смысле был космистом, отчасти же фаталистом» (348). Здесь ничего не прибавлено по сравнению с новейшими высказываниями: только систематизировано, сведено воедино.

Это надо оценить по существу. Но подождите! Вдумайтесь в одно лишь разграничение Маркса и Энгельса! Если принять его—так ведь это довольно старая вещь, старая и целиком реакционная. Чуть ли не все ревизии марксизма начинались именно с этого пункта. Сначала скажут, что у Маркса нет философских произведений, затем, что «философия Энгельса» для нас необязательна, а там и начнут соединять Маркса с Махом, с Кантом, с чортом и богом и т. д. Международная литература марксизма дала по этому поводу слишком достаточно образцов, как соединения, так и, главным образом, русской критики. Прямо совестно говорить сейчас об этом: настолько это элементарно, насколько навязло в зубах. Если позабыли прошлое, так ведь было еще недавно: Георг Лукач! Да ведь и врут же люди, когда говорят, что у Маркса «философия... изложена только на нескольких страницах его ранних работ, просвечивает только кое-где сквозь его научные трактаты и публицистические памфлеты» (97). А «Капитал»—это «только кое-что»? А исторические работы, а письма, а все литературное наследство—это тоже «только кое-что»? Ничего вы не поняли у Маркса. Все его произведения суть произведения философские, и именно в том смысле, что они целиком пронизаны материалистической диалектикой. Вся его деятельность тоже такова: она тоже строилась в полном соответствии с его философией. А вы не поняли гиганта Маркса и, не поняв, стали противопоставлять его Энгельсу, в тысячу раз превосходившему всех ваших Махов,

Богдановых и прочих филистеров ума и дела. И говорят еще «только кое-что»! Эх вы, Ленина на вас нет!

Говоря о Марксе, т. Луначарский дает, естественно, очерк всего марксизма, взятого как философия, экономическое учение и теория социализма. При этом он излагает «философию Маркса (сюда же вкраплено и все остальное,—интересное понимание философии! *К. М.*), какою представляется она по сохранившимся ее элементам, делая те дополнения, которые, согласно разумению нашему, являются естественно вытекающими из этих элементов» (стр. 98. Курсив мой. *К. М.*). Что же за изложение, что это за дополнения?

Обратимся пока только к философской стороне. Тов. Луначарский утверждает: «Мир как практика есть мир предметный, есть действительность» (112). «У Маркса—нет ни звука о вещах в себе» (113). «Мир» разных эпох не похож один на другой, но каждый раз считается действительным, ибо представляет из себя организацию опыта, более или менее отвечающую потребностям данного времени» (114). И все это об'является, вслед за Богдановым, самым доподлинным марксизмом, так как основывается на неверно понятых тезисах Маркса о Фейербахе. Упершись в 11 тезис, взяв его вне связи со всем учением Маркса, извращая его смысл, эмпириомонисты вслед за Богдановым твердят, что вот-де наша, т.-е. богдановская, философия есть философия активности; а ваша, плехановская—это чистое созерцание, простое об'яснение, сплошной квиэтизм. Какую же активность проповедуют богдановцы, создавшие даже специальную организационную науку. В 11 тезисе Маркс говорит: «Философы лишь различным образом об'ясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его» [1]). Тов. Луначарский, вслед за Богдановым, видит в этом голое противопоставление об'яснения и изменения, как это ясно было из его сравнений Маркса с Энгельсом. Получается так, что можно изменять окружающий нас мир, не об'яснив его. При этом, не дают себе труда подумать, что весь марксизм только потому и может служить орудием изменения мира (общественной жизни), что предварительно правильно об'ясняет его. Конкретно: могли ли бы мы, коммунистическая партия, хоть сколько-нибудь правильно действовать, если бы теория Маркса, дополненная и развитая Лениным, не дала нам об'яснения того, как существует и развивается капитализм, что его взрывает изнутри, что будет после капитализма и т. д. Одно такое предположение смехотворно! Однако, тов. Луначарский, разделив Маркса и Энгельса на активиста и об'яснителя и оторвав одного от другого, прямехонько скатывается в лоно (он любит это выражение) весьма своеобразной «практики», той, которая имеет своим предметом пустые фикции больного ума или пораженных ощущений. К этому, как увидим дальше, обязывает эмпириомонизм.

Сконструировав такое противопоставление, не трудно и всего Маркса остричь под гребенку эмпириомонизма. В I тезисе, Маркс говорит: «Главный недостаток всего предшествующего материа-

---

[1]) Цитирую, как и в дальнейшем, по новому переводу: Архив Маркса и Энгельса, кн. I, стр. 200—202. Плехановский перевод, как известно, неверен. И нечего тов. Луначарскому (стр. 112) на этом строить все свои умозаключения.

лизма—до фейербаховского включительно—заключается в том, что предмет, действительность, чувственность рассматривается только в форме об'екта или в форме созерцания, а не как чувственно-человеческая деятельность, не в форме практики, не суб'ективно». При ловкости рук богдановцев Маркс моментально превращается в эмпириомониста. Тогда, нимало не сумняшеся, об'являют: «Итак (!) мир, как практика, есть мир предметный, есть действительность» (112).

Делается все это чрезвычайно просто. Маркс говорит о том, что созерцательный материализм **только** созерцает, **только** об'ясняет мир, последний есть для него (не для Маркса) только **об'ект**, не больше. Необходимо же рассматривать его и как предмет практики. Этим мир вовсе не уничтожается, этим только подчеркивается необходимость «революционной, практически-критической деятельности», той, образцы которой нам дали Маркс, Энгельс и Ленин. Но кто же воспретит богдановцам сделать отсюда совершенно другие, целиком «заумные» выводы? Вместо того, чтобы говорить «мир, как действительность, есть предмет практики»,—а это и говорит Маркс,—они, жонглируя терминами «чувственность», «деятельность», «практика» об'являют мир существующим лишь постольку, поскольку он становится предметом практики. Их мир в кавычках,—а о другом они и не могут говорить,—есть лишь «организация опыта, более или менее отвечающая потребностям данной эпохи». Плеханов и Ленин давно уже показали то, что не убедило тов. Луначарского: такое, с позволения сказать, понимание мира прямиком ведет к уничтожению всей действительности, зато к созданию новой—из чертей, леших, ведьм, чего-угодно. Нам остается задать т. Луначарскому лишь один вопрос: Союз ССР тоже, надеемся, принадлежит к миру; так вот, как же эта часть мира, действительна сама по себе, или же только «считается действительной, ибо представляет из себя организацию опыта, более или менее отвечающую потребностям данного времени»? Согласитесь сами, что вопрос вполне законен: из того или иного решения его вытекает известное отношение мое к СССР. До сих пор, каюсь, я считал его существующим по подлинному Марксу.

Тов. Луначарский, конечно, уклонится от прямого ответа. На всякий случай у него имеется и такое положение: «Маркс вовсе не думает, чтобы труд создавал мир из ничего... Наоборот, суб'ект существует в среде, сопротивляющейся и грозной» (!). Однако, чувствуя, что это находится в некотором разногласии с предшествующим («мир как практика... есть действительность»), т. Луначарский констатирует три сферы: небытие, потенциальное бытие и действительность. Эти сферы настолько интересны, что надо привести целиком довольно длинную цитату: среда, говорит автор, бесконечно разнообразна, «но суб'ект выделяет из нее лишь те элементы, которые так или иначе затрагивают его жизненные интересы, к остальному он фатально (!) равнодушен, остальное он фатально (!) игнорирует, оно равно для него небытию. Лишь на очень поздних ступенях развития, при быстром росте области сознания непознанное и даже (!) неосознанное перестанет быть равным небытию,—в наших глазах это уже потенциальное бытие; когда оно связывается хотя бы самой тонкой связью с тем, что уже существует для нас,—мы откроем пути к нему, и оно войдет

в мир действительности» (113—114). Если вам это кажется марксизмом, то... странный у вас вкус. Однако мы хотим согласиться с ним. И в дополнение к прежнему вопросу спрашиваем: в какой же из трех сфер бытия находится СССР? Может, он не затронул жизненные интересы и поэтому «равен небытию»? Или вы перестали уже быть «фатально равнодушными»? Может быть, даже установились хотя бы «самые тонкие связи»? Достаточно ли они крепки? Не рвутся ли они? Оберегайте: люди говорят, где тонко, там и рвется.

Всем этим эмпириомонизм тов. Луначарского не ограничивается.

Касательно теории он поучает: «Истинной оказывается та, которая при данных условиях дает наибольшие результаты на единицу затраченной силы» (114). Не задаваясь вопросом, сколько единиц силы затратил автор и сколь благоприятно соотношение между этой затратой и достигнутыми им результатами, покажем автору на его собственные противоречия. Строчкой выше он говорит: «практика свидетельствует об истинности или ложности... теории». Противоречие в следующем: а вдруг да практика доказывает истинность такой теории, как диалектический материализм, теории сложной, неизмеримо сложнее всяких эмпириомонизмов? Как же тут с соотношением сил и результатов? Ведь сил тут требуется столько, что иные противники (не один т. Луначарский!) до сих пор никак не могут ею—этой теорией—овладеть. Или, может быть, практика доказала истинность эмпиризма? Что-то не было слышно об этом. А принцип экономии мышления, о котором говорит в приведенной цитате т. Луначарский, до сих пор приводил всегда к оппортунизму. Лучший пример этого—Богданов и его последователи.

Ко всему этому, теория не является, конечно, отражением действительности—ведь последней нет,—теория есть лишь «наиболее совершенное для данного времени приспособление». Это совершенно точное изложение Маха.

Тов. Луначарский, само собой разумеется, стоит на точке зрения социоморфизма, иначе той, которая утверждает, что «наука, т.-е. все научное мировоззрение наше, является... отражением социального бытия на определенной стадии его развития» (стр. 99). Конкретно это означает, что, напр., «необходимость... является настоящим порождением буржуазного строя, где каждый индивидуум... чувствует себя... бессильным перед стихиями анархического хозяйства, играющими им как игрушкой» (64). Это должно, очевидно, означать, что у нас, в обществе, переживающем переходный от капитализма к коммунизму период, необходимость и существует и не существует: она существует на рынке, где еще господствует анархия, она не существует, скажем, среди членов Российской Коммунистической Партии. Замечательная необходимость! А партия еще организовала ЦКК. Этак, не долго дойти до того, что начнешь утверждать: ЦКК, как персонифицированная необходимость, есть «порождение буржуазного строя». Какая тонкая философия!

Чтобы покончить с эмпириомонизмом т. Луначарского, остановимся еще в двух словах на «вещи в себе». Автор утверждает, что все это—выдумки Плеханова, «для Маркса «действитель-

ность» и мир, «воспринимаемый внешними чувствами», совпадают. Нет ни звука о вещах в себе» (113). Дорогой автор! В своем «восторженном» отношении к Марксу и в пренебрежении к Энгельсу, вы изволили проглядеть у Маркса, столь для вас авторитетного, одно небольшое замечание. Оно находится в том самом «Капитале», который вы с таким энтузиазмом цитируете. На стр. 346 второй части III тома (изд. 1909 г.) Маркс говорит буквально следующее: «если бы форма проявления и сущность вещей непосредственно совпадали, то всякая наука была бы излишня». Перевод, как известно, редактирован А. Богдановым, которого вы в выпущенной ныне главе в свое время называли «единственным марксистским философом, продолжающим чистую философскую традицию Маркса» (стр. 371). Так что умышленно-небогдановского искажения быть не может. И что же говорит Маркс? Диаметрально противоположное вашему и всего эмпириомонизма утверждению. «Форма проявления» для Маркса и есть то, что у вас названо «воспринимаемый внешними чувствами». Вещь в себе Маркс здесь называет «сущностью». И вот он утверждает, что они не совпадают. По вашему же совпадают. Нет ни звука, как вы говорите, о вещи в себе. Как же нет? И очень явственный звук. А разве весь «Капитал» не есть исследование своеобразных, экономических «вещей в себе», «вещей в себе» в том смысле, что они действительны, существуют сами по себе, а не как «организация нашего опыта», и еще в том смысле, что в историческом развитии они становятся вещью для нас, как это утверждал Плеханов и в чем вы с Богдановым никак не можете убедиться? Как же поживает ваше восхищение перед Марксом и третирование Энгельса? Ведь это как раз тот самый пункт, который отделяет марксизм—доподлинный, а не ваше «мирочувствование»—от эмпириомонизма и махизма.

Всем этим отнюдь не исчерпывается извращение марксизма т. Луначарским. Об исторической теории Маркса и социализме мы скажем после. Теперь же перейдем к эмоциональности, как тесно связанной с эмпириомонизмом.

Об эмоциях. Curriculum vitae энтузиаста.

Неопытный читатель, не знающий, что т. Луначарский попрежнему стоит на эмпириомонистической точке зрения, может пройти мимо целого ряда его утверждений. Таким, в частности, является то, что служит для него основным мотивом всей книги.

В предисловии—кстати, представляющем из себя, как и все прочее, отрывок из «Религии и социализма» (т. II, стр. 301—304), отрывок, вырванный из живой связи контекста и посему возбуждающий спервоначалу недоумение, — в предисловии этот мотив изложен с достаточной полнотой. Автор говорит: «Эта книга (т.-е. «От Спинозы до Маркса». *К. М.*) имеет своей целью подойти к марксизму и его предшественникам не только с точки зрения мыслей, заключающихся в этих системах, но и с точки зрения выражаемых и возбуждаемых ими чувств» (стр. 5).

А «в первых строках своего письма» т. Луначарский без дальних слов, без лишних фраз декретирует: «Люди делятся и, вероятно, еще долго будут делиться на два типа: тип по преиму-

ществу рационалистический и тип по преимуществу эмоциональный». И дабы декрет сей не особенно-то обсуждался, он прибавляет: «нельзя представить себе ничего бесплоднее споров о преимуществе того или другого типа» (стр. 3).

Мы в смятении. Однако, справившись с соответствующими страницами «Религии и социализма», мы кажется понимаем что к чему. На стр. 304 написано: «Все вышесказанное (т.-е. относительно рационализма и эмоционализма. *К. М.*) имеет своей целью пояснить отношение Энгельса к Фейербаху. Энгельс упорный и суровый рационалист. Фейербах пламенный и глубокий эмоционалист. Для лиц, более или менее «конгениальных» (может быть, читатель знает, кто здесь подразумевается? *К. М.*) Фейербаху, положительно больно читать такие, например, слова Энгельса: «Окружающее нас общество, основанное на противоположности классов и на порабощении одного класса другим, и так достаточно мешает нам становиться в истинно-человеческие отношения к своим близким. Мы не имеем ни малейшего основания еще более суживать эти отношения, одевая их религиозным покровом».' Мы уже видели, как относится т. Луначарский к Энгельсу, поэтому не трудно a priori предсказать, на чьей стороне его симпатии, хотя о преимуществах спора, конечно, быть не может. Да мы и не думаем спорить. Народ доверчивый!

Нас интересует пока лишь следующее. Как отнестись при таком разделении к Ленину, которого сам автор считает «законченным образцом рационалистического типа» (стр. 111). Ведь т. Луначарский утверждает: «рационалист всегда будет пожимать плечами, слушая или читая эмоционалиста. Вся эта музыка чувства ему плохо доступна» (5).

Долженствует ли это означать, что Ленин не понимал всего пафоса революционной борьбы? Если так, то это не верно, о чем свидетельствуют все его статьи, речи и письма. Или здесь скрыт еще какой-нибудь смысл?

Во всяком случае ясно, что точка зрения т. Луначарского может стать одним из обоснований пересмотра некоторых принципиальных и совершенно не отделимых от Ленина, как личности, и ленинизма, как учения, положений. Явно сочувствуя эмоционализму, т. Луначарский говорит: «Друг мой Аркадий, не говори красиво!»,—насмешливо восклицает рационалист»,—и прибавляет: «для типа эмоционального все это представляется своеобразным «идиотизмом» (прежде не было этих якобы иронических кавычек. *К. М.*), своеобразной анэстезией одной стороны духовной жизни» (3—4). И дальше: «Красивые слова, красивые фразы! восклицает рационалист. Но красота, право, не порок!» (4).

Однако все это нам вовсе уж не так важно, хотя, конечно, и здесь т. Луначарский безбожно путает. Нам интересно не то, что лучше—быть энтузиастом своего дела или быть «холодным» рационалистом: и то и другое хорошо, если энтузиазм не надевает на глаза искажающих действительность очков. Нам интересен более глубокий смысл этого подразделения. Тов. Луначарский, скрывающий свои доподлинные мысли новой редакцией, довольно явственно показывает, как увязывается у него этот самый эмоционализм со всеми остальными взглядами. Мы уже показали, что он по-прежнему эмпириомонист. А из одной цитатки, фигу-

рировавшей выше, было к тому же ясно, что он отныне не отказался и от понимания марксизма, как религии (подробнее это будет демонстрировано ниже). Эмоционализм же служит для него тем мостиком, по которому он переходит от эмпиризма к религии. Какой интересный путь, какое множество эмоций украшает его!

Все это достаточно наглядно демонстрируется уже в предисловии.

«Эмоционалист, — говорит тов. Луначарский, — не может понять... как возможно считать прочной постройку об'ективного миросозерцания, если она не опирается на более или менее законченную мирооценку, возведение каковой возможно лишь на фундаменте глубокого исследования непосредственного, прямо во внутреннем опыте данного чувственно-волевого порядка явлений» (курсив автора). «Человек, как существо оценивающее, должен сказать здесь свое слово» (стр. 4), — продолжает он, лишь иначе выражая известное протагоровски-махистско-эмпириомонистическое положение: «человек есть мера всех вещей». Все это может служить чуть ли не лучшим выражением эмпириомонистических взглядов т. Луначарского. Но как же связывается это с религией? Да очень просто.

Махизм, как эмпиризм, концентрирует все свое внимание на ощущениях, на переживаниях. А религия есть вещь, по преимуществу, эмоциональная. Много и долго пытались доказать основные ее положения «рационалистически», т.-е. путем научно-логической аргументации, однако дело выходило плохо, брать ли Ансельма Кентерберийского, Декарта или кого-нибудь другого: при небольшом прикосновении науки все эти аргументы разлетались в прах. Это вовсе не значит, что религия не есть своеобразное понимание мира. Это значит только то, что, как понимание, ее легко разбить, а вот, как совокупность переживаний—значительно труднее. Попробуйте убедить какую-нибудь старушенцию салопницу, живущую больше переживаниями, чем умом, в ложности религии: это будет значительно труднее, чем убедить того, кто знает наизусть весь «катехизис», но никаких религиозных переживаний с ним не связывает.

Так эмпириомонизм через эмоциональность теоретически связывается с религиозностью, продолжающей оставаться сама собой, говорится ли о боге-христе, или о боге-коллективе. Внутренняя логика такова, что коллектив в конце концов становится богом: его воспевают аки бога, ему хвала и жертвоприношения. Почитайте т. Луначарского и убедитесь в этом. Доказательства? Пожалуйста! «С видом связана у него (т.-е. Маркса! *К. М.*) идея победы, и только в нем, выражаясь метафизически, видит он бога-младенца (!), колыбель которого окружают тупые черные змеи стихий (!). Прекрасная надежда (!) на расцвет могущества этого младенца, на растущий триумф его, запрягающего порабощенных светом сознания драконов (! Ежели драконы—буржуазия, так не «светом сознания» она порабощена, о чем-то другим! *К. М.*) в победную колесницу свою на торжественный и стремительный полет его, светлого сына жизни (!) сквозь тьмы тем миров, бытия и полубытия (?!)—вот идеализм Маркса. Горячее чувство своего родства, своей сопринадлежности виду, понимание ценности жизни личной лишь в связи с грандиозным размахом жизни коллективной—вот основное (прежде: религиоз-

ное. *К. М.*) чувство Маркса, согревающее его учение (стр. 116. Курсив мой. *К. М.*). Я думаю, достаточно. «Комплекс элементов» довольно богатый и... пахучий! Заметьте только, что это издано в 1925 году в СССР, во дни ведения Наркомпросом антирелигиозной пропаганды.

Действительно, «дипломированная поповщина», только идет она от эмпиризма не через его идеализм, а прямо через ощущения, мирочувствование и т. д. Паки реку: Ленина на вас нет! Хорошо говорил старик: «Сегодня прочту одного эмпириокритика и ругаюсь площадными словами, завтра—другого и матерными» («Лен. Сборник», № 1, изд. 2-е, стр. 17). Почаще бы его вспоминать!

Все эти замечания нам интересны не только потому, что они «раз'ясняют» т. Луначарского и его позицию. Они необходимы также для оценки того крупнейшего литературного течения, которое, начав с космизма, не всегда умело дойти до понимания реальных отношений нашей жизни: и там эмоциональность раздута через край, и там почти религиозное преклонение перед коллективом.

Теперь, как и в прежние времена, т. Луначарский вправе вместе со своим персонажем Фогельштерном молиться:

О ты, Оно, Оно, Оно.
Ты—все... И все тобой полно...
О, все они и все оне
Ничтожны пред тобой вполне.
Что числа, свойства, атрибуты...
Века, года, часы, минуты?
Одно—оно, оно—одно.

Все дело лишь в том, что здесь «Оно прияло зрак» [1]), превращено в религию Вида, коллектива, бога-младенца, а Маркс—в пророка, предсказавшего его—бога-младенца—появление. Аминь!

Нечто о марксизме и религии. Дополнения к биографии.

Как свидетельствуют вышеприведенные цитаты и соображения, превращение т. Луначарским марксизма в религию является вполне достоверным фактом: одного места о боге-младенце, места, написанного явно в религиозно-экстатических тонах, вполне достаточно для такого умозаключения.

Мы вправе поэтому заинтересоваться, как же именно протекает подобная операция.

Мы видели выше, что т. Луначарский стоит на точке зрения некоей человеческой всеактивности. Мир воспринимается поэтому как «пассивное сопротивление» (стр. 101),—все как и полагается согласно требованиям эмпириомонизма.

Отсюда мы получаем следующее замечательное обобщение: «Суб'ект и его среда, поскольку он ее сознает, суть целиком продукты первоначальной активности, в этом

---

[1]) «Идеи в масках». Кн-ство «Заря», Москва 1912 г., стр. 139—140. Оттуда же и эпиграф.

отношении мы близки к Фихте» (101. Первый курсив автора). Уже здесь видно, что косная материя природы, как чистое сопротивление, должна, очевидно, иметь творца: и напрасно т. Луначарский не написал «первоначальную активность» с большой буквы. Было бы яснее! Может быть, вы думаете, что я слегка утрирую? Да нет же! Абсолютное я Фихте признается им. Он считает необходимым сделать только ограничение: «активность эта (см. выше. *К. М.*) ни на одной из своих стадий не является произвольной,—сводясь к стремлению жить» (101). Но ведь почти все религии не признают, что «первоначальная активность»—бог действует по принципу «чего моя нога хочет». А говорить ли «абсолютное я» или «бог»—право же, здесь различие в количестве, но никак не в качестве.

Однако суб'ективно т. Луначарский не так выводит религию, это «целостное мирочувствование», по его новейшей терминологии. Путь более тонкий и извилистый. Такой, начало которого как будто бы, действительно, упирается в марксизм.

Однако мы еще не забыли об «элементах» и «разумении» автора. На стр. 101 повествуется: «Формы сотрудничества, представляющие собою основные формы общественности, зависят от приемов труда и орудий производства и меняются с их изменением». Сказано недурно, хотя терминология кое-где страдает. Но будем обращаться с ней сейчас столь же вольно, как и сам автор. Поэтому пройдем мимо.

В дальнейшем это, в основе своей правильное, положение т. Луначарским забывается, и он говорит уже только об одном труде. «Не только социальные формы определяются социальным бытием, т.-е. трудом в его развитии, но и само (!) сознание» (104. Курсив мой. Прохожу мимо этого интересного «не только, но и»: оказывается социальные формы—это одно, а социальное бытие—другое. Бедный Маркс! Доколе будут над ним издеваться?!). Вы чувствуете, что труд превращается автором в какую-то самостоятельную, сама по себе развивающуюся категорию. И тов. Луначарский ставит все точки над i. «Первоначальная зависимость труда от среды, в сущности говоря (заметьте это. *К. М.*), не ограничивает его свободы, как таковой, а лишь внешним образом ставит ей препятствия» (103). И сейчас же вслед за этим: «Жажда жизни—вот свободное начало в организме...» (курсив мой). Как будто бы теперь все ясно. Тов. Луначарский повторяет тут Богданова, бесконечно удаляясь от марксизма. Для последнего основой общественной жизни является вовсе не труд, а производство, как синтез труда и техники. Отрывать одно от другого—значит безбожно путать, извращать действительность, грешить против азбуки марксизма, подменять исторические категории категориями вещными «логическими». А так как тов. Луначарский хочет сохранить видимость материализма, неизбежно ускользающего из-под его ног, то он и приравнивает труд жажде жизни. «Жажда жизни,—говорит он,—лежащая в основе труда...» (104). «Отсюда (!): рост производительных сил человечества». Уважаемый автор, вы спутали марксизм с каким-то другим «измом»! Именно с тем, который подменяет категории социальной жизни категориями биологическими, физическими и т. д. Не в таком ли именно смысле прикажете понимать утверждение, что пролетариат «принципиаль-

но» единодушен «остальной человеческой, животной (!) и неорганической (?!) природе» (42). Не сюда ли отнести ваше новое в старом издании 1905 г. не имеющееся, примечание, что «марксистский (а есть и другой? *К. М.*) диалектический материализм есть самая последовательная форма позитивизма» («Против идеализма», стр. 98)? Мы думаем, да!

Итак, труд—это жажда жизни. Теперь понятно: «движущей силой прогресса оказывается... рост населения, который, грозя голодом и вымиранием, гонит людей от охоты к скотоводству, далее к земледелию и промышленности» (102). Понятното понятно, только это мальтузианство, а не марксизм. Нас интересует, однако, значительно больше другая сторона. Раз берется труд an und für sich, то можно, конечно, говорить только о «сотрудничестве», совершенно смазывая эксплоатацию. Вот и получаем: «Различные организации сотрудничества (указываются формы последнего, при чем в качестве их фигурируют «племя, федерация племен, нация», точно также, как фабрика и трест являются только «сотрудничеством». *К. М.*) представляют собою такое же приспособление для наибольшей успешности труда, как отдельные органы и разделения функций в организме» (102). Явственный биологизм заставляет автора рассматривать все sub specie aeter itatis. Это первое. Второе. Вы вспоминаете, что говорил в свое время в предисловии к книге Деборина Плеханов относительно законов Ману? Они—эти законы—связывали общественные группы с функциональной деятельностью органов в организме, чем и утверждали невозможность какого бы то ни было изменения общественной структуры. Они апеллировали к богу. К этому весьма близок и наш автор. Поздравим его с этим «отеплением» марксизма. Он сюда пришел через «об'ективизм», который ставится Марксу в заслугу (96). Напрасно вы забыли диалектику!

Однако до религии т. Луначарский доходит другим путем: этот слишком избит и заезжен.

В полном соответствии с «сотрудничеством», он утверждает в качестве такой же вечной категории: «труд человеческий коллективен» (103). Так как это категория вечная, а всякие там классы и их борьба [1]) есть, очевидно, ошибка истории, не знакомой с философией т. Луначарского, то: «полнота свободы целостного человеческого рода—идеал, являющийся адэкватным выражением общественного бытия, как понимал его Маркс» (104. Последний курсив автора). Так совершен переход от коллективного труда к целостному человеческому роду. Музыка играет туш!

Теперь абсолютно понятно, почему т. Луначарский приписывает Марксу учение о том, что «борьбу, составляющую суть (!) истории, ведет Вид» (подчеркнутый и с большой буквы). Именно сейчас мы присутствовали при таинстве рождения «бога-младенца», нового христа—коллектива, вида. А вы, холодные рационалисты, спокойно и иронически посмеиваетесь! О, «черные змеи стихий»! Ведь тут... да вам все равно не понять! «Красота мар-

[1]) В теории классов т. Луначарский стоит на Богдановской точке зрения: классы возникают из разделения на организаторов «аристократов разного типа» (!) и организуемых.

ксизма и его исцеляющая сила всегда будут ускользать» от вас. Его «мироощущение» для вас «непонятно, мистично и абсурдно»! (116).

Однако прильните губами своими и вы к этой животворящей чаше. Ибо сказано бысть: «единственно доподлинно известное есть человеческий вид с его возможностями, поток жизни, горячую волну которого и энергическое напряжение мы ощущаем в себе самих. Это для нас сила всетворящая, всеобнаруживающая, это живая истина, красота и благо и их источник» (116). Pax vobiscum!

Так марксизм стал религией. Эмпириомонизм, биология, чистый коллективизм—вот основные этапы этой новейшей алхимии. Дело не обходится, конечно, без логических скачков, но такова уж, видно, «диалектическая» природа предмета и автора. Мы сетуем лишь на одно: зачем было подчищать и исправлять, затрудняя этим чтение, когда можно было просто цитирнуть «Религию и социализм»? Там говорится: «Я думаю, что с точки зрения религиозно-философской Маркс блистательно продолжал... дело выдвижения антропологии до степени теологии, т.-е. окончательно помог человеческому самопознанию стать человеческой религией» (т. I, стр. 31, гл. «Людвиг Фейербах»). А то изволь-ка копаться во всей книге, чтобы понять, о каком «синтезе» говорит т. Луначарский, утверждая: «Тот синтез, о котором говорил Маркс, был уже гениально намечен до него Людвигом Фейербахом» (76). Только после всего сказанного нам становится ясным, что здесь подразумевается синтез «религии человечества» с социализмом. Краткая «формула перехода» такова: «Труд, широкая общественность, развитое чувство вида, надежда на непрерывный прогресс («видовая надежда» по теперешней терминологии, ср. 117 стр.),—вот то, что дает религиозное утешение в нашу эпоху» («Рел. и соц.», т. I, стр. 95). Хорошо—прямо и откровенно—говорили в старые времена.

Марксизм—религия. Так он превращается в идеализм. Только с этой точки зрения становится понятным, почему т. Луначарский так упорно твердит о «классовом идеализме» Маркса, противопоставляя его «классовому эгоизму». Не менее понятна и такая мысль: «основным мотивом сознательного социалиста является идеализм Вида, тесно связанный с вышеупомянутым классовым идеализмом» (111). Идеализм—ибо «ненависть не может быть основным двигателем» (110). «Научный социализм,—уточняет свою мысль т. Луначарский,—ослабляет виновность виновных, указывая подлинные корни общественных бедствий и притупляет мучительную (?!) остроту ненависти» (110). Но ведь именно научный, т.-е. марксистски-ленинский, социализм, и именно потому, что он... «указывает подлинные корни общественных бедствий», порождает в пролетариате сознательную ненависть к существующему порядку: ненависть героических лет военного коммунизма и более спокойную периода органического роста. «Идеализм Вида» этого не может дать. Именно он, и никто другой, порождает преклонение перед общечеловеческим в ущерб классовому, именно он изменяет революционеру в решительный момент, именно он заставляет проливать слезы сожаления и воздевать руки горе, когда революция в своем потоке ломает зонтики и котелки у мещан, когда она топчет поте-

рянные в панике старые калоши и основательно продувает подвальное хламье. Не превращайте революционнейшее в мире учение—марксизм—в идеологию мещанина, дрожащего не за «Вид», а за кровать и ночной столик!

* * *

Каждый, познакомившись с книгой «От Спинозы до Маркса», увидит, что выше была затронута едва третья часть подлежащего критике материала. История философии, Плеханов, как гольбахианец, откровенный идеализм и пр. и пр.—все это ждет своей ожесточенной критики.

Мое, чувствую, перо слишком слабо для этого. Посему—точка.

Неудачи популяризатора.

А. Столяров.

I.

Сколь ни практическая вещь революция, она связана с широким оживлением теоретической мысли, теоретических интересов. Десятки тысяч рабочей молодежи занимаются у нас сейчас изучением марксизма, его философских основ. Это вызывает, с другой стороны, под'ем педагогического и литературного творчества. За спросом следует предложение. Растут и множатся лектора и литераторы, пропагандирующие и популяризирующие философию марксизма.

При таком стремительном росте движения вширь естественно появление тут и там уклонов в сторону упрощенства. Если ошибки не будут исправляться, то самая стремительность движения, его широкий захват, приведут к понижению теоретического уровня партийной мысли, искажению ее.

Можно ли, например, проходить мимо философских работ тов. Сарабьянова?—Нельзя, ибо тов. Сарабьянов очень энергично работает в области пропаганды марксизма. Как тов. Сарабьянов пропагандирует, мы постараемся доказать в дальнейшем изложении. Что же касается «энергичности», то достаточно сказать, что за истекшие месяцы текущего года вышли четыре книги, в коих тов. Сарабьянов говорит о философии марксизма. Книги эти следующие:

1) «Исторический материализм». Изд. 7-е.
2) «Введение в диалектический материализм».
3) «Основное в едином научном мировоззрении—методе».
4) «Беседы о марксизме» (Изд. «Безбожник»).

Уже то обстоятельство, что «Исторический материализм» тов. Сарабьянова выдержал такое большое количество изданий, говорит о широкой популярности нашего автора. Тов. Сарабьянов умеет поставить вопрос в простейшей форме, способной увлечь читателя; особенно, если последний—из числа только что приобщающейся в «тайнам» марксизма молодежи, на которую по большей части «ориентируется» т. Сарабьянов. Эти действительные достоинства т. Сарабьянова, как популяризатора, заставляют тем более внимательно отнестись к его книжкам со стороны их содержания.

Прежде всего, приходится отметить, что «популярные очерки» т. Сарабьянова, выпускаемые МК, по мысли самого автора не только популяризируют марксизм, но и пытаются «утончить наш марксистский метод» (см. Предисловие ко 2 изданию «Исторического материализма»). «Я провожу свою мысль по вопросу о взаимодействии базиса и надстроек»,—пишет

т. Сарабьянов [1]). «Мне пришлось влить в слово техника непривычно широкое содержание», пишет он. И т. д. [2]).

Таким образом мы видим, что т. Сарабьянов выступает в качестве «оригинального мыслителя». Это особенно подчеркивается им самим, когда он предлагает «свое» толкование категории «качества». Дело в том, видите ли, что до т. Сарабьянова в «марксистской литературе определения «качества» не существует».—«И Гегель, и Маркс с Энгельсом, и Плеханов широко использовали категорию «качества», как метода, т.-е. оружия изучения, но мало уделили внимания самому оружию». Так пишет тов. Сарабьянов.

Также, например, «триада» была, по мнению Сарабьянова, не ясна Гегелю и Плеханову, так как им была неясна категория качества. «Если же принять «качество» в том толковании, какое мы ему дали выше, то ясно, что речь идет только...» и т. д. [3]).

Посмотрим же, что за открытия делает наш автор. При этом мы оставим в стороне главы о монизме, материализме и различных вопросах специально исторического материализма. Мы выделяем здесь **только один** важнейший вопрос, на котором и остановимся. Это — понимание тов. Сарабьяновым марксистской **диалектики**.

II.

Начнем с наиболее известного: переход количества в качество.

Здесь мы прежде всего узнаем от т. Сарабьянова, что «изменение качества возможно лишь в том случае, если отдельные его элементы будут развиваться или располагаться неодинаково. Например, «если бы крупная буржуазия, и пролетариат, и другие классы развивались во всех отношениях пропорционально, то оно (общество) оставалось бы капиталистическим» [4]). К счастью, дело обстоит не так. «Силы пролетариата количественно нарастают, силы буржуазии тоже растут, но не так быстро. Наступает какой-то **момент, когда количество сил обоих классов одинаково**. В этот момент наступает скачок, общество перестает жить старой жизнью, переживая какой-то **кавардак**, мутацию (так выражаются естественники), когда прекращаются производства, чиновники перестают регистрировать «входящие и исходящие», приостанавливается нормальное движение по улицам, вырастают баррикады, такают пулеметы, развеваются знамена» [5]).

Картинно! Но не странно ли это представление о революции и скачке; а, главное,—не слишком ли уж все механически просто, как на весах? «Трещат пулеметы, развеваются знамена»... «Немножко» в другом стиле говорит о подобных вещах Ленин: «Люди привыкли абстрактно противополагать капитализм социализму, а между тем и другим глубокомысленно ставили слово:

---

[1]) «Исторический материализм», изд. 7-е, 1925 г., стр. 20.

[2]) Там же, стр. 11.

[3]) «Основное в едином научном мировоззрении — методе», стр. 95 и 123.

[4]) Т. е., если бы общество не **развивалось**, а только **росло**. *А. С.*

[5]) «Исторический материализм», стр. 114. Подчеркнуто мною.

«скачок»... О том, что скачком учителя социализма [illegible] релом под углом зрения поворотов всемирной истории [illegible] скачки такого рода обнимают периоды лет по десять, а то и больше, об этом не умеет подумать большинство т. н. социалистов» [1]).

На этом вопросе о понимании «скачка» вообще и о понимании революции в частности подробно мы останавливаться не будем. Позволим только себе спросить, как можно в наше время писать следующие фразы: «Если говорить об обществе, то революция в нем мыслима только как очень кратковременный процесс» [2])... Поистине, т. Сарабьянов совершенно прав, когда пишет в другой своей книжке, что «теперь, к сожалению, эти скачки изображаются так ненаучно, так вульгарно, очень по кювьевистски» [3])...

Итак, с пролетарским переворотом дело обстоит очень просто: простой арифметический расчет, достигнуто равновесие сил, сейчас же снова нарушающееся в пользу пролетариата, и баста. «И тот и другой класс растут... Но вот пролетариат дорастает до буржуазии (силы равны) и перерастает ее (пролетариат сильнее), в результате чего качество отношения противоречащих сил становится иным, новым качеством: пролетариат господствует, буржуазия подчиняется» [4]). Было: $\frac{Б}{П}$. Стало $\frac{П}{Б}$ Таковы обычные примеры т. Сарабьянова со «скачком». Было до коммунизма: природа верхом на обществе. Будет при коммунизме: общество верхом на природе и т. д. Эта чехарда и есть образ того, как наш автор понимает переход количества в качество вообще. В другой книжке он дает отчетливую формулировку этого понимания в его общей форме. Там читаем:

«Отношение между противоречащими друг другу силами все время изменяется, а в результате господствующая сила или становится подчиненной, или превращается сама в какую-либо иную силу, или изменяет по существу противоречащую ей силу. В итоге получается то, что Гегель называл: количество переходит в качество» [5]).

Итак, дело ясно: переход количества в качество об'ясняется новой расстановкой сил, новым их количественным отношением.

. Т. Сарабьянов выдает это за Марксову диалектику. В этом отношении «проницательнее» его был его предшественник по данному вопросу, небезызвестный А. Богданов, точно то же самое писавший, выступая против Энгельса и Маркса. Вот цитата из «Философии живого опыта», как две капли воды похожая на Сарабьяновскую схему развития, наверное, неожиданно для самого т. Сарабьянова: «Если тот или иной процесс — движение тела, жизнь организма, развитие общества — определяется борьбой двух противоположных сил, то, пока пре-

[1]) Ленин, Сочинения, т. XV, стр. 222.

[2]) Сарабьянов, «Исторический материализм», 1925 г., стр. 115. Подчеркнуто нами.

[3]) Тов. Сарабьянов — это его положительная черта — кое-чему учится и уже в книге: «Основное в едином и пр.» пишет, что: «кратковременность — понятие весьма растяжимое» и т. п.

[4]) «Введение в диалектический материализм», стр. 20.

[5]) Там же, стр. 19.

обладает количественно одна из них, хотя бы немного,—процесс идет в ее сторону, подчиняется ее направлению. Как только другая сила, возрастая, наконец, сравняется с нею, тотчас меняется весь характер процесса, его «качество».

При этом Богданов замечает, что Маркс и Энгельс потеряли возможность об'яснить переход количества в качество таким простым и ясным образом потому, что вообще «упустили из виду реальный смысл диалектики»[1]).

Ниже мы еще увидим, насколько сходится в понимании Сарабьянова и в понимании Богданова этот «реальный смысл диалектики»...

«От равновесия, через нарушающую его борьбу двух сил, к новому равновесию»,—так представляет себе диалектический процесс Богданов. «Говоря о скачках, как процессах нарушенного равновесия, нужно помнить»... и т. д.—пишет тов Сарабьянов[2]). Близость позиции обоих авторов несомненна. В чем методологический смысл такой позиции? Прежде всего (но это еще не все) в том, что это по существу чисто количественная, механическая (или «механистическая» тож) точка зрения, что здесь нет качества, которое, количественно развиваясь, переходит в новое качество, а есть внешнее столкновение двух сил. Здесь нет «познания всех процессов мира в их «самодвижении», в их спонтанейном развитии» (Ленин).

В этой концепции активная роль остается только за количеством (при том необ'яснимо-активная). Качество же совершенно растворяется в количественных отношениях, будучи лишь их пассивным выразителем. Между тем, в диалектике Гегеля-Маркса качество играет активную роль, «специфицируя» количественные отношения, т.-е. определяя их на свой манер.

Конечно, у т. Сарабьянова можно тоже найти три строки насчет «обратного перехода» качества в количество. Но это не более как непоследовательность. Обычная история: автор приводит пару общеизвестных верных положений, а затем истолковывает какое-нибудь существенное положение излагаемого им учения таким образом, что сразу обнаруживается неясность для него самого того, о чем он говорит. И в данном случае т. Сарабьянов не понимает, что он целиком сводит качество к количеству, когда доказывает, подобно Богданову, что переход к новому качеству имеет своей реальной основой изменения в количественном соотношении двух или нескольких сил.

К Сарабьянову целиком применимы слова Энгельса, сказанные последним по адресу Негели, который, «стоя на господствующей механической точке зрения, считает об'ясненными все качественные различия лишь тогда, когда они могут быть сведены к количественным различиям». Механическая концепция, пишет Энгельс, об'ясняет «все качественные различия из количественных и не замечает, что отношения между качеством и количеством взаимны»[3]).

Характерно, что т. Сарабьянов, так много занимающийся вопросом о категории качества, считающий этот вопрос «карди-

[1]) «Философия живого опыта», Москва, 1920 г., стр. 193 и 194.
[2]) «Основное в едином и пр.», стр. 113. Подчеркнуто нами.
[3]) Архив Маркса и Энгельса, т. II, стр. 149 и 145.

нальнейшим в диалектике» и так часто клянущийся именем Гегеля,—ни разу не упоминает, что, ведь, по Гегелю (и вообще с точки зрения диалектики) «конкретная истина бытия»—«мера», т.-е. единство качества и количества. Это единство должно остаться непонятным с точки зрения Сарабьянова и потому им игнорируется.

То обстоятельство, что т. Сарабьянов не понимает категории качества (и по существу ее устраняет), еще яснее из его непосредственных определений этой категории.

Постановка вопроса о качестве, говоря вообще, у т. Сарабьянова, прежде всего, схоластична. Он не выясняет значения этой категории в научном исследовании (хотя бы, например, в том смысле, что в науке «путь лежит от материального анализа к числовому, а не обратно» [1]), или в практике повседневного мышления. Главное, чего он ищет,—это формальное, абстрактное определение «качества», которого он, к его огорчению, не нашел у Гегеля и марксистов в удовлетворяющем его виде [2]). Качество—его по преимуществу та «прекрасная незнакомка», которую т. Сарабьянов усиленно преследовал в течение последних лет в своих философских работах. Но то, что он поймал в конце концов, оказалось **лишь ее тенью**.

III.

В самом деле, как определяет **качество** т. Сарабьянов.

В своем «Историческом материализме», в специальной главе: «Качество», тов. Сарабьянов дает такое определение: «**Качество есть отношение** совокупности свойств данной вещи, данного явления к совокупности свойств другой вещи, другого явления» (по 7-му изданию, стр. 159. Курсив наш). Подобное же определение повторяется и в других книгах. В книге: «Основное в едином и пр.» автор, сославшись на некоторые определения, данные Гегелем и марксистами, называет «наиболее удачной» формулировку Плеханова. Но сейчас же после этого он заявляет: «Плехановское построение не решает вопроса, а лишь подводит к его решению». Затем тут же мы находим и искомое решение: «**Качество есть отношение** одной вещи к другой (в пространстве) и вещи в самой себе (во времени), а так как вещь нами познается только в виде совокупности свойств, то наше определение качества будет выражено, как отношение одной совокупности свойств к другой» [3]).

Прежде всего следует задать себе вопрос: какой смысл противопоставления «качества» и «свойств»? Тов. Сарабьянов пишет: «Когда мы берем вещь в ее развитии, то находим, что в ней комбинация определенных свойств в течение некоторого времени

[1]) М. **Смит**. В сборнике: «Статистический метод в научном исследовании», Москва, 1925 г., стр. 109.

[2]) «И Гегель, и Маркс с Энгельсом, и Плеханов широко использовали категорию «качества», как метода т.-е. оружия изучения, но мало уделили внимания самому оружию. Это относится не только к таким категориям, как качество и количество, но **и к диалектике в целом**» (В. **Сарабьянов**. «Основное в едином и пр.», стр. 95).

Выучайте, т. Сарабьянов, — на вас вся надежда!

[3]) Указанная книга, стр. 97. Подчеркнуто нами.

остается неизменной в том смысле, что в течение всего этого периода имеются одни и те же свойства в одном и том же сочетании. Однако эти свойства становятся большими или меньшими, при чем одни могут увеличиваться, другие—уменьшаться. Это сочетание определенных свойств и есть качество». И далее: «Не будем смешивать свойства с элементом и с качеством. Количественное изменение тех же элементов приводит к новому качеству, так как создает новые свойства» [1]).

К этим положениям следует присмотреться ближе. На первый взгляд может показаться, что человек «просто» путается в трех соснах: качество, свойства, элементы. Но он не «просто» путается; «в его безумии есть своя система». В данном случае т. Сарабьянов сознательно или несознательно ставит себе задачу: свести качество к количественным сочетаниям чего-то другого, чего-то уже бескачественного. И вот он выдвигает свою теорию «элементов». Иными словами, здесь мы опять находим чисто количественную, механистическую точку зрения. Механистическая точка зрения—непременно «атомистическая» в том смысле, что она ссылается на последние простейшие элементы мира, которые являются чистыми единицами, качественно совершенно однородными. Вот, что говорит об этом Энгельс: «Если мы должны сводить все различия и изменения качества к количественным различиям и изменениям, к механическим перемещениям, то мы с необходимостью приходим к тому положению, что вся материя состоит из тождественных мельчайших частиц» («Архив М. и Э.», т. II, стр. 145).

Для марксизма точка зрения простейших неделимых, «бескачественных», неприемлема уже потому, что мир с нашей точки зрения неисчерпаем, как и каждый «простейший элемент» мира. Бытие на всех ступенях его расчленения остается определенным, конкретным, т.-е. качественным бытием, «мерой».

«Качество,—говорит Гегель,—есть тождественная с бытием определенность, так что все существующее перестает быть, чем оно есть, когда теряет свое качество» (Энц., § 85). Это Сарабьянова не удовлетворяет, и он предлагает свое определение, которое всюду повторяет: «качество есть отношение».

Таким образом у т. Сарабьянова категория «качества» уничтожается дважды: 1) поскольку качество нацело сводится к количественным сочетаниям; 2) поскольку оно отождествляется с отношением.

В последнем случае ярко обнаруживается неспособность тов. Сарабьянова к диалектическим различениям. Сказать, что качество относительно, или что качество проявляется через отношение, и сказать, что «качество есть отношение»—это две совершенно различные вещи. Качество и отношение нельзя абсолютно противопоставлять. Но нельзя, конечно, и отождествлять. По существу, качество лежит в основе отношения, но не сводится к нему [2]). Чтобы существовать «для другого» (в отношении), надо сначала существовать «в себе».

---

[1]) Там же, стр. 98.

[2]) Так Гегель пишет: «Качество есть свойство (Eigenschaft) прежде всего и преимущественно в том смысле, поскольку оно обнаруживает себя во внешнем отношении, как имманентное определение» (Н. Л., т. I, стр. 54).

Можно ли свести стоимость к отношению стоимостей в обмене на том основании, что меновая стоимость есть необходимая форма проявления стоимости? Субстанция стоимости, как известно, проявляется «лишь как общественное отношение одного товара к другому» (Маркс). Но из этого не следует, что стоимость равна «отношению». Стоимость товара может изменяться, а отношение их стоимостей оставаться без изменения.

В «простой или случайной» форме стоимости отношение кажется еще чем-то действительно «случайным», произвольным, и «стоимость в себе» трудно отделить от отношения. Но уже в т. н. «развернутой форме стоимости» стоимость товара находит такое выражение, которое ясно указывает на ее «субстанцию», лежащую в основе всех отдельных отношений к различным потребительным стоимостям.

«Развернутая форма стоимости» у Маркса соответствует «мере, как ряду отношений меры» Гегеля. В переходе к развернутой форме стоимости, говоря словами Гегеля, «специфическая самостоятельность не остается существовать в одном прямом отношении, но переходит в специфическую определенность, которая есть ряд мер» [1].

К сведению т. Сарабьянова: это, в частности, означает, что качество «нечто», вступая в бесконечный ряд отношений, тем самым противопоставляет свое «бытие в себе» любому из этих отношений, «снимает» свою относительность в этом бесконечном ряде отношений. Если же качество есть отношение, то всякое субстанциональное бытие исчезает, материя исчезает. Такой релятивизм несовместим ни с материализмом, ни с диалектикой.

IV.

Как известно, в частности т. Ленин особенно настаивал на том, что диалектика включает в себя момент релятивизма, но не сводится к релятивизму. Тов. Сарабьянов этого не различает. И он действительно скатывается к релятивизму. «Как и все в мире, и качество тоже отношение»,—пишет он [2]). И в другом месте читаем: «абсолютность—относительна, относительность же—абсолютна» [3]).

Предоставляем читателю судить о том, насколько это заявление об абсолютности относительности совместимо с положением марксизма, что «не существует непереходимой грани между относительной и абсолютной истиной» (Ленин).

Итак, «абсолютность относительна, относительность же абсолютна». Тогда т. Сарабьянов может быть согласится с Богдановым насчет того, что «диалектика... должна подчинить себе понятие материи, отнять у него абсолютное значение»? [4]). Или т. Сарабьянов согласится с Богдановым, когда последний упрекает Плеханова в абсолютном отрицании ведьм и леших! Ведь это звучит так «недиалектично»: «Леший и домовой либо абсолютно существовали в эпоху наших предков, либо абсолютно не существовали».

---

[1]) Наука логики, т I, стр. 241.
[2]) «Основное в едином и пр.», стр. 97. Подчеркнуто нами.
[3]) Там же, стр 100.
[4]) «Философия живого опыта», 1920 г., стр. 199.

Но Сарабьянов сам выступает против Богданова. Ленин писал по адресу последнего: «С точки зрения голого релятивизма можно признать «условным», умер ли Наполеон 5 мая 1821 года или не умер, можно простым «удобством» для человечества об'явить допущение рядом с научной идеологией («удобно» в одном отношении) религиозной идеологии (очень «удобной» в другом отношении) и т. д.» [1]). Сарабьянов нападает на Богданова тоже по поводу дня смерти Наполеона. Но как! Он пишет: «Так вот, условившись, что под Наполеоном мы понимаем такой-то процесс, а под смертью—прекращение дыхания и сердцебиения, условившись также пользоваться грегорианским летоисчислением,—ответим ли мы категорически на вопрос, умер ли Наполеон 5 мая 1821 года? Нам, вместе с Лениным, думается, что только сумасшедшим позволительно сомневаться в абсолютности и вечности этой истины. Но эта абсолютность, как видно из всего сказанного, вполне относительна, при чем из всех отношений мы (суб'ективный момент!) отбираем определенное, нас (подчеркнуто автором. *А. С.*) интересующее, для нас (подчеркнуто автором. *А. С.*) важное» [2]).

Стоит только хорошенько приглядеться, сравнить слова Ленина со словами Сарабьянова, чтобы убедиться, что Сарабьянов ничуть не опровергает Богданова, а становится на его позицию. Сарабьянов целиком осуществляет здесь «единство суб'екта и об'екта», т.-е. «нападающего» Сарабьянова с подвергающимся «нападению» Богдановым.

Сарабьяновский «суб'ективный момент» особенно великолепен в сопоставлении с ленинскими издевками по поводу «удобных» истин...

«Относительность абсолютна,—говорит Сарабьянов. «Для об'ективной диалектики и в релятивном есть абсолютное. Для суб'ективизма и софистики релятивное только релятивно и исключает абсолютное»,—пишет Ленин [3]). Разница двух позиций здесь совершенно очевидна.

«Суб'ективный момент» не случайно проскользнул у тов. Сарабьянова, ибо релятивизм закономерно связан с суб'ективизмом. «Положить релятивизм в основу теории познания, значит неизбежно осудить себя либо на абсолютный скептицизм, агностицизм и софистику, либо на суб'ективизм» [4]).

Тов. Сарабьянов даже с гордостью делает из беды добродетель, подчеркивая свою теорию «суб'ективизма». Что диалектический об'ективизм включает человеческую практику в рассмотрение предмета—это несомненно. В этом смысле диалект. материализм дает синтез об'ективизма и «суб'ективизма». Сарабьянов же преувеличивает момент суб'ективизма, и дает вместо диалектического синтеза эклектику. Ленин выступал против метафизического об'ективизма Струве; но от этого до «суб'ективизма» еще далеко. Тов. Сарабьянов считает, что «суб'ективизм в марксизме с исключительной силой подчеркнул вслед за Мар-

---

[1]) «Материализм и эмпириокритицизм», Госиздат 1920 г., стр. 133. Курсив наш

[2]) «Основное в едином и пр.», стр. 120. Подчеркнуто нами, кроме оговоренных мест.

[3]) Заметки о диалектике. «Большевик», 1925 г., № 5—6, стр. 102.

[4]) Ленин, «Материализм и эмпириокритицизм», 1920 г., стр. 133.

ксом Ленин. У Плеханова он стушевывается, Плеханов уклонился в сторону того самого об'ективизма, против которого выступил со своим первым тезисом Маркс» [1]).

Неверно истолковав известный тезис Маркса о Фейербахе, тов. Сарабьянов вслед за тем, как полагается «оригинальному мыслителю», раздул свою ошибку в целую систему. И вот он пишет: «Считается долгом научной чести высказаться против антропоцентрического отношения к миру. А между тем, именно к этому, если угодно, антропоцентризму, к суб'ективизму звал Маркс в цитированном выше тезисе о Фейербахе». «Решение вопроса о качестве вне «антропоцентрической» постановки его, невозможно» [2]). И т. д.

Вы думаете, что можно без «суб'ективизма» утверждать, что лошадь не корова, что корова не лошадь? Ничего подобного: все зависит от того, как вам «удобнее» (вспомним слова Ленина насчет «удобных истин») с точки зрения вашей профессии, ибо «художник по-своему классифицирует мир вещей и процессов, а скотовод по-своему» (Относится ли т. Сарабьянов к первым или ко вторым—остается под секретом). «Без суб'ективизма совершенно немыслима классификация, определение вида в естествознании» [3]). А через несколько строк мы узнаем, однако, что «вид не условной пропастью, не условным скачкообразным процессом отделен от других видов, а действительными». Это очень утешительно, и мы успокаиваемся на том, что «вид—об'ективно-суб'ективная категория» [4]).

Скучно задерживаться на всей этой путанице. Конечно, тов. Сарабьянов не прочь примирить, соединить свой «суб'ективизм» с материализмом. На этом основании и т. Сарабьянов, несмотря на свой «антропоцентризм», может заявлять, что «качество есть об'ективное состояние» [5]). Он обвиняет даже других, «как, например, тов. Аксельрод», в том, что они «считают, что качество—суб'ективная категория» [6]). Но все это не более как сбоку прилепленные фразы. «Дела» же, т.-е. рассуждения т. Сарабьянова—это путаный и непоследовательный, непродуманный, но все же релятивизм и суб'ективизм. Во всяком случае такова тенденция, вопреки отдельным противоречащим ей фразам.

Приведем один пример с понятием материального и духовного. По мнению нашего философа, «всякое явление должно рассматривать... и как материальное, и как духовное». «Танец, спортивные движения, картины, симфония, речь... только материальные, поскольку мы их рассматриваем, как об'ективное. Но, все это, рассматриваемое как отражение в суб'екте, будет духовным» [7]).

Например, про трудовой процесс, по мнению т. Сарабьянова, нельзя просто сказать, что это—материальное. Когда материаль-

---

[1]) «Основное в едином и пр.», стр. 105.

[2]) Там же, стр. 102 и 103.

[3]) Там же, стр. 108 и 109.

[4]) Капитализм тоже «суб'ективно-об'ективная категория». Так Сарабьянов пишет: «Если под капитализмом мы (суб'ективный момент) понимаем совокупность следующих свойств (об'ективный момент): высоко развитые орудия и средства труда и т. д.» (курс. авт. «Основное и т. д.», стр. 114).

[5]) «Основное», стр. 105.

[6]) Там же.

[7]) «Ист. мат.», стр. 16.

ное, а когда и «идеология» [1]). Тов. Сарабьянов очень широко использует формулу: «и да, и нет», «да—нет» и пр. Однако всякую мысль можно довести до абсурда. Так же и диалектика может быть превращена в софистику, коей на практике широко пользуются «герои оговорочек». Если бы большевики в вопросах политики руководились «марксистским» методом тов. Сарабьянова, они не далеко ушли бы. Когда говорят о материальных и не материальных отношениях в обществе, подразумевают совершенно определенную вещь. А тов. Сарабьянову это кажется чересчур просто, и он начинает приходить, например, к таким перлам: «В обществе нет никаких других отношений, кроме материальных». «В суб'екте... возникают различные физические процессы, которые ему (суб'екту) кажутся чем-то не материальным, психическим, духовным. Это—то, что носит название психики, идеологии» [2]).

Для всякого, обучавшегося марксизму не по тов. Сарабьянову, ясно, что в этих словах психическое сводится к физическому, отождествляется с ним. Это—отголосок старой дицгенианской путаницы в данном вопросе. Но опять-таки у т. Сарабьянова можно найти и противоположные заявления. На то путаница и существует. Тов. Сарабьянов может при этом сослаться на формулу: «да—нет». На самом же деле это только означает, что наш автор не всегда хорошо продумал то, что пишет.

V.

Понимает ли, в конце концов, т. Сарабьянов, что «реальный смысл диалектики», который, по словам Богданова, не сумели уяснить себе Маркс и Энгельс,—что этот «реальный смысл» тов. Сарабьянова как раз тот же, что и у Богданова? Тов. Сарабьянову это верно и в голову не приходило; а между тем «сродство душ» в данном случае установить нетрудно.

Богданов пишет: «Под реальным противоречием можно понимать только одно: борьбу реальных сил, двух противоположно направленных активностей. Об этом ли говорит Энгельс? Очевидно, нет» [3]). «Тот или иной процесс—движение тела, жизнь организма, развитие общества определяется борьбой двух противоположных сил». «Дело тут идет именно о борьбе двух реальных сил» [4]).

Относительно Энгельса Богданов совершенно прав: Энгельс не так понимает диалектический материализм. Другое дело тов. Сарабьянов. У него читаем: «Любая вещь... есть противоречивое явление. Различные силы вещи действуют друг на друга, в результате чего вещь изменяется. Определенное противоречие есть причина определенного движения. Эти противоречия бывают, как внутренние (внутри вещи протекающие), так и внешние (вещь действует на вещь)» [5]).

---

[1]) Там же, стр. 17.

[2]) «Введение в диалектический материализм», изд. «Пролетарий», 1925, стр. 25—26. Подчеркнуто нами.

[3]) «Философия живого опыта», стр. 190.

[4]) Там же, стр. 194.

[5]) «Введение в диалектический материализм», стр. 18. Подчеркнуто нами.

Вот хороший пример Сарабьяновского «внутреннего» противоречия: «Я хвораю. Значит, во мне борются силы, приносящие и разрушающие мое здоровье». Или вот другой пример из другой книжки: «Все течет, все изменяется в силу противоречий, как внутренних (в самом, например, пролетариате, между сознательными и менее сознательными), так и внешних (между пролетариатом и буржуазией)» [1].

Чисто механическое понимание противоречия! Мы уже имели возможность обнаружить это понимание в примерах тов. Сарабьянова о переходе количества в качество. Силы пролетариата растут быстрее, чем силы буржуазии — и вот вам крах капитализма. У тов. Сарабьянова не найдете указания на действительно внутренне-противоречивый характер капиталистической экономики, на «самодвижение» капиталистического общества, или хотя бы на то, что пролетариат есть живое самоотрицание, ибо он уничтожает не только своего антагониста—буржуазию, но и самого себя [2]). Тов. Ленин особенно подчеркивает момент «само»-движения [3]). Тов. Сарабьянов же по-своему пишет: «Движение возможно только при наличии не менее двух сил» [4]).

Поразительно, что т. Сарабьянов, выпустив 7 изданий своего «Истмата» со всеми этими премудростями, не потрудился внимательнее вчитаться в «Анти-Дюринга». Он там нашел бы следующие слова Энгельса, как будто специально написанные по поводу его рассуждений: «Если Гегелевское «учение о сущности» низвести до плоской мысли о силах, движущихся в противоположном направлении, но не противоречиво, то во всяком случае лучше всего уклониться от какого-либо применения этого общего места» [5]).

Это было сказано, однако, по адресу не Сарабьянова, а Дюринга. Но Дюринг совершенно «в духе Сарабьянова» писал: «Антагонизм сил, которые действуют в противоположном друг другу направлении, составляет даже основную форму всех процессов, обусловливающих существование мира и обитающих в нем существ, но этот антагонизм сил в элементах и индивидуумах («внутреннее» противоречие по Сарабьянову. *А. С.*), однако, далеко не совпадает с идеей нелепого противоречия» [6])...

Последняя фраза свидетельствует о том, что Дюринг (как и Богданов) не был лишен способности различения в такой степени как тов. Сарабьянов. Дюринг прав: одно дело механическое столкновение сил, другое дело—диалектика Гегеля-Маркса.

Тов. Ленин говорит в одном месте о «раздвоении единого», как о «сути» диалектики. Тов. Сарабьянов предпочитает вовсе не заниматься вопросом о единстве противоположностей. Да, по существу, в его концепции и невозможно никакое единство противоположностей, кроме чисто механического. Его непонима-

---

[1]) «Ист. мат.», стр. 119.

[2]) «Все конечное не ограничено только извне, но по своей собственной природе снимается и переходит в свое противоположное» (Гегель, Энцикл. § 81).

[3]) См., напр., его ст. в «Большевике», 1925, № 5—6, стр. 102.

[4]) «Ист. мат.», стр. 113.

[5]) Анти-Дюринг. П-гр. 1918, стр. 109.

[6]) Там же, стр. 106.

ние диалектического единства—только другая сторона его непонимания диалектического противоречия.

«Предмет в свете диалектики есть синтез единства и противоречий...—пишет т. Деборин.—Это открытие, которое чуждо еще даже многим марксистам (вот именно! *А. С.*), имеет огромное значение. И кто не понимал учения о синтезе противоположностей, кто не понял, что конкретное понятие (научное) должно лечь в основу всякого научного понимания, тот не имеет никакого представления о диалектике, несмотря на то, что он может, как попугай, повторять известные ходячие положения» [1]).

Известно, что с точки зрения диалектики брать вещи конкретно,—это значит брать их не только в определенной связи, но брать их как они существуют, т.-е. как единство противоположностей. Тов. Сарабьянов, не имея понятия о последнем, истолковывает конкретность истины только в одном смысле: «явление должно брать в определенных, для нас важных, нас интересующих связях» [2]).

Тов. Сарабьянов (с точки зрения механистической последовательно) устанавливает такое правило: «пока идет речь о качестве предмета, мы пользуемся правилами формальной логики, а если о количестве, то пользоваться приходится формулой логики противоречия» [3]). Замечательное открытие! На основании этого открытия т. Сарабьянов дальше поясняет: «Человек я или не человек? Да—да, ты человек... Предмет либо существует, либо не существует, свойство есть, либо его нет. Здесь беспредельно господствует формальная логика» (курсив наш) [4]).

Ну и диалектика: «свойство есть или его нет»... Самый пример: «ты—человек» или (все равно) «он—человек» встречается как раз у Ленина. Ленин по поводу предложения: «Иван есть человек» и т. п. истин, пишет: «Уже здесь (как гениально заметил Гегель) есть диалектика: отдельное есть общее... Значит, противоположности (отдельно противоположно общему) тождественны» [5])...

«К сожалению», в этих положениях не видно, «противоположных сил», а посему, естественно, что тов. Сарабьянов не заметил и диалектики. Тов. Сарабьянов видит противоречие только там, где можно противопоставить: «Я» и «ты». Впрочем, тов. Сарабьянов знает два сорта противоречий: «Противоречия нами наблюдаются и во времени, и в пространстве. Например, Я есть Я и уже не-Я, так как вчерашнее Я не есть Я позавчерашнее» [6])... Опять чисто формальное противопоставление, что равносильно сохранению формального тождества противополагаемых моментов.

«Формальное мышление,—пишет Гегель,—возводит себе в закон тождество, оставляет противоречивое содержание, находящееся перед ним, нисходит в сферу представления, в пространство и время, в коей противоречивое содержание удерживается одно вне другого, в сосуществовании и последовательности,

[1]) «Под Знаменем Марксизма», 1924, № 3, стр. 8—9.
[2]) «Основное», стр. 107.
[3]) Там же, стр. 91.
[4]) Там же, стр. 115.
[5]) Ст. в «Большевике», 1924, № 5—6, стр. 103.
[6]) «Основное и пр.», стр. 86.

и таким образом выступает перед сознанием без взаимного соприкосновения» [1]).

Кто-то хорошо сказал, что если бы капитализм и социализм существовали одно вне другого, то была бы невозможна борьба между ним и, следовательно, переход. Но, где нет переходов, там нет и диалектики. А у тов. Сарабьянова именно нет и не может быть переходов. Например, Ленин учил о том, что социалистическая революция «не отделена китайской стеной» от буржуазной, что долго после падения буржуазии будет еще оставаться «буржуазное право» и вообще, что старое живет долго после того, как новое уже родилось и т. п. Но разве это совместимо с положением Сарабьянова: «свойства вещи или существуют, или не существуют»?..

«За революцией обязательно наступает прямая противоположность того, что было до революции»—поучает тов. Сарабьянов [2]). Повидимому, невозможно совместить Ленина и Сарабьянова. «Гений и злодейство—вещи несовместимые».

VI.

Ошибка цепляется за ошибку. Механическое понимание противоречия связано с непониманием учения о конкретном понятии. Где нет синтеза единства и противоречий, там нет и переходов. Где нет переходов, нет развития.

Это не значит, что тов. Сарабьянов отрицает развитие. Но это значит, что он его не понимает. Это выражается в частности в его толковании «отрицания отрицания» и «триады». Рассуждения о «триаде № 1» и «триаде № 2»—это сплошная схоластика человека, запутавшегося в чисто формальных определениях.

Так мы узнаем, что «триада № 1»—есть простое утверждение факта, что «сегодня» не есть ни «вчера», ни «завтра». Мы узнаем далее, что «второй вид триады с синтезом свойств первой и второй ступени есть неплохое теоретическое выражение повторности явлений, на которой стоит вся наука».

«Отрицание отрицания» есть выражение того факта, что вещи в природе и обществе явились в результате развития других вещей. Развитие «отринуло» эти «другие вещи», но не остановилось на голом отрицании, а создало нечто положительное, новое. Это новое нечто, как отрицание определенного, конкретное отрицание вещи, включает в себя свойства этой последней «в снятом виде». Развитие поэтому означает и уничтожение, и сохранение, «идеализацию» (как иногда говорит Гегель) старого. Энгельс уже давно и просто, без Сарабьяновских премудростей, раз'яснил этот вопрос об «отрицании отрицания».—«Первое отрицание я должен произвести таким образом, чтобы было или стало возможным второе отрицание», т.-е. развитие, как положительный результат [3]).

---

[1]) «Наука Логики», т. III, стр. 206.
[2]) «Основное и пр.», стр. 91.
[3]) Анти-Дюринг, 1918, стр. 127.

Отрицание отрицания в диалектике—это синтез уничтожения и сохранения, который наблюдается в процессе развития. Но тов. Сарабьянов, как мы видели, сводит дело к «повторению». «В этом толковании триады как бы отражается закон повторяемости явлений», пишет он [1]). Когда же он говорит о том, что «третья ступень... включает в себя свойство первой ступени... обогащенное в процессе развития второй ступени»,—он понимает этот «синтез» очень просто, как сложение. Кусок от «первой ступени», кусок от второй—и вот вам третья. «Коммунизм—от тезы, техника от антитезы», и вот вам в сумме «грядущий коммунистический строй».

Впрочем, тов. Сарабьянов сомневается, всегда ли «третья ступень» есть синтез тех или иных свойств первой и второй. «Известно, например,—пишет сомневающийся тов. Сарабьянов,—что по Менделю при скрещивании... если от двух черных бастардов (помесей), происшедших от помеси черного с белым, мы получаем белое поколение, т.-е. у этих двух черных бастардов совершенно отсутствовало свойство «белое», которое вновь появилось лишь в третьей ступени, то, ведь, рецидив «белого» не обязателен, и по закону Менделя могло появиться и «черное» и «черно-белое» [2]).

Итак, отрицание отрицания—это «рецидив», к тому же еще не обязательный. «Третья ступень» может и не включать «свойств» ранее пройденных ступеней. «Принимая триаду в первом смысле,—пишет т. Сарабьянов,—мы едва ли имеем очень серьезные основания к принятию ее в том смысле, что третья ступень включает в себя какие-то свойства первой ступени, выпавшие на второй ступени. Почему обязательно это воскресение из мертвых» [3]).

Повторение («рецидив») и сложение—вот из чего составляется у Сарабьянова его «триада» и «отрицание отрицания». Арифметика под видом диалектики.

Но зато какое «утончение нашего марксистского метода»! Изволите ли видеть: «вот про эту-то триаду часто говорят, что вещь развивается и четырьмя ступенями, и больше. И сам Гегель, и Плеханов отмечали случаи четырехстепенности. Но об'ясняется это лишь тем, что как для творца современной диалектики (Гегеля), так и для его великого ученика (Плеханова) неясным представлялось «качество». Если же принять «качество» в том толковании, какое мы ему дали выше, то ясно, что речь идет только о триаде, только о трех ступенях, из которых на первой имеются какие-то из интересующих нас свойств, на второй—еще какие-то, которых не было на первой ступени и на третьей—сочетание их» [4]).

Еще раз, т. Сарабьянов: сложение не есть «развитие». И затем: откуда же у вас взялись эти «еще какие-то»? Кто их поставил на «вторую ступень»? А главное—что это за «политграмота»? [5]).

[1]) «Введение в диалектический материализм», стр. 22.

[2]) «Основное», стр. 124. Подчеркнуто нами.

[3]) Там же.

[4]) «Основное», стр. 123. Подчеркнуто нами.

[5]) Книжка т. Сарабьянова «Введение в диалектический материализм» издана Юношеским сектором издательства «Пролетарий» в серии: «Политграмота. Книжка за книжкой».

VII.

Итак, что же осталось от диалектики в «понимании» т. Сарабьянова?

Энгельс сводит законы диалектики к следующим трем:

Закон перехода количества в качество и обратно.

Закон взаимного проникновения противоположностей.

Закон отрицания отрицания [1]).

Первый из них т. Сарабьянов радикально «утончил», так как свел качество к отношению количеств. Качества, по существу, у т. Сарабьянова **нет**.

О «законе взаимного проникновения противоположностей» у т. Сарабьянова нет и не может быть речи, так как он понимает противоречие, как механическое столкновение сил. В связи с этим у него нет «переходов» и невозможно понимание третьего «закона отрицания отрицания». Последний сводится у него к плоскому («простому», по выражению Сарабьянова) утверждению факта, что сегодняшний день будет сменен завтрашним, подобно тому, как вчерашний был сменен сегодняшним [2]).

Притом т. Сарабьянова нельзя очень упрекать в последовательности и продуманности.

Об'явить тов. Сарабьянова создателем какой-то особой философской системы было бы тоже несправедливо. Больше всего у него просто неумения понять и изложить правильно мысли. Но все же, ежели выделить все то, в чем наш философ уклоняется в области понимания диалектики, то можно обнаружить некую общую основную тенденцию, не осознаваемую автором: механическое понимание диалектики. Здесь основная ошибка.

Говорить о понимании т. Сарабьяновым материализма, монизма, о его экскурсиях в область исторического материализма— мы не собираемся. Это было бы очень длинно. «Необ'ятного об'ять невозможно». Достаточно разобрать, каков «диалектический метод» тов. Сарабьянова. В нем—основное.

---

[1]) Архив Маркса и Энгельса, кн. II, стр. 221.

[2]) «Основное», стр. 122.

Дарвинизм и ламаркизм и проблема наследования приобретенных признаков[1]).

Б. М. Завадовский.

> Дарвинизм не может отвечать на то, как и почему изменялись органические существа, потому что такой общей задачи, такого общего ответа нет и быть не может. Таких задач — несметное число, и отвечать на них призван не дарвинизм — учение обще-биологическое, а экспериментальная физиология.
>
> *К. Тимирязев.* (Факторы органич. эволюции. 1890 г.).

Фактическая аргументация, к которой прибегают обе спорящие стороны, достаточно хорошо известна. Поэтому отсылаем интересующихся этим вопросом к книжкам Филипченко («Наследственность», «Евгеника», «Изменчивость и эволюция») и Моргана («Структурные основы наследственности»)—для ознакомления с точкой зрения, главным образом, генетиков-дарвинистов и к книге Смирнова, Вермеля и Кузина («Очерки эволюционной теории») и Каммерера («Общая биология») — за обоснования взглядов ламаркистов. Здесь же я восстановлю лишь вкратце и в схематических контурах историю спора, как он возник и развивался на почве чисто академических научных разногласий.

Великая и никем не оспариваемая заслуга Дарвина состоит в том, что он впервые с несокрушимой логикой и убедительностью собрал и использовал всю сумму доказательств в пользу изменяемости и превращения органических форм. Не только фактический багаж доказательств теории эволюции, но даже самый метод и порядок его использования остаются до настоящего времени теми же. Но для законченности и полноты научной теории недостаточно было доказать самый факт изменяемости форм; возникла также потребность раскрыть и изучить самые факторы и причины органической эволюции, при чем эта задача в свою очередь разбивалась на две частных темы: 1) указать причины, вызывающие те изменения, которые служат основанием для образования новых видов, и 2) об'яснить факт

---

[1]) Статья дискуссионная. *Ред.*

видимого совершенства в организации животных и растений—той приспособленности организма к среде, которая давала до тех пор столько пищи для рассуждений о премудрости и промысле «творца». Дарвин сосредоточил свое внимание на второй стороне вопроса и дал гениальное чисто-механистическое об'яснение видимой приспособленности организмов в своей теории борьбы за существование и естественного отбора. Что же касается первой задачи, то, отнюдь не отрицая всей важности ее решения, Дарвин указывал, что для его времени решение этого вопроса еще преждевременно, ибо решить его не позволяло фактическое состояние знаний того времени о законах изменчивости и наследственности.

Неоднократно подчеркивая всю несомненность и значительность этой проблемы, Дарвин предпочитал честно признаться в своем незнании и брал факт изменчивости за данный и как исходный пункт для всех дальнейших своих рассуждений. Следуя обычному в таких случаях среди естествоиспытателей примеру, Дарвин прилагал к явлениям, причины которых для данного момента не выяснены, термин «случайности». При этом он оговаривается, что в слово «случайность» он отнюдь не вкладывает какое-нибудь содержание, допускающее иное толкование, кроме материалистического.

Итак, схема Дарвиновского понимания эволюции такова: факт изменчивости доказан, но причины ее неясны. Откладывая решение этого вопроса о причинах на будущее, мы берем факт изменчивости за данное и из наличных фактов изменчивости и наследственности, борьбы за существование и отбора строим схему того направления и условий развития, по которым должна была протекать эволюция организмов.

Эта концепция и понимание вопроса и задач сегодняшнего дня в руках Дарвина блестяще оправдала себя: с исключительной быстротой и успехом эволюционная теория завоевала всеобщее признание именно потому, что она сумела ответить на те возражения, которые в первую очередь должны были выдвинуть защитники библейской идеи постоянства видов.

Но уже на другой день после победы теории, в рядах ее собственных защитников естественно возникает тот же вопрос и потребность непосредственно об'яснить причины изменчивости. Поскольку дарвинизм не давал на это прямого ответа, вспоминают, что еще задолго до Дарвина французские биологи Ламарк и Жоффруа Сент-Илер выдвигали ту же идею эволюции, причем они имели смелость указывать непосредственно на те причины, которые, по их мнению, должны были вести к изменчивости организмов.

Их доводы извлекаются вновь к жизни, и в обновленном виде могут быть сведены к трем основным группам факторов:

1) влияние внешней среды,
2) упражнение и неупражнение органов,
3) потребность, испытываемая организмом, в владении тем или иным органом при столкновении с обстоятельствами жизни.

Эти три группы факторов, из коих то та, то другая подчеркивается и выдвигается на первый план, в зависимости от уклонов зрения разных авторов—предполагаются в качестве таких условий, которые способны ответить на вопрос о непосредственных причинах изменчивости.

В увлечении своими открытиями возможных причин изменчивости ламаркисты начинают думать, что этих факторов одних только вполне достаточно для того, чтобы понять весь эволюционный процесс, и что поэтому совершенно излишне привлекать на помощь такой фактор, как роль отбора и борьбы за существование.

Эта мысль ламаркистов, формулированная многими из них, как утверждение «бессилия естественного отбора» что-либо об'яснить в вопросе о факторе органической эволюции, делает из них не столько продолжателей, но скорее противников дарвинизма в собственном смысле этого слова.

В ответ на это, прямые продолжатели Дарвина во главе с Августом Вейсманом и Уоллесом выступают с лозунгом «всемогущества естественного отбора» и доказывают несостоятельность тех доводов, которые приводятся ламаркистами в защиту их принципов и факторов изменчивости.

В чем состоит аргументация Вейсмана? Она заключает в себе как теоретически-умозрительную, так и экспериментально фактическую часть. Теоретическая аргументация Вейсмана опирается на его в значительной мере спекулятивную, но чрезвычайно стройную и тонко продуманную теорию «непрерывности зародышевой плазмы». Вейсман рассматривает организм как составное из двух частей: 1) зародышевых его клеток, дающих начало и основание продолжению вида в потомстве, и 2) его телесных клеток, образующих «соматический» (сома=тело) футляр вокруг зародышевой плазмы. С точки зрения Вейсмана для эволюционного развития важна только лишь зародышевая плазма, представляющая собою непрерывность свойств вида, что же касается телесного футляра, в который облечена зародышевая плазма в данный момент, то его судьба имеет весьма скромное значение с точки зрения процесса эволюции, хотя бы уже в силу его смертности. Для образования новых признаков, дающих основание новым видам, совершенно не имеют значения те изменения, которые происходят в телесном футляре, если только остается неизменной зародышевая плазма. Между тем трудно представить себе механизм, при помощи которого изменения, происшедшие в соматических клетках, могли бы быть переданы в зародышевые клетки. Эти соображения Вейсмана звучали уже в то время весьма убедительно, так как уже было известно, что еще у многих животных на самых ранних стадиях развития зародыша из яйца часто на стадии 2—4 бластомеров, можно точно отличить ту именно клетку, которая обособляется в дальнейшем, как зачаток половых желез и «зародышевой плазмы» по терминологии Вейсмана. Эти факты, значительно умноженные, в настоящее время служат весьма солидной опорой для соображений Вейсмана и разработанной им теории наследственности. В основе всех этих соображений лежит идея непрерывности и независимости зародышевой плазмы и ее «пути»—от телесных клеток, и в связи с этим уясняется трудность представить себе способы и механизмы, через посредство которых изменения, приобретенные телом, в течение его жизни, могли бы отразиться на наследственной массе, дающей начало новому поколению. Между тем вся теория

ламаркизма предполагала в своей основе молчаливое допущение, что новые свойства и признаки, приобретенные организмом, в течение его индивидуальной жизни, наследуются потомством и таким образом ведут к постепенному накоплению новых видовых признаков и свойств.

Вейсман, исходя из своих чисто теоретических воззрений на взаимоотношение сомы и зародышевой плазмы и на механизм наследственности, считает ламаркизм ложной теорией, не мирящейся с фактическим положением вещей.

Заслуга Вейсмана не только в том, что он впервые поставил вопросы методологического анализа биологических эволюционных теорий и потребовал точного определения понятий, которыми оперировала в его время биология; он же первый показал пример разрешения спорных вопросов эволюции методом прямого эксперимента. В своих знаменитых опытах с отрубанием хвостов у мышей на протяжении 20 поколений он показал, что, вопреки ожиданиям ламаркистов, мыши рождались в каждом новом поколении все с теми же хвостами, отнюдь не наследуя приобретенные их родителями уродства. Аналогичные же факты, известные из обыденной жизни, как неизменное рождение еврейских мальчиков с нормально развитой крайней плотью, несмотря на практикуемое на них в течение сотен поколений обрезание; «ножки китаянок»; нередко худосочные дети у атлетов—все эти факты воочию показали всю спорность предположений ламаркистов о наследовании признаков, приобретенных в силу упражнений и неупражнения и других причин.

Несомненно, нужно признать, что именно Вейсман своими опытами и логикой своего тонкого анализа взвинтил спор на высоту ожесточенного турнира двух жестоко враждебных научных лагерей. Независимо от того окончательного решения, которое вынесет история каждой из борющихся точек зрения, нельзя не признать, что об'ективно этот спор принес ту непосредственную пользу, что ускорил переход биологии к методам экспериментального исследования взамен тех данных описания и наблюдения, которыми пользовались первые исследователи. Естественной логикой вещей турнир, начатый с примитивных отрубаний хвостов, постепенно обогащался все более и более сложными и тонкими формами эксперимента и кончается в наши годы остроумнейшими по замыслу опытами Гетри, Магнуса и Клатта над пересадкой гетерогенных половых желез, опытами Каммерера и Гербста и др. над влиянием физических условий света и влажности на окраску или инстинкты у амфибий и т. д. и т. д.

Я не буду приводить описания всех этих опытов, ибо они уже даны в указанной выше литературе и достаточно известны всякому сколько-нибудь интересовавшемуся этими вопросами.

Нас здесь интересует другой вопрос: что же этот пятидесятилетний опыт экспериментальной биологии, накопленные ее результаты экспериментов по вопросу о наследовании приобретенных признаков—много ли они изменили в положении сторон и в соотношении сил и привели ли они борющиеся лагери к некоторым примиряющим их выводам? Ответ оказывается более чем странным: за это время изменился об'ем фактов и аргументов, которыми оперируют враждующие лагери, видоизменились названия течений, каждое из которых приставило к себе

обозначение «нео» (дарвинизма) и «нео» (ламаркизма), по существо спора остается все тем же, по-прежнему каждая из сторон в противовес данным противника выдвигает аналогичный опыт с противоположным результатом, так что в противовес Гетри выдвигаются опыты Кэстля и Клатта, Гербст противопоставляется Каммереру, и, в конце концов, из одних и тех же фактов обе стороны делают желательные для себя выводы.

Оригинальнее всего то, что этот спор, родившийся первоначально в недрах буржуазной науки, проник и в среду марксистов и успел и их расколоть на два враждующих лагеря, из коих один утверждает полное фиаско ламаркизма, а другой считает, что только ламаркизм есть учение, примиримое с марксистским мировоззрением и считает генетику, на данные которой опирается современный неодарвинизм, исключительно продуктом ложной буржуазной науки.

Если при этом учесть, что как дарвинистское, так и ламаркистское миропонимание диктуют свои, часто противоположные выводы в области практики социальных мероприятий, то станет понятно, что этот спор выходит далеко за пределы академических разногласий и требует к себе серьезного внимания. С другой стороны, тот факт, что 50 лет развития нашей науки мало внесли нового в разрешение вопроса, не может не привести нас к предположению, что самый предмет спора требует своего критического анализа и что быть может неразрешенность спора коренится в некоторой изначальна неправильно понятой предпосылки всего разногласия. Вот почему прежде, чем перейти к оценке фактического состояния вопроса в его научном освещении, мы считаем необходимым проанализировать самую основательность и состоятельность возникших разногласий.

Еще в молодые годы, впервые вникая в мотивы и обоснования разногласий, возникших между ламаркистами и дарвинистами, я с искренней горечью не мог понять, насколько есть об'ективное основание для той горячности, с которой ведется спор. Но только после того, как биология и естествознание привели меня к диалектическому марксистскому миросозерцанию, я получил возможность осознать и ясно сформулировать для себя свои первые впечатления и создавшееся ранее отношение к вопросу.

Несомненно, что спор между ламаркизмом и дарвинизмом есть в значительной мере спор о словах и проистекает с другой стороны из привычки мыслить формально-логическими понятиями и догматизировать принятые в основу рассуждений положения. Если вдуматься в исходные положения, послужившие первоисточником всего спора, то нет никаких оснований противопоставлять их друг другу, ибо они не только допускают, но и требуют взаимного примирения. Как мы уже отмечали выше, ламаркисты и дарвинисты подошли к одному и тому же большому вопросу о факторах органической эволюции с двух разных сторон и увидели две разные стороны одной и той же истины: внимание одних привлек, главным образом, вопрос о причинах изменчивости, другие фиксировали свое внимание на проблеме происхождения приспособлений к среде обитания. В первом случае естественно было искать причин во влияниях внешней среды, во втором с таким же правом можно было утверждать, что вопрос

разрешался в первую очередь дарвиновской теорией естественного отбора. Не было никаких об'ективных оснований остро противопоставлять обе стороны вопроса по формуле или—или, но гораздо здоровее и естественнее было сказать и—и, т.-е., беря в основу пока чисто теоретический анализ проблемы, мы с полной уверенностью должны сказать, что и дарвинизм и ламаркизм имеют в своей основе здоровое зерно, но оба течения облекли эти здоровые зерна нездоровой мякотью. Ошибка обоих течений в том, что они догматизировали свои исходные точки зрения и в стремлении свести сложное многообразие явлений эволюции к одному единому фактору довели каждый свое положение до его логического конца, т.-е. до нелепости. Они повторили буквально замечательную былину Алексея Толстого: «Ох, ты гой еси, правда-матушка», которая рассказывает о том, как семеро братьев поехали искать правду-матушку, под'ехали к ней с семи сторон и увидали ее каждый по-своему—кто морем, кто равниной, а кто горою высокой. Несомненно, что правда подлинных факторов органической эволюции значительно сложнее, чем один фактор отбора, или же одни только факторы, учитываемые ламаркизмом, отвергающим всякое значение отбора. Вот почему на верном пути были не ламаркисты и не нео-дарвинисты, оказавшиеся в данном случае plus royalistes que le roi même, а сам Дарвин и его крупнейший представитель в русской литературе—К. А. Тимирязев, которые никогда не поддавались всеобщему увлечению дискуссионной горячки и умели мудро синтезировать высокую оценку значения естественного отбора для механистического об'яснения факта целесообразности с тщательными экспериментальными поисками фактически действующих причин изменчивости.

Итак, причина безрезультатности исходного 50-летнего спора между ламаркизмом и дарвинизмом лежит в ложности постановки самой проблемы. Истина в том, чтобы взять здоровые зерна как в том, так и в другом течении и синтезировать их в единую теорию внутренних и внешних факторов эволюции, в то время, как обе стороны держатся за свои старые изжитые ошибки, связывая их в догматическом опьянении в единое целое с здоровыми положениями своих концепций. В результате обе стороны оказываются гораздо сильнее в своей критике, чем в своих положительных построениях, и, наоборот, стремясь довести свои мысли до их логической завершенности, они приходят фактически к нелепости. Чтобы не быть голословными, проследим путь мыслей каждой из сторон в их логическом развитии.

Начнем с ламаркистов. Принимая в основу эволюционного процесса влияние внешней среды—принцип априорно вполне научный и приемлемый, они считают этот фактор вполне достаточным, чтобы об'яснить все привходящие сюда вопросы. Но тут же перед нами встает задача об'яснить факт приспособленности организмов—и ламаркисты сразу раскалываются на ряд подгрупп. Лишь немногие из них приходят к признанию, что, только прибегая к фактору механического отбора и вымирания неприспособленных, мы можем дать чисто-материалистическое об'яснение этому факту. Все же остальные попытки, стремящиеся к тому, чтобы избежать обращения к отбору, неизбежно приводят к явно или скрыто сформированным, виталистическим, антинаучным кон-

ценциям. Открыто это делают так называемые психо-ламаркисты, которые прямо утверждают, что органическая плазма обладает способностью выбора и отвечает на влияние внешней среды целесообразной реакцией, соответствующей с обстоятельствами места и времени. Этот принцип, полностью восстанавливающий «психическую потребность» Ламарка, с исключительной откровенностью прибегает к помощи таких факторов, которые явно не поддаются научному контролю и изучению. Более осторожны, но не менее рискованны об'яснения той части ламаркистов, которые пытаются скрыться за принципами изначальной целесообразности «физико-химической структуры белков», которая якобы в состоянии заранее предопределить и предрешить целесообразные реакции и адаптивные приспособления организма к влияниям среды. В такие же прятки с самими собою играют так называемые механо-ламаркисты, которые пытаются выдержать строго материалистическую позицию ссылками на кинето, механо и проч. материально-обусловленные реакции организма на материальные же воздействия среды. Но во всех этих случаях остается один вопрос: или ламаркист признает, что всякая реакция организма на влияние среды целесообразна, т.-е. вызывает потребное организму прогрессивное изменение—и в таком случае он выдерживает последовательную позицию ламаркизма, но привносит в материалистическое воззрение на динамику жизненных процессов неприемлемый для нее принцип предрешенности и осмысленности реакции; или же ламаркист признает, что влияние среды способно вызвать в организме тысячи вариантов реакций и что на каждый целесообразный ответ организма приходится тысячи нецелесообразных, стираемых в силу своей неприспособленности с лица земли—и тогда он приходит к тому самому принципу отбора, с отрицания которого он начал.

Если мы перейдем теперь к неодарвинизму, то увидим в диалектическом отображении и противоположении по существу ту же самую картину. Признавая всемогущество естественного отбора, неодарвинист отрицает влияние внешней среды на зародышевую плазму. Но тогда встает вопрос о том, каковы же те причины, которые вызывают изменения зародышевой плазмы и появление новых признаков, которые подхватываются естественным отбором. Вейсман искал об'яснение изменчивости зародышевой плазмы в «амфимиксисе», т.-е. в слиянии двух разнородных зародышевых плазм родителей при процессе оплодотворения. Математическая теория сочетаний легко поясняет возможность получения таким образом из двух плазм, разнящихся лишь 10 наследственными признаками, чуть ли не всего многообразия фактически наблюдаемых изменений в среде потомков одной пары родителей.

Но в этой стройной и законченной теории есть один предательский пункт: она предполагает, что в пределах данного вида разные особи уже имеют разный наследственный состав своих зародышевых плазм. Спрашивается, каким же образом и в силу каких причин возникла эта разница генетического состава особей того же вида—и на этот вопрос мы не в состоянии дать ответа иного, как тот, что приходится в некоторых случаях допустить вмешательство внешних влияний среды. Лотси попытался выйти из этого затруднения, допустив, что изначально предусм-

ществовало «энное» количество генов, из комбинаций которых и возникают по сию пору все существующие в природе виды. Но эта теория настолько явно воскрешает худшие примеры теории «вечности жизни» и при том в столь спекулятивно-метафизической форме представлений о каких-то абсолютно неделимых генетических единицах, что здесь нет необходимости доказывать абсурдность этой теории.

Наконец, Филипченко, наиболее умный и осторожный из наших эволюционистов-генетиков, говорит в туманных и неясно формулированных фразах о необходимости признать примат внутренних автогенных факторов, направляющих эволюцию организмов в определенную сторону и определяющих характер их изменений. Как ни пытается Филипченко убедить читателя в полной материалистичности предлагаемых им принципов «автогенеза», они явно пахнут метафизическим и виталистическим душком, ничем не отличающим их по существу от «физико-химических свойств белков», на которые ссылаются ламаркисты, стремящиеся показать себя материалистами. Здесь классическое подтверждение известного принципа диалектики: всякое положение, доведенное до логического конца, приводит к своей противоположности, и именно на таких однородных тождественных нелепостях сомкнулись две теории, которые начали с взаимного отрицания: «физико-химическое строение белков» во имя которого ламаркист Берг провозгласил за упокой естественного отбора и автогенез Филипченко, стремящийся всецело опереться на этот отбор—два издания одного и того же естества научной метафизики.

Этот методологический анализ еще раз убеждает нас в необходимости синтеза ламаркистских и дарвинистских принципов в единую цельную теорию.

К тому же выводу приводит нас и анализ фактического положения вопроса в свете новейших данных экспериментальной биологии.

Принимаемое мною значение влияний внешней среды для об'яснения факта появления новых наследственных свойств зародышевой плазмы отнюдь не обязывает меня принять ламаркистские концепции проблемы наследования приобретенных признаков.

Мы считаем окончательно решенным в отрицательную для ламаркистов сторону вопрос о наследовании механических повреждений и результатов упражнения и неупражнения органов. Вопрос решается не только уже классическими примерами упомянутых нами опытов и наблюдений над обрубленными хвостами, обрезанием и т. д., и т. д., которые фактически показывают на сотнях примеров неудачу всех опытов, направленных в эту сторону. Вопрос в этой его части безусловно решается и всеми косвенными данными, известными нам по вопросу о возможных механизмах наследования таких свойств. Все эти данные цитологии и физиологии наследственности не дают сколько-нибудь рациональной схемы, которая об'яснила бы нам возможность наследования таких отрубленных хвостов. И в случае, если бы кто-либо описал в наше время пример такого наследования, это настолько не мирилось бы с принятыми в науке представлениями о

механизмах наследственности, что не могло бы не возбудить чувства глубокого недоверия.

Иное положение может быть с такими изменениями в телесном футляре, которые сопровождаются специфическими переменами в химическом составе крови. Для всякого физиологически мыслящего человека, Вейсмановская теория независимости зародышевой плазмы, взятая в ее чистом виде, не может быть приемлема. Согласно современным фактам физиологии мы хорошо знаем, что «половые» железы, служащие делу «непрерывности вида», являются в то же время органами внутренней секреции и, следовательно, тесно связаны в своем химизме с соматическим футляром и омывающей и то другое кровью. И если половая железа своими химическими продуктами способна так резко влиять на все отправления соматических клеток, то легко допустить, что и соматические клетки в свою очередь не остаются без влияния на характер и отправления половых клеток. Можно представить себе теоретически и такую возможность, когда изменения в химизме крови ведут к определенным изменениям в наследственном составе половых клеток. Наиболее легко представить себе такой механизм влияния, который связан с специфическими агентами, циркулирующими в крови и имеющими отношение к процессам механики развития и формообразования. В числе таких возможных агентов в первую очередь можно предположить железы внутренней секреции и вырабатываемые ими гормоны. Другим таким механизмом специфических химических влияний, которые теоретически могли бы вызвать длительные изменения в наследственных массах, являются реакции иммунитета и другие специфические антигенные свойства крови.

Мы имеем в наших руках факты, подтверждающие наше право к такому предположению.

В числе тех доводов, которыми оперируют в своих опытах ламаркисты, известен опыт Марии де-Шовен, произведенный ею около 50 лет назад над мексиканской амфибией-аксолотлем. Аксолотль представляет собою крупную тритоно-подобную амфибию, дышащую жабрами и приспособленную к жизни исключительно в воде. Было давно высказано предположение, что аксолотль представляет собою личиночную стадию амблистомы—животного, живущего там же в Мексике, но лишенного жабр и относящегося к группе саламандр. Это предположение наталкивалось на то препятствие, что все аксолотли, содержащиеся в европейских аквариумах, не испытывали ни разу превращения в амблистом, но метали икру, оставаясь на всю жизнь аксолотлями. Лишь в 1865 г. М. д.-Шовен удалось впервые получить превращение аксолотлей в амблистом в результате чрезвычайно терпеливого и длительного выведения аксолотлей из воды во влажный мох.

Этот опыт, возбудивший огромный интерес сам по себе эффектностью этого «превращения» одного животного в другое, представляет для нас особый интерес в связи с тем, что впоследствии М. де-Шовен сообщила, что аксолотли, полученные от икры, выметанной амблистомами, уже «самопроизвольно» без вмешательства со стороны экспериментатора стали превращаться в амблистом. Этот факт, указывающий на унаследование тенденции к самопроизвольному метаморфозу, являлся веским аргументом в руках ламаркистов.

Но интересно, что многочисленные попытки других экспериментаторов повторить основной опыт М. де-Шовен—превратить аксолотля в амблистому—не удавались. В связи с невыясненностью самого механизма, приведшего к успеху М. де-Шовен в ее опытах, а также в связи с общим положением проблемы, склоняющим мнение ученых не в пользу ламаркизма, все это привело к некоторому забвению этих опытов.

Но вот в 1912 году Гудернатчем был описан факт, что, скармливая головастикам лягушки щитовидную железу, ему удавалось получать резкое ускорение метаморфоза их в лягушек.

Вслед за тем было показано другими авторами, что, удаляя у головастиков их собственные железы, можно их лишить на всю жизнь способности превратиться в лягушек. Естественно можно заключить, что щитовидная железа своей деятельностью определяет одно из существеннейших условий нормального метаморфоза. Отсюда вытекало предположение, что не потому ли аксолотль остается на всю жизнь в состоянии личинки, что у него по какой-либо причине утеряна его собственная железа. Первые же опыты дали полное подтверждение этому предположению: путем кормления аксолотлей щитовидной железой мы можем безошибочно и без всякого труда превратить любого аксолотля в амблистому.

Эти опыты ведутся у меня в лаборатории с 1920 года, при чем за это время мы имели несколько сот амблистом, полученных самыми разнообразными приемами воздействия щитовидной железы: от простого кормления кусочками железы мы перешли затем к содержанию аксолотлей «в растворах» порошка щитовидной железы, а теперь применяем также методику вживания кусочков железы от собак, кур, кроликов, кошек, м. свинок, голубей и т. д. в полость тела аксолотля.

В то же время гистологические исследования Е. М. Вермеля в нашей лаборатории показали, что первоначальные предположения, что у аксолотлей совершенно отсутствует щитовидная железа, не верны, но эта железа у них крайне недоразвита и явно недостаточна для стимуляции организма к метаморфозу. Наоборот, после искусственно вызванного метаморфоза можно наблюдать у полученных таким образом амблистом усиление деятельности собственной щитовидной железы. Эти факты позволяют понять успех опытов М. де-Шовен: можно допустить, что в результате длительного выведения аксолотлей в условиях полувоздушного существования в соединении с обильным кормом ей удалось пробудить к жизни дремлющую щитовидную железу аксолотлей и таким образом стимулировать метаморфоз.

После разработки самих способов стимуляции метаморфоза перед нами естественно встала задача проверить и факт наследования тенденции к метаморфозу у потомства таких амблистом, при чем теоретический анализ самого механизма химической связи щитовидной железы с половыми железами делает такое исследование не невероятным.

Но до нас никто из авторов, работавших с влиянием щитовидной железы на аксолотлей, не имел икры от полученных таким образом амблистом. Поэтому предстояла задача прежде всего убедиться в продуктивности таких амблистом. Весною 1923 года

нами впервые была получена икра от амблистом. В 1924 и 25 годах мы имели уже икру от более чем десяти пар.

Результаты наблюдений над этим потомством следующие: все первые кладки полученных от таких амблистом аксолотлей остаются аксолотлями, не обнаруживая никакой тенденции к метаморфозу. Этот результат не является для нас вполне неожиданным: из работ Тоуэра мы уже знаем, что влияние внешних условий на наследственные массы половых клеток колорадского жучка сказываются лишь в узких пределах ранних стадий закладки и развития этих клеток. В то же время икра, полученная нами в первых кладках наших амблистом, фактически была заготовлена еще тогда, когда амблистомы были аксолотлями и таким образом первые кладки и не успели еще испытать действие гормона щитовидной железы.

Как бы подтверждением этого предположения является тот факт, что вторая кладка первой пары наших амблистом, полученная нами в 1924 году, дала приплод, из коего многие аксолотли стали давать уменьшение жабр и хвостового плавника и другие признаки как бы начинающегося метаморфоза. Будучи пересажены в аквариум с низким уровнем воды и мшистым берегом, ни один из этих аксолотлей не дал полного метаморфоза, но большинство из них погибло с признаками частичной редукции личиночных признаков—жабр и плавников.

Неопределенность результатов и опасность суб'ективных толкований в таких опытах не позволяют нам делать пока никаких выводов—до тех пор, пока мы не получим таким путем настоящих и вполне оформленных амблистом. Минувшее лето должно было принести окончательный ответ на наш вопрос. Но ремонт здания и отсутствие надлежащих условий для этих работ, требующих тщательного ухода и контроля всего течения опыта, привели к тому, что весь приплод минувшего лета погиб и нам предстоит ожидать следующей весны для постановки вновь всего опыта.

Какие же выводы мы можем сделать из описанных опытов? Пока лишь один: даже принимая схему химических механизмов воздействия сомы на зародышевую плазму, мы должны признать большую трудность достигнуть положительных бесспорных результатов и на этом пути в виду большой устойчивости и «инерции» наследственных масс и их защищенности от воздействий извне. Но наши теоретические ожидания найти доступ к половым клеткам от факторов внутренней секреции все же не безнадежны в виду тех частичных хотя и неопределенных пока результатов, которые дала вторая кладка икры и это толкает нас на продолжение наших поисков. Это тем более, что в наших руках имеется в настоящее время и ряд других косвенных фактов, оправдывающих наши расчеты.

Одновременно с работами над аксолотлями в моей лаборатории разрабатывается вопрос о формообразовательных функциях щитовидной железы у птиц в связи с описанными мною явлениями экспериментальной линьки и депигментации пера у кур и др. птиц под влиянием гипертироидизации. При этом разработана также методика, позволяющая изучать судьбу скормленного курам гормона щитовидной железы (тироксина) в организме у этих животных: для этого кровь и другие органы птицы,

закормленной накануне щитовидной железой, всасывающие в аксолотлей. Обнаружено, что кровь, печень и почки таких курдают безошибочный метаморфоз аксолотлей в амблистом; мышцы, жировая ткань, селезенка, зобная железа и др. органы не дают результата и очень интересные результаты дают яичники: не давая окончательного метаморфоза, они дают систематически картину частичных вполне бесспорных признаков превращения, и одновременно чисто морфологический внешний осмотр указывает на резкое уменьшение яичников и перерождение уже развитых желтков. Когда же мы взяли содержимое таких перерождающихся желтков, то получили крайне быстрый и вполне завершенный метаморфоз аксолотлей. Таким образом, мы имеем в этих опытах факты, указывающие непосредственно концентрацию избыточных количеств тироксина в яичниках и созревающих желтках и косвенно оправдывающие наши ожидания, что такое накопление специфически действующих веществ, какими являются гормоны, не может не отразиться на судьбе развивающихся яиц и зародышей.

Наконец, независимо от нас и с другим подходом—от иммунных свойств крови, блестящие и крайне убедительные результаты получены Guyer'ом и Smith'ом в опытах, уже частично известных русским читателям по упоминаниям в книгах Филипченко и др. авторов. Правда, Филипченко тут же ссылается на опровержение работ, появившееся в 1924 г. за подписью Финлея, Гексли и Карр-Саундерса, но он еще не знал второго сообщения Guyer'a и Smith'a, являющегося продолжением первого и дающего исключительно убедительный и точно проконтролированный материал (в «Biological Bulletin»).

Гайер и Смит взяли в основу известную способность крови вырабатывать антитела в ответ на впрыскивание чужеродных белков. В частности известно, что после впрыскивания, допустим, курице вещества хрусталиков глаза кролика кровь курицы приобретает цитолитические свойства по отношению к клеткам хрусталика.

Впрыскивая такую цитолитическую сыворотку в кровь крольчикам, авторы получали не только помутнение хрусталиков глаз кроликов, но и аналогичные же изменения у их потомства. Тот факт, что наследование передавалось также и через сперму отца, указывает, что влияние передается не через плаценту к зародышу беременной матери, но непосредственно через изменение наследственной массы половой клетки. В цикле остроумных и крайне тщательно проведенных опытов Гайер и Смит уточнили и продолжили свои результаты на десятках кроликов и при том обнаружили даже, что приобретенное таким образом уродство глаза наследуется по принципам Менделеевского расщепления признаков.

Эти опыты, конечно, также нуждаются в тщательной проверке и дальнейших подтверждениях, но мне кажется, что поскольку они опираются на специфические изменения в химизме крови, современные данные физиологии и цитологии дают нам право допустить такого рода влияние сомы на зародышевую плазму.

Великий пионер эволюционного учения в России К. А. Тимирязев еще 30 лет назад в следующих гениальных словах

сформулировал разрешение той проблемы, вокруг которой до сих пор еще топчутся ламаркистские и неодарвинистские склодастики:

«Дарвинизм задается одною общею для всех организмов задачею—раскрыть такой исторический процесс их образования, который прежде всего об'яснял бы нам их коренную, основную черту—их целесообразность, и для этой общей задачи дает общее разрешение—естественный отбор. Первою посылкою, на которую опирается это разрешение, является факт изменчивости существ; он принимается этой теорией за данный. Но теперь пред'являют требование глубже анализировать этот исходный фактор. Требование законное, но пред'являемое не по надлежащему адресу. От всякой теории должно требовать то, что она дает. Дарвинизм не может отвечать на то, как и почему изменялись органические существа, *потому что такой общей задачи, такого общего ответа нет и быть не может. Таких задач несметное число, и отвечать на них призван не дарвинизм—учение обще-биологическое, а экспериментальная физиология.* Дарвинизм не может ответить на все эти частные вопросы, но, в свою очередь, и все частные исследования, допустив даже, что при их помощи удалось бы современем вполне выяснить физический процесс образования форм, не дадут ответа на тот общий вопрос, на который отвечает дарвинизм. В этом смешении двух задач и двух различных методов кроется недоразумение, побуждающее новых критиков делать Дарвину незаслуженный упрек, что он недостаточно оценил действие фактора изменчивости».

В этом вся суть вопроса: в проблеме раскрытия *причин* изменчивости *нет единого общего решения*, а есть их столько же, сколько существует форм животных и растений. Это положение целиком переносится и на примыкающую сюда проблему наследования приобретенных признаков. Нет и не может быть такого общего решения—или все наследуется, или все не наследуется, но в каждом данном случае требуется детальный анализ как действующих в опыте факторов, так и механизмов их возможного влияния на наследственные массы... Эти требования, вполне понятные для физиолога-экспериментатора, менее понятны для морфолога, который привык к оперированию описательными фактами и формально-логическими понятиями.

Несчастие эволюционной теории в том, что она до сих пор находится в руках биологов, получивших школу морфологических дисциплин. В результате как неодарвинисты, так и ламаркисты одинаково догматизируют проблему наследования в какие-то метафизические абсолюты. Возьмите «боевую» брошюру Моргана и Филипченко и вчитайтесь в смысл ее и вы увидите, что в то время, как осторожный экспериментатор Морган, прошедший глубокую и серьезную школу физиологического эксперимента, осторожно предостерегает против обывательских трактовок и заблуждений,—но не берется пророчествовать о дальнейшем направлении в разрешении проблем и вдумчиво останавливается перед опытами Гайера, Гриффита, Блэксли и других авторов, более догматичный ум Филипченко торопится сделать вывод, что раз большинство до сих пор известных опытов опровергает ожидания ламаркистов, то поэтому огулом *все* противоре-

чащее не заслуживает доверия. При этом совершенно не принимается в расчет, что наследование механических увечий, наследование упражнений и неупражнений органов и, наконец, наследование специфических влияний, идущих от измененного химизма крови—это с точки зрения физиологии и механизма процесса **три** совершенно различных проблемы, из которых каждая требует своих собственных подходов и методов конкретного исследования.

Возьмите с другой стороны ход рассуждений современного (Sic!—даже современного) ламаркиста: начинается изложение все с тех же злосчастных опытов Вейсмана над мышиными хвостами, при чем в противовес им выдвигаются менее тщательно проделанные опыты или просто мнения других авторов; затем сообщаются опыты, более сложные по своему выполнению и потому по существу позволяющие толкование и в ту и в другую сторону. Ламаркист даже готов принять в каждом из данных случаев спорность и нерешенность вопроса, но затем, переходя к опытам Каммерера, а теперь—Гайера и Смита, он торжествующе заявляет: а раз так, раз опыты Каммерера, Тоуэра, Stokkard'a, Семпера **доказывают** наследование (фактически же все опыты имеют против себя контр-опыты неодарвинистов и поэтому каждый из них еще представляет спорную проблему, требующую дальнейшей ·разработки), то, **следовательно**, правы и Гетри, доказавший передачу черного цвета футляра через белый яичник, и все те древние авторы, которые утверждают наследование увечий, упражнения и неупражнения и т. д. и т. д. Именно эта догматизация проблемы превращает ее в какую-то безнадежную, бесконечную и чисто-схоластическую борьбу цитатами вместо того, чтобы плодотворно продвигаться вперед по пути конкретного и окончательного разрешения всех этапов, по которым идет разрешение проблемы.

Что изложенное мною не пародия и что в этом пункте, «на эфтом самом месте», ломают себе шеи ламаркисты, легко можно видеть из того хотя бы факта, что еще не далее 3 лет назад один из наших талантливых биологов обращался ко мне, опираясь на опыты Гайера и Смита, вновь повторить наблюдения над исследованием увечий у кроликов: не будут ли мои кролики, у которых я обрезаю уши для работ по методике изолированного уха, рождать детенышей без ушей!

Итак, в чем то решение вопроса о наследовании приобретенных признаков, которое я предлагаю взамен схоластических постановок этой проблемы, предлагаемых в современной литературе? Прежде всего нужно понять, что нельзя этот вопрос решать **огулом** или только **за** или только **против**, но что может быть и решение по принципу диалектики: *и* наследование *и не* наследование в зависимости от того признака, который мы изучаем в данный момент. Теоретически рассуждая, мы не можем представить себе такого механизма, который мог бы передать потомству новые признаки, *не* изменяя при этом химизма и структурные физико-химические и коллоидные свойства наследственного вещества половой клетки. Все, до сих пор произведенные в тысячах вариантов, опыты с несомненностью указывают на исключительную устойчивость наследственной массы, ее сопротивляемость внешним посторонним воздействиям.

Я предлагаю этот факт, установленный опытами, определить понятием «инерция» наследственной массы.

Эта инерция легко может быть понята чисто физиологически, ибо мы фактически наблюдаем, что половые клетки в момент своего развития окружены целым рядом защитных оболочек, предохраняющих их от воздействий внешней среды. В первую очередь. это кожно-мышечный футляр, дальше мы имеем кровь, представляющую собою среду исключительного постоянства и устойчивости. По совершенно другому поводу в течение минувших лет мне приходилось исследовать содержание в крови нескольких ферментов в зависимости от функций щитовидной железы; несмотря на всю тонкость разработанной А. Н. Бахом методики определения ферментов крови и несмотря на всю грубость применявшихся в моих опытах предельных картин патологии гипер и гипофункций щитовидной железы—мне пришлось убедиться в исключительной устойчивости ферментных показателей крови. По целому ряду других случаев нам приходится убеждаться в этой стойкости состава и реакции крови по отношению к всевозможным нарушающим влияниям.

Но ясно, что если мы еще не имеем верных способов изменять самый химизм крови, то тем более трудно ожидать влияния на половых клетках, которые защищены этим кровяным руслом. И все же физиолог может предполагать такие факторы, которые могли бы «обмануть» кровяную защиту именно в тех иммунных реакциях или в специфических продуктах обмена веществ, как гормоны, которые непосредственно плавают в самой крови. Но и здесь нельзя забывать, что половые клетки имеют еще более близкий к ним защитный футляр, предохраняющий их, повидимому, и от воздействия самой крови, которая по отношению к клеткам является также ведь «внешней средой»: в последние годы много внимания посвящается так называемой промежуточной ткани, которой приписываются трофические функции, т.-е. роль в снабжении половых клеток питательными веществами из крови. Учитывая, правда, еще не окончательное разрешение вопроса о роли промежуточных клеток, мы все же вправе предположить, что они ли или какие-либо другие образования в самой клетке могут служить такими буферами, которые делают клетки недоступными даже гормональным влияниям в наших опытах с потомством амблистом.

Все эти факты обосновывают и об'ясняют безуспешность, или, в лучшем случае, сомнительность всех до сих пор сделанных попыток доказать положительное влияние внешних влияний на наследственную массу. Они приводят далее к мысли о полной невероятности наследования увечий или «упражнения и неупражнения» органов, ибо мы не представляем себе, чтобы такие вещи способны были бы вызвать в крови какие-либо изменения заметного и устойчивого характера. Факты подтверждают эти соображения. Несомненно, что историческая проверка в гораздо большей мере оправдала точку зрения неодарвинизма и, наоборот, заставила нас отказаться от многих наивных представлений, которые были внесены в науку о жизни ламаркистами из обывательских воззрений. Так или иначе, но все же и ламаркисты вынуждены считаться с фактом, что далеко не всякое воздействие внешней среды может быть передано по наследству, в то

время как во времена до Вейсмана такое наследование считалось фактом, не требующим доказательств.

Чтобы не быть неправильно понятым, еще раз подчеркну, что наша точка зрения, отрицающая догматизации вопроса, не закрывает для нас возможности приинять в некоторых случаях возможность и наследования увечия, поскольку некоторые из них имели бы за собой экспериментальные данные. Гайер и Смит дают в своей работе прекрасный пример такой возможности. Цитолитические свойства сыворотки, принимая их результаты за доказанные, вносят какие-то изменения в те наследственные гены, которые определяют нормальное развитие хрусталика. Но известно, что кровь может приобрести иммунитет и по отношению к хрусталику глаза своего же собственного вида. Продолжая эти соображения, можно представить себе такие обстоятельства, при которых чисто механическое повреждение глаза поведет к поступлению в кровь распадающихся клеток собственного хрусталика кролика, а это поведет к выработке соответствующих антигенов со всеми вытекающими отсюда последствиями для потомства.

Вся суть в том, что современная физиология дает нам возможность понять образование антитела по отношению к собственным клеткам такого специфического и обособленного строения, как клетка хрусталика глаза. Но мы не знаем ничего параллельного для других клеток тела.

Из всего сказанного ясно, что современные поиски в направлении наследования приобретенных признаков оправданы лишь в тех случаях, где исследователь имеет перед собою ясную физиологическую картину ожидаемых результатов и действующих механизмов. Такое теоретическое обосноваиие имеют лишь изыскания, основанные на изучении иммуиных и гормональных специфических свойств крови и в меньшей мере—изучение влияния внешних физических влияний по типу работ Тоуэра, Семпера и быть может Каммерера, хотя уже опыты последнего подвергнуты особо ожесточенной и не всегда безосновательной критике противииков.

Становясь, таким образом, на точку зрения физиолога-экспериментатора, который должен конкретио анализировать индивидуально каждую из частных возникающих перед ним задач, мы все же должны заранее быть готовыми столкнуться всякий раз с большими трудностями, происходящими из факта инерции наследственной массы. Этому учит весь опыт минувших десятилетий, который не раз уже обманывал надежды ламаркистов в ряде конкретно поставленных ими задач.

Но я должен здесь же отметить, что с точки зрения чисто методологического анализа проблемы наследования приобретенных признаков, она отнюдь не играет такой решающей роли в общей проблеме вскрытия факторов эволюции, как это еще до сих пор кажется борющимся сторонам. В частности, говоря непосредственно о себе лично и предпринятых мною исследованиях на аксолотлях и на курах, я могу заранее сказать, что совсем не приду в отчаяние, если получу отрицательные результаты в этих опытах.

Дело в том, что общая проблема о факторах эволюции и в частности о роли влияния внешней среды совершенно ошибочно

сужена в последующем споре до проблемы наследования приобретенных признаков самими ламаркистами, и именно той частью, которая увлеклась факторами упражнения и неупражнения органов. Для этих последних несомненно результаты, до сих пор накопленные экспериментальной биологией, весьма мало утешительны. Но с точки зрения общей проблемы,—насколько внешние факторы среды могут являться источником новых наследственных мутаций, отнюдь не обязательно непременно понимать это влияние непременно по ламаркистской схеме: среда вызывает в соме изменения, которые затем в т е х же признаках передаются по потомству. Не видно, почему непременно должна подтвердиться именно эта схема. Вполне законно предположить, что один и тот же фактор может оказать на состав наследственной массы влияние в совершенно ином направлении, чем в соматическом футляре, и потому, если мы наблюдаем у наших кур под влиянием гипертироидизации изменения в окраске, то отсюда можно ожидать, что и цыплята потерпят нарушения в пигментообразовательных функциях, но фактически возможно, что на первый план выступят совершенно неожиданные изменения в росте костей или в строении глаз и т. д. и т. п.

Всякий физиолог хорошо знает, что один и тот же фактор может дать различные влияния в зависимости от возраста организма. В частности в наших опытах только что вылупившиеся аксолотли не дают под влиянием щитовидной железы метаморфоза, но обнаруживают ряд уродств или же просто гибнут. Таким образом, при всей специфичности гормона щитовидной железы, все же и она проявляет свое действие лишь при достаточной готовности тканей. Тем менее мы вправе накладывать обязательство на половые клетки принимать влияние внешних факторов в смысле полного тождества с реакцией соматического футляра.

Эту ошибку одинаково делают как ламаркисты, так и неодарвинисты. Ламаркисты тем, что они воображают, якобы всякий, отрицающий наследование приобретенных признаков, отрицает тем самым вообще влияние внешней среды в эволюции. Неодарвинисты тем, что они, как, например, Филипченко, принимая за доказанное ненаследование, делают отсюда вывод о необходимости притти к концепциям а в т о г е н е з а, предполагающего исключительное значение внутренних сил, не поддающихся в устах Филипченко сколько-нибудь отчетливой формулировке.

И здесь, как и раньше, совершенно ненужное противопоставление антитез вместо того, чтобы дать уже давно ясный синтез. Ставят вопрос так: или наследование и тогда торжествует принцип эктогенеза или ненаследование и тогда мы отдаемся во власть автогенеза.

Это неверно: мы можем признать ненаследование, и это отнюдь еще само по себе не обязывает принять автогенез и оставляет полное поле действия для эктогенетических факторов.

Это тем более нужно иметь в виду, что если мы все испытываем большие затруднения решить вопрос о наследовании, то совершенно не подлежит сомнению общий факт влияния внешних факторов на развитие половых клеток. Так, не подлежат никакому сомнению опыты Папаниколау или Стаккарда, получавших острые уродливые изменения в потомстве отравленных алкоголем крыс и

морских свинок. Равным образом известен тот факт, что дети алкоголиков отнюдь не просят водки, едва выйдя на свет из утробы матери, и даже совсем не обязательно они должны стать алкоголиками с наступлением зрелого возраста. Но тем не менее неоспорим факт, что алкоголизм отравляет зародышевые клетки отца, предрасполагая детей к нервно-психическим заболеваниям и к эпилепсии. Равным образом в наших предварительных опытах с влиянием гипертироидизации на носкость и потомство у кур, мы уже имели случай убедиться, что цыплята таких кур оказываются весьма мало приспособленными к жизни, страдая, очевидно, целым рядом расстройств в своей конституции.

Таким образом, признание наследования приобретенных признаков отнюдь не является необходимым условием учета влияния внешних факторов. Гораздо важнее разрешить более общий вопрос о влиянии внешних физико-химических факторов среды на состав и строение наследственной массы.

Эта постановка вопроса лишает всю проблему ее ненужной и искусственно созданной трагичности. Поскольку же дело идет о методах и путях ее разрешения, то путь остается тот же, что и ранее отмеченный: через изучение химизма крови в связи с влиянием внешних и внутренних факторов формообразования.

Высказанные выше соображения отнюдь не нужно понимать так, что ими обесцениваются все искания, направленные к разрешению задачи о наследовании приобретенных признаков. Проблема доли и характера участия экзогенных факторов как в ее узком толковании, так и в более широком смысле влияния их на наследственные признаки в разноименном с сомою смысле еще не имеет своего окончательного решения. Поэтому всякий лишний конкретный факт в этом направлении вносит существенное добавление в наши скромные познания. Вот почему не придавая нашим опытам по наследованию тенденции к метаморфозу у амблистом печати «трагизма» в случае отрицательного результата, мы полагаем, что то или иное решение задачи обещает внести много ясности в чисто научную проблему о взаимоотношении сомы и зародышевой плазмы и в проблему, касающуюся самих механизмов наследственности.

Борьбе ламаркистов и неодарвинистов внутри эволюционного учения придается иногда более широкая и общая формулировка в виде дилеммы: преформизм или эпигенезис, т.-е. «предопределение» или же «надобразование» определяет направление эволюции; или еще проще—определяется ли эволюция характером и свойствами наследственной массы, или же теми импульсами, которые даются организму извне, из внешней среды?

Вряд ли нужно здесь повторять нашу аргументацию, уже данную выше против той схоластической заостренности, какую придают обе стороны и этой формулировке. Совершенно ясно, что такое сложное явление, как процесс органической эволюции, представляет собой систему действующих факторов, и поэтому уже априори должны внушать недоверие такие теории эволюции, которые всецело опираются лишь на одни внешние или одни внутренние факторы. Поэтому не буду здесь подчеркивать недостаточность таких воззрений, которые, подобно Филипченковскому автогенезу, якобы научно обосновывают ненужность учета внеш-

них факторов и достаточность опираться лишь на одни внутренние факторы, обусловливающие эволюционное развитие.

Как и в предыдущем, мы можем сказать, что *и* внешние, и внутренние факторы должны быть учтены всякой теорией, желающей сколько-нибудь полно охватить все многообразие факторов органической эволюции.

Но, принимая и здесь позицию синтеза двух борющихся антитез, мы все же не снимаем с себя обязательства определить, какому же из двух течений мы отдаем предпочтение, какие факторы, с нашей точки зрения, играют преобладающую роль в эволюционном процессе. При такой постановке вопроса мой ответ гласит, что, несомненно, известные нам факты генетики и цитологии наследственности, равно как и экспериментально-биологические данные, гораздо больше оправдывают преформистские течения, чем ламаркистские.

Исторически ламаркизм должен был сдавать шаг за шагом свои позиции, отказываясь от старых и выдвигая все новые аргументы в пользу наследования признаков. Наоборот, факты генетики и экспериментальные попытки воздействовать извне на появление новых мутаций терпели до сих пор или полную неудачу или же оставляют впечатление неполной доказанности и убедительности воззрений ламаркистов. Знаменитые опыты Тоуэра, равно как и наши опыты с аксолотлями и амблистомами, приводят нас к необходимости принять лишь краткий ограниченный узкими рамками период в развитии половой клетки, когда она способна воспринять воздействия «внешней среды». Все это убеждает нас в том, что организм и тем более его зародышевая плазма при всей их, в конце концов, эластичности и пластичности и удивительной способности к адаптации, обладают вместе с тем поразительной стойкостью и сопротивляемостью, «инерцией» движения, которое сломить далеко не так просто, как это еще не так давно казалось биологам, включая сюда и самого Дарвина.

Этот вывод не должен быть неожиданным для всякого, кто глубже вдумается в существо проблемы: ведь организм сегодняшнего дня есть не что иное, как продукт, выработанной миллионами лет эволюции органического мира, если хотите, это есть та же сила внешней среды, но накопленная, аккумулированная в течение тысячелетий эволюционного развития.

С точки зрения исторического процесса эволюции, каждое данное воздействие внешней среды сегодняшнего дня—это лишь капля в океане тех сил, которые выточили ту или иную конституцию и наследственную инерцию организма. Было бы смешно поэтому допустить, чтобы эта система, выработанная веками, так легко поддавалась всякому дуновению ветерка, как это до сих пор хотят убедить нас ламаркисты. Поэтому нам кажется, что ламаркизм, взятый в его чистом виде, страдает близорукостью: подчеркивая значение внешней среды сегодняшнего дня, он забывает, что организм не родился сегодня же, но прошел уже «опыт» столкновения с этой средой в течение всего своего развития от первичного комочка живого вещества. В мировоззрении ламаркистов, вопреки их представлениям, не хватает динамичности, ибо они берут явление в пределах коротких промежутков времени, отвлекаясь от прошлой его истории.

Следующим шагом за этим положением является для нас признание той возможности, что, поскольку зародышевую клетку мы признаем за сложный комплекс условий, самой внутренней механики их перегруппировок, включая сюда и Вейсмановский амфимиксис, действительно вполне достаточно, чтобы об'яснить целый ряд тех «внезапных», «спонтанных», «мутационных» изменений, которые не поддаются никаким другим об'яснениям, чисто внешними силами. Мы бы попали в сети чистого схоластического автогенеза, если бы мы, догматизируя наши положения, исключили бы совершенно влияние внешних условий. Но мы этого не делаем, наоборот, утверждаем, что в конечном итоге само яйцо во всей своей сложности есть не что иное, как продукт, родившийся из внешней среды и адаптированный к влияниям внешней среды.

Я—сторонник теории преформации лишь в том смысле, что я считаю, что еще в тот момент, когда «самопроизвольно» на земле зарождался первый комочек живого вещества, его конституция, структура и состав «предопределили» в потенции все те возможности, которые развернулись из него в процессе дальнейшей эволюции. Несомненно, что, па-ряду с этим комочком, было не мало и других комбинаций элементов, повторяющих отдельные признаки и свойства жизни, но выжила в потомстве лишь та комбинация, которая удовлетворила условиям внешней среды. Несомненно, что, раз возникнув, жизнь имела не один случай направить свою эволюцию в самых разнообразных направлениях, но сохранились лишь те, которые поддерживались естественным отбором.

Результатом чего, следовательно, является организм: внешней среды или же внутренней действующей в нем силы?

Первично жизнь полностью и целиком являлась продуктом внешней среды. Чем дальше в глубь времен, тем в большей мере, несомненно, внешняя среда непосредственно определяла судьбу и характер изменчивости организма. Но чем больше организм накоплял в себе эти влияния, тем больше в нем могли приобретать значение те силы внутренних факторов, которые позволяют современным схоластам от науки противопоставлять автогенез эктогенезу, понимая под этим якобы некоторые принципиально разные сущности. Рассуждая статически, да, они правы, рассуждая же динамически, и авто- и экто-генетические факторы эволюции сходятся по одному и тому же общему первоисточнику.

С этой точки зрения мы можем понять и Берговское понятие «изначальной целесообразности» «физико-химических свойств белка». Да, поскольку первичный комок живого вещества выдержал борьбу за существование не только сам за себя, но и в лице своего потомства, мы можем принять эту целесообразность, как чисто механический вывод из проверенных веками фактов. Но в то время, как для Берга эта «целесообразность» есть нечто первичное и разумно вложенное в плазму, для нас она есть лишь механический вывод, вымученный и выстраданный выжившими счастливцами за счет гибели миллиардов других комбинаций. Но после того, как окружающие нас организмы выдержали испытание миллионов лет, разве мы не в праве ожидать, что одержанная ими победа в борьбе за существование «предопределяет» в принципе их потенциальную способность и в дальнейшем про-

должать эволюцию в тех направлениях, которые даны их зародышевой плазме всей их предшествующей историей?

Формально совпадая с теориями автогенеза, наша теория чужда того мистицизма и догматизма, которые вкладывались до сих пор в это понятие. Наконец, она не возбраняет нам искать в каждый данный момент долю участия внешней среды и радоваться каждому случаю, когда то же влияние констатировано. Но она же позволяет нам легко понять и об'яснить все те многочисленные неудачи, которые постигали нас в этих направлениях: мы не ждем, подобно ламаркистам, мгновенных и легких успехов, но заранее учитываем всю трудность сломить вековую инерцию наследственной плазмы влиянием данного момента.

В самом деле, попробуем чисто арифметически учесть долю вероятия, что, вводя в динамику процессов, протекающих в яйце, новый фактор,—допустим, изменение температуры,—мы могли бы создать новый или уничтожить один из ранее существовавших генов. Это легко сделать при грубом воздействии, но тогда яйцо, не долго разговаривая, «прикажет долго жить», т.-е. погибнет. Следовательно, мы заведомо должны избрать такую осторожную форму вмешательства, которая не нарушит основных условий нормальной жизнедеятельности яйца. Этот слабый по своей эффективной силе фактор попадает в колесо сложнейших процессов физико-химического и химического порядка, в среду сложнейшей микро-структуры, которые являются продуктом миллионов условий, которые определяли всю прошлую эволюцию этого яйца... При этих условиях теоретически можно ожидать, что нужно произвести миллионы опытов с влиянием искусственно создаваемых нами условий, чтобы ввести в органическую систему зародышевой плазмы условия для образования нового «прогрессивного» гена и, следовательно, новой мутации. Нас не удивляют при этих условиях те многочисленные неудачи, которые имели Морган и другие авторы в их попытках получать новые мутации—дрозофилы под влиянием лучей рентгена, радия и других экзогенных факторов,—только природа обладает возможностью оперировать миллиардами и все же она не дарит нам каждый день новые мутации или тем более виды. Поэтому, если даже будет повторено в сто и тысячу раз больше опытов без всяких результатов, я отнюдь отсюда не стал бы считать возможным совершенно отрицать роль внешней среды, как это делают автогенисты-метафизики.

К счастью, положение далеко не так безнадежно, и все же такие опыты, как Тоуэра, Гайера и Смита, Семпера и др. дают полное основание думать, что по мере нашего проникновения в тайны динамики живого организма, мы сумеем найти гораздо более верные доступы к управлению наследственными массами и видообразованием.

До сих пор мы имели дело главным образом с постановкой узко-биологической научной дилеммы—ламаркизм или дарвинизм вне их непосредственной связи с выводами социального, общественного и философского порядка. При этом, нам кажется, диалектический метод мышления помог нам провести правильный анализ каждого из течений и выкристаллизовать из каждого из них здоровое ядро.

Но и ламаркистская и дарвинистская концепции эволюционной теории выводят нас в своих выводах в область этих социальных проблем и вовлекают в разрешение затронутых нами вопросов не только биологов-специалистов, но и общественников-марксистов. На основании оценки выводов, к которым приходят теории эпигенеза, с одной стороны, и преформизма—с другой, марксист-философ выносит свое суждение о той или иной системе и отдает свои симпатии той или иной стороне. Как же определяются симпатии общественников в интересующем нас споре?

Нельзя сказать, чтобы здесь было устойчивое и выраженное единообразие мнений. Среди марксистов-общественников можно найти как ярых сторонников генетики и менделизма, и опирающихся на них неодарвинистских концепций, так и не менее ярых противников «мендельянства» и сторонников ламаркизма. Можно все же определенно сказать, что в настоящее время сильнее и громче раздаются голоса в защиту ламаркизма, при чем проблема формулируется даже в том смысле, что только эпигенетические теории эволюции могут быть согласованы с духом марксистского анализа, что же касается генетики и неодарвинизма, то они в своих выводах противоречат марксизму и не совпадают с социальной политикой партии. Эта точка зрения получает опору также в психологии масс, первая реакция которых по отношению к генетике резко отрицательная: мне, как преподавателю Комм. Университета им. Свердлова, приходится ежегодно сталкиваться с заявлениями со стороны студентов-свердловцев, что генетика—«наука буржуазная», а ее выводы неприемлемы для философии пролетариата.

В педагогике те же системы воззрений скрещиваются вокруг проблемы роли наследственности и воспитания, и здесь марксизм, в лице тов. Залкинда, провозглашает ничтожное значение наследственности и преобладающее значение социальной среды и воспитания.

Наконец, попытки буржуазных биологов сделать из законов генетики и менделизма выводы, явно направленные своим острием против власти пролетариата, и провозгласить революцию противоевгеническим фактом, как победу «черной кости» над «белой костью», заставляет даже биологов-марксистов отшатнуться от генетики и искать разрешения вопросов у берегов ламаркизма.

Все это делает занятую мною позицию явно невыгодной, и можно ожидать ряда нападений со стороны товарищей, говорящих от имени и во имя социальных и философских выводов марксизма.

Прежде всего несколько слов по поводу тех аргументов, которые апеллируют к «невыгодности» выводов генетики для разрешения социальных проблем в интересах пролетариата. Мне кажется, что тот же марксизм диктует всякому своему приверженцу одно обязательство—смотреть в глаза правде, невзирая на то, выгодна ли она или невыгодна нам в условиях настоящего момента.

«Бытие определяет сознание, а не сознание бытие». Поэтому, если бы даже оказалось действительно верным, что выводы биологии противоречат тем или иным нашим социальным чаяниям, мы обязаны были бы принять эти выводы и согласовать наше сознание с изученным нами научно бытием фактов.

Считаю это необходимым отметить, дабы предостеречь против той доли демагогии, которая привносится иногда в пылу спора в разрешение научных вопросов, требующих прежде всего чисто фактического анализа. Нередко доводы ламаркистов идут именно от социальных суб'ективных умозрений вместо того, чтобы оперировать фактами самой науки, и в этом повинны, с другой стороны, также те неодарвинисты, которые строят на генетике свои пророчества о путях улучшения человеческого рода.

Прежде всего необходимо поэтому отказаться от привнесения в разрешение этого огромной важности вопроса предвзятых мнений, которыми уже заранее предрешался бы исход спора.

Прежде всего нужно запомнить, что линия раздела материалистических и виталистических воззрений не совпадает с разделом биологов на лагерь ламаркистов и неодарвинистов.

Среди ламаркистов, на-ряду с так наз. механо-ламаркистами, пытающимися у нас в России согласовать свои воззрения ламаркистов с материализмом и марксистской философией, имеется гораздо более сильная количественно и качественно группа психоламаркистов, выступающих как идеалисты и виталисты чистейшей воды, при чем именно ими главным образом разрабатываются нападки против механистического принципа отбора во имя утверждения принципа «номогенеза», ведущего эволюцию к разумно осознанной цели.

С другой стороны, среди генетиков-неодарвинистов мы имеем, на-ряду с такими трезвыми материалистически-мыслящими умами, как Морган, спекулянтов типа Лотси, который в своей теории комбинаций договорился до понимания генов, как каких-то предвечно данных, абсолютных сущностей, переходя, таким образом, явно и без колебаний в область метафизического идеализма.

Таким образом марксист, подходящий к обсуждению нашего спора, должен иметь в виду, что как в ламаркизме, так и в неодарвинизме имеется здоровое зерно, облеченное в отравленную кожуру, и нет оснований делать априори предпочтение той или иной биологической теории.

Далее, мы уже пояснили, что концепции преформизма, как я их понимаю, не только не исключают, но в к л ю ч а ю т в себя понятие материального воздействия внешней среды.

Наконец, что самое главное, совершенно неверно, якобы воззрения биологического преформизма в целом невыгодны для революции и пролетариата. В том, что такое представление создалось, несомненно, виноваты прежде всего буржуазные биологи, которые первые сделали из генетики орудие для обоснования своих контрреволюционных умонастроений; но во вторую очередь виноваты наши союзники-марксисты, которые были настолько сбиты «с панталыку» и терроризованы натиском буржуазных евгенистов, что с водою решили выплеснуть и ребенка, т.-е. стали отрицать не только выводы буржуазной евгеники, но и самую науку, из которой выросло евгеническое движение, не потрудившись проверить, подлинно ли эта наука опасна для нас, или же быть может ее можно направить п р о т и в наших врагов и против самой евгеники, как она есть и как она преподносится нам группой профессора Кольцова.

Чтобы сделать понятнее этот наш круг мыслей, напомним сперва способ аргументации таких буржуазных евгенистов, как Филипченко и особенно Кольцов,

Генетика подчеркивает преобладающее (в устах догматика-преформиста—исключительное) значение наследственного генетического состава в определении индивидуальных возможностей той или иной особи. Естественный отбор с точки зрения генетики есть не что иное, как отбор наследственных генов. Перенося свои биологические воззрения полностью в круг социальных проблем, биолог-генетик утверждает, что в человеческом обществе уже произведен отбор лучших генов, которые сосредоточены в господствующем классе буржуазии и связанной с нею тесными узами интеллигенции. «Низшие» классы рабочих и крестьян—это темная масса «черной кости» невысокого евгенического качества. Победа революции есть победа черной кости над белой костью и является фактором противоевгенического порядка. Эти воззрения, в той или иной форме, в виде более или менее открытых формулировок, пропитывают как собственно евгенические выступления наших «спецов» этого дела, так и даны в прикрытой форме в тех общих формулировках, в которых излагаются законы генетики вообще в составляемых ими книгах по вопросам наследственности.

Эти выводы евгенистов-генетиков заставляют т. Волоцкого[1]) искать выхода в поисках новой базы для евгеники в лице ламаркизма и чураться генетики, как таковой.

Но правильно ли понимать выводы преформизма, как пессимистические для социальной революции? Отбросив даже до поры до времени обсуждение того, насколько вправе евгенисты биологизировать социальные проблемы, как они это делают, покажем, что даже с чисто биологической точки зрения преформизм несет с собой более оптимистические перспективы, чем эпигенезис.

В самом деле, именно те, кто ищут спасения от евгеники в об'ятиях ламаркизма, молчаливо признают деление человечества на черную и белую кость. И, наоборот, никаким разумным способом мы не сумеем вычитать это разделение из законов генетики.

Что говорила бы нам теория эпигенеза, т.-е. признание влияния внешних факторов, на наследственную плазму в области социальной жизни? Человек есть продукт, главным образом, условий его жизни; его психические возможности также ограничены условиями его быта.

Поэтому, поскольку пролетариат является в течение тысячелетий об'ектом социального гнета и заглушения всех его лучших способностей, он выработался в особую низшую расу, неспособную в данный момент к каким-либо творческим возможностям.

Следовательно, вправе утверждать именно биолог-ламаркист,—победа пролетариата знаменует собою шаг назад в смысле духовной культуры, так как он выводит на авансцену государственного строительства силы, наименее одаренные и вырождающиеся. Единственная надежда на будущие поколения, когда вновь пришедший к власти класс сумеет окрепнуть в условиях лучшей жизни.

---

[1]) Классовые интересы и современная евгеника, изд. «Жизнь и Знание» Москва 1925 г.

Эта философия — философия ламаркизма — вряд ли дышит большим оптимизмом и скорее окутывает наше настоящее покровом безнадежности.

И, наоборот, что говорят нам воззрения преформистов, теория устойчивости и инерции наследственных масс?

Наследственная плазма, — говорит нам неодарвинист, — имеет свою особую судьбу, не совпадающую с судьбой ее телесного футляра. Поэтому то вековое угнетение, которому подвергались рабочий класс и крестьянство в течение тысячелетий, отнюдь не лишило их всех тех потенциальных возможностей и творческих сил, которыми обладает любая другая привилегированная группа или класс. Несмотря на то, что «низшие классы» были угнетены в проявлении своих возможностей; несмотря на то, что рабочий класс и крестьянство подвергались недоеданию, нищете и вырождению, это отнюдь не могло привести их к потере всех тех социальных прав, которых они были лишены силою ненормальных социальных отношений, ибо по своему генетическому составу они совершенно ничем не ниже «белой кости». Именно поэтому, по первому зову революции пролетариат сумел выделить из своей среды вождей и государственных правителей, отнюдь не худших, но даже лучших, чем те, что имел побежденный им класс. Именно потому мы можем совершенно смело и без боязни смотреть в глаза будущему и не опасаться, что его творческие наследственные способности могут уступать способностям уходящего со сцены класса.

Чем же вызывается то историческое недоразумение, что буржуазия ищущая орудие для борьбы с революцией, стала искать опоры для себя в той именно теории, которая, как оказалось, менее всего способна служить для нее поддержкой? Первое об'яснение, конечно, в том, что в процессе и разгаре борьбы нет времени раздумывать о пригодности средств—все достижения науки были использованы для того, чтобы убедить народные массы, что революция противоречит всем законам «божеским и человеческим».

Но несомненно, что многие из наших евгенистов-биологов до сих пор искренне верят, что они находятся на верном пути к спасению человечества. Профессор Кольцов, видимо, искренне убежден, что он является пророком нового евангелия, которое спасет человечество от всех грозящих ему бед.

Причина этого прискорбного недоразумения—в исключительном невежестве буржуазных ученых в проблемах социальной жизни. Вслед за Уоллесом, Геккелем, Кольцов и понимает связь биологических воззрений с социальными не иначе, как в смысле простого и грубого переноса биологических отношений и теорий в межлюдские отношения. Этот путь грубой биологизации социальных проблем имеет свою законную логику: в обществе, полагает Кольцов, царит такая же борьба за существование, как и в природе, где каждый борется сам за себя в условиях свободной конкуренции. Следовательно, всякий выплывший на поверхность жизни обязан этим прежде всего своим личным талантам, т.-е. генетическим зачаткам. Следовательно, интеллигенция и высшие классы—это есть собрание лучших генетических качеств страны, забота государства в дальнейшем должна быть направлена к тому, чтобы поддерживать чистоту генетических линий талант-

ливых семейств. Все, что внизу—это генетические отбросы, ибо все талантливое выбивается оттуда наверх, т.-е. уходит из кадров темных масс к господствующим классам.

С полным сохранением внутренней (но, к сожалению, однобокой) логики буржуазный пророк евгеники плачет о том, что малая рождаемость среди интеллигенции и большая среди пролетариата угрожает изменить к худшему «евгенический профиль» страны и с ужасом принимает переход власти от одного класса к другому.

Внесение элементарной марксистской грамотности в головы таких евгенистов могло бы сразу прояснить их умы: и даже—будем надеяться—научит более молодых из них найти именно в законах биологии прямой путь к диалектическому материализму. В условиях человеческого общества нет места голым биологическим отношениям. Поэтому естественный отбор «лучших» извращен здесь вмешательством чисто внешних случайных обстоятельств принадлежности к тому или иному классу и социальной среде, которая может в корне заглушить развертывание творческих сил, таящихся в рабочем «футляре», не убивая однако самое наследственность, таланты, ожидающие лишь «их часа», когда они будут «позваны на пир». Именно поэтому фактический отбор, произведенный в классовом обществе, совершенно не совпадает с биологическими признаками лучшей или худшей наследственности, а посему и вообще все, что было в буржуазном обществе, отнюдь не может служить положительным примером для честного и вдумчивого евгениста; поскольку же речь идет о перспективах и возможностях для отбора и выдвижения лучших генетических задатков, то именно революция и водворяемый ею социалистический строй впервые создают здоровые и честные предпосылки для осуществления лучших заветов и чаяний евгенистов.

Это тем более важно подчеркнуть, что буржуазные евгенисты искренне считают евгенику наукой, в то время, как она есть лишь приложение науки, и, как всякое приложение или техническая наука, находится в услужении и подчинении той идеологии, которая ложится в основу ее применения. Евгеника, до сих пор культивируемая нашими биологами, несет на себе все признаки сознательно или бессознательно проводимой ее пророками мелко-буржуазной идеологии, поскольку она вся на-цело проникнута философией свободной конкуренции и отбора генов, якобы независимо от социальных условий.

Рабочий класс имеет все основания интересоваться и овладеть теми основами, на которых зиждется современное евгеническое движение, но несомненно в его руках евгеника будет наполнена совершенно другим содержанием и будет служить совершенно иным целям.

Во всяком случае, мне хотелось показать, что у нас нет никаких оснований ни пугаться евгеники, как своего рода антропо-технической науки, ни пугаться ее основных предпосылок преформизма наследственных данных, которые выгодны и оптимистичны и для первых шагов революции и для ее дальнейшего углубления и развития.

Есть лишь один момент в выводах преформизма, который звучит пессимистично в умах у человека. Это тот факт, что

он накладывает предельные границы для развития и развертывания персональных возможностей каждой данной особи.

Каждый рабочий таит в себе глубоко запавшую надежду, что ограниченные возможности его мозга обусловлены лишь лежавшим на нем социальным гнетом. Революция разбудила в нем надежду завладеть высшими позициями и «командными высотами» путем личного обучения и совершенствования. Он идет в учебу с уверенностью, что, сбросив путы социального гнета, он увидит перед собой открытыми двери ко всем высшим сокровищам и достижениям науки, искусства и техники.

Естественно поэтому, что выводы генетики, которая подчеркивает те пределы, которые даны способностям каждого в его наследственных данных, приправленные к тому же явно буржуазной идеологией авторов до сих пор существующих на эти темы книг,—все это воспринимается пролетарием, впервые прикасающимся к науке, как сознательные и злостные рогатки, которые воздвигнуты его врагом на его пути к завоеванию власти. Вот почему первая реакция свердловца на законы генетики—это убеждение, что генетика есть наука «буржуазная», полная пессимизма для пролетарских масс. Я уже показал выше, что с точки зрения интересов и выгоды коллектива, класса, идеи и выводы преформизма, вопреки общему убеждению, оптимистичнее для нас.

Но нельзя не признать, что с точки зрения чаяний и ожиданий жизненной «карьеры» каждой данной особи в отдельности, выводы генетики могут оказаться полными пессимизма и безнадежности. Поговорка «скорее пожрет синица орла, чем безумный ума научится» остается действительной во внеклассовом смысле и вне зависимости от социального положения. Никакими трудами воздействия внешней среды и воспитания мы не сможем никогда поставить массовое производство Марксов и Лениных, не учтя возможностей того генетического материала, которым мы оперируем; мы не сделаем математика или музыканта из людей, не обладающих соответствующими генами и не всякий рабочий, при всех его усилиях, имеет данные стать хорошим инженером, поскольку к тому не предрасполагает его наследственность.

Меньше всего достоин называться марксистом тот, кто станет отрицать факты и выводы генетики только потому, что она лишний раз убеждает нас в правильности того основоположения диалектического материализма, что сознание определяется физическим бытием, и поскольку физиологическая природа и конституция людей не абсолютно тождественны, естественно вытекает отсюда и разность их «сознания». И как бы ни были неприятны выводы генетики для той или другой личности, отсюда не следует, что мы должны отказаться видеть факты такими, как они есть. Наоборот, тем более мы обязаны изучить факты, чтобы тем вернее организовать наши практические мероприятия на пути евгеники в интересах рабочего класса.

Необходимо только понять, что то ограничение, которое налагает генетика на возможности особи, не имеют ничего общего и ни в какой мере не распространяются на социальные и классовые группировки.

Когда евгенист буржуазный делает из генетики вывод, якобы «высшие классы» есть сливки евгенических задатков страны, то он забывает, что при наших современных знаниях генетика еще вообще не имеет твердых данных судить о том, каковы будут генетические последствия того или иного брака, исключая разве предсказания цвета глаз и волос. Они не учитывают также того, что, поскольку генетический отбор мог осуществляться в классовом капиталистическом обществе, этот отбор носил столь стихийный характер, что он ни в какой мере не мог быть фактором «селекционного» значения и тем сколько-нибудь изменить соотношение генетических возможностей в пределах разных классов. Наконец, поскольку дело идет об абсолютных возможностях того или иного класса, то за меня ответил уже т. Шмидт в своей статье «Не из верхних десяти тысяч, а из нижних миллионов», указав на те неисчерпаемые и еще нетронутые «золотые россыпи» генетических задатков, которые лежали под спудом в условиях капиталистического общества.

Наконец, и это самое важное, буржуазные евгенисты не понимают того, что самый принцип евгенического отбора меняется в зависимости от социальных и классовых отношений и господствующей в стране идеологии. Кольцовы могут стонать о гибели отборного генетического материала вплоть до предложения принять физическое вырождение во имя производства «гениев», и для их сознания это имеет вполне законченный смысл, поскольку таково именно бытие того класса, который они представляют.

Но то, что в глазах Кольцова—идеал, для нас—отрицательный тип и, наоборот, что нам здорово, то Кольцову—смерть. Если буржуазно-капиталистический строй считал своим идеальным типом дельца, живущего по принципу «не обманешь — не продашь», буржуазная интеллигенция плодила нытиков-идеалистов, «беспочвенных» интеллигентов и «коптителей неба», то, наоборот, для пролетариата образцом евгенического типа являются его революционные бойцы, томящиеся в тюрьмах капиталистов под кличкой преступников, а нытиков и купцов и вырожденческих гениев именно с евгенической точки зрения мы отправляем «на слом».

Нет никаких оснований поэтому видеть в генетике опору для буржуазной социологии. Что же касается тех ограничений, которые она кладет для личных возможностей каждого, то разве молчаливое признание необходимости считаться с генетической конституцией не лежит в основе тех психо-физических исследований, которым мы подвергаем каждого члена коллектива?

Марксист, отрицающий роль преформизма, должен отрицать также и всю ту систему психофизических «тестов» и институтов труда, которые служат основою для нашей политики труда, и, наоборот, лишь ламаркизм наивно считает, что он способен создавать людей нужного качества путем одного лишь упражнения и неупражнения.

Почему марксисты-общественники не дооценили тезисы преформизма и отвергают генетические предпосылки евгеники?

Несомненно, в первую очередь потому, что они были терроризированы и испуганы теми выводами, которые были сделаны из генетики буржуазными евгенистами. Но в этом наша большая вина, что, вместо того, чтобы подвергнуть анализу и проверке право наших идеологических противников делать свои выводы из

данных биологии, мы стали отрицать самое науку и тем дали право обвинять нас в научном невежестве. Редко я испытывал так остро и болезненно чувство обиды, как когда я читал, как наиболее умный из буржуазных евгенистов—проф. Филипченко—поучает в своей брошюре (совместно с Морганом)—«О наследовании приобретенных признаков» с чувством превосходства научно-вооруженного человека нашего идеологического союзника т. Волоцкого, каким образом пролетариат мог бы использовать выводы генетики к своей выгоде. Эту ошибку нужно и еще не поздно исправить, но для того, чтобы избежать ее повторения, необходимо усвоить одно основное правило: наши идеологические философские предпосылки диалектического материализма дают нам право и обязательство подвергнуть сугубому сомнению и критической проверке все то, что нам кажется противоречащим нашему общему мировоззрению. Но отвергнуть выводы науки мы окончательно вправе только тогда, когда мы их побеждаем их собственным орудием, т.-е. силой таких же научных фактов. Если этого сделать нельзя, то мы обязаны считаться с выводами науки, даже если бы они понуждали нас внести поправки в наши предвзятые представления. Всякое отклонение от этих правил позволяет нашим же противникам обвинять нас в том, что мы хотим подчинить реальное «бытие» нашему предвзятому сознанию, т.-е. совершаем ту самую ошибку догматизации неправильно понятых нами принципов марксизма и возведения его положений до степени метафизических, абсолютных, не подлежащих сомнению сущностей. Именно такую медвежью услугу иногда оказывают нам марксисты-биологи и те марксисты-общественники, которые, не подвергая ту или иную биологическую проблему анализу по существу, предписывают ее решение в определенную сторону на основании того, что она *кажется* им более соответствующей духу материалистического мировоззрения.

Другой источник этого непонимания вещей коренится в смешении, неточном и неоднозначном содержании понятия «зародышевой плазмы» и «среды», которое вкладывается нередко спорящими сторонами. Большую путаницу вносят в этом отношении в наш спор врачи и педагоги. Всякий врач и всякий педагог имеет дело больше и прежде всего с человеческой особью или индивидом и ему постоянно приходится убеждаться в поразительной пластичности человеческого организма, с его податливостью влияниям внешней среды. Всякий врач ближе всего помнит примеры, насколько резко и определенно условия питания и общие санитарно-гигиенические условия среды владеют человеческой личностью, и всякий хороший педагог верит в свою силу направлять целесообразными методами воспитательного воздействия развитие ребенка в желательную для него сторону. Поэтому именно среди них особенное возмущение и протест вызывает основная предпосылка преформизма, подчеркивающая примат внутренних наследственных условий. Поэтому-то мы видим также, что именно среди врачей-материалистов наиболее прочно и основательно укрепились позиции ламаркистов.

Между тем все дело и здесь сводится к недоговоренности и взаимному непониманию. Биолог-преформист и марксист-врач-общественник говорят о совершенно разных вещах. Когда биолог

говорит о преобладании эндогенных факторов, то он имеет в виду обще-видовые интересы и факторы видовой эволюции. Когда общественник подчеркивает преобладающее влияние социальной среды, то он имеет в виду интересы соматического футляра, т.-е. данной личности, но не скрытую в нем зародышевую плазму. В биологии эти два понятия имеют свое точное различение в виде терминов «генотипических» и «фенотипических» изменений.

Ни один, считающийся с фактами, преформист-генетик никогда не отрицает факта резкой «фенотипической» индивидуальной изменчивости в пределах данного генотипа. Поэтому все те случаи воспитательного воздействия или изменений в физическом состоянии организма, на которые ссылается общественник, не только не неожиданны, но заранее предусматриваются преформизмом и находят свое об'яснепие, как примеры тех резких индивидуальных изменений, которые давно известны в биологии.

Преформизм утверждает лишь то, что 1) эти фенотипические изменения футляра, как бы резки они ни были, не имеют наследственного значения, т.-е. не играют заметной роли в эволюционном процессе, и 2) что эта индивидуальная изменчивость имеет свои резко определенные границы, наложенные наследственным генетическим составом данной особи.

Конкретно: преформизм вполне вмещает в себе понятие о влиянии социальной среды. Эта среда и исключительно она определяет судьбу двух наследственно вполне одинаково равноценных особей—одну из них она делает ожирелым дородным и авторитетным биржевым дельцом, а другую сгнаивает в чахотке за конторкой клерка. Но только наследственные данные сделают в пределах одной и той же семьи и, следовательно, в условиях одной и той же социальной среды одного сына—великим музыкантом, другого—ученым исследователем, не умеющим пропеть правильно ни одной мелодии, а третьего—психопатом, не способным ни к умственному, ни к физическому труду.

Далее, признавая факт резких и индивидуальных изменений в зависимости от влияния среды, преформист-биолог лишь утверждает, что эти изменения не передаются по наследству, и потому не представляют интереса для эволюционной теории. Если бы это было иначе, то следовало бы ожидать, что дети певцов должны были бы уже с первых месяцев рождения петь романсы, дети математиков—упражняться подобно знаменитым «мыслящим лошадям» Краля—в извлечении корней, а педагогу пришлось бы совершенно забросить в огонь все азбуки за ненадобностью. И мы уже показали выше, что всякое стремление ламаркиста-врача доказать обратное привело бы его к невыгодным для него выводам: он должен был бы признать пролетариат низшей расой в силу того, что он не упражнялся ни в науке, ни в азбуке, ни физически и находился в условиях векового социального угнетения.

Теперь выступят на сцену «физкультурщики». Они считают, конечно, что я своей проповедью преформизма подрываю все устои и заповеди физкультуры. Ведь обещание атлетического потомства всем, кто занимается упражнением своих легких, сердца и мышц, является чуть ли не первым параграфом физкультурной пропаганды.

Мне очень жаль, что мои выводы должны разочаровать физкультурника в его чаяниях облагодетельствовать и внести серьезные поправки и дополнения в круг факторов, определяющих эволюцию человечества. Но, уже выступая не как биолог, а как социолог-общественник, я полагаю, что физкультурники должны быть достаточно удовлетворены той пользой, которую они приносят человеческому соматическому футляру, укрепляя индивидуально его легкие, мышцы и сердце и этого одного вполне достаточно, чтобы оправдать и развивать физкультурную пропаганду.

Кроме того, не будучи преформистом-догматиком, я считаю весьма вероятным, что, хотя упражнение мышц и легких матери и не наградит ребенка атлетическим сложением, или новыми генетическими свойствами, тем не менее, здоровье матери в момент беременности несомненно способствует рождению более здоровых и сильных детей. Факты исключительной слабости и недоношенности детей в годы экономической разрухи достаточно подтверждают это предположение.

Итак, предубеждение общественников против выводов преформизма проистекает из смешения понятий. Биолог интересуется в первую очередь судьбой вида и факторами, управляющими эволюцией, и он констатирует преобладающее значение эндогенных факторов в этом процессе. Общественник-врач и педагог интересуется особью или соматическим футляром и здесь он видит в первую очередь факты резкой индивидуальной изменчивости в зависимости от влияния среды. Поэтому все доводы такого рода, идущие от наблюдений врача или педагога, проходят мимо цели, тем более, что биолог-экспериментатор знает и имеет в своем распоряжении значительно более богатый и точно изученный материал и более убедительные примеры индивидуальных вариаций. Наоборот, общественник-врач и педагог обязан считаться с данными биологии в том смысле, что они налагают свои ограничения и на те возможности, которыми располагает данная особь.

У нас нет еще возможности выразить в математической формуле относительное значение наследственности и воспитания в формировании личности, но мы можем с большой уверенностью утверждать, что не считаться с фактом наследственных предрасположений и психо-физического профиля ребенка—это значит игнорировать директивные указания твердо установленных фактов науки.

Поэтому я считаю, что, напр., т. Залкинд, выдвинувший якобы революционную идею, предлагающую при изучении детской преступности и дефективности совершенно не считаться с наследственным предрасположением и считать все огульно результатом социальных неустройств, чрезмерно перегибает палку и упрощает вопрос, давая в руки нашим общим идеологическим врагам предлог и основание обвинять нас в недоучете об'ективных фактов науки.

Чтобы показать всю трудность и сложность разрешения затронутых нами проблем в их частном физиологическом анализе и необходимость внести ясность в содержание применяемых при этом понятий, остановимся еще на одной из групп доказательств, к каким часто прибегают ламаркисты-врачи.

говорит о преобладании эндогенных факторов, то он имеет в виду обще-видовые интересы и факторы видовой эволюции. Когда общественник подчеркивает преобладающее влияние социальной среды, то он имеет в виду интересы соматического футляра, т.-е. данной личности, но не скрытую в нем зародышевую плазму. В биологии эти два понятия имеют свое точное различение в виде терминов «генотипических» и «фенотипических» изменений.

Ни один, считающийся с фактами, преформист-генетик никогда не отрицает факта резкой «фенотипической» индивидуальной изменчивости в пределах данного генотипа. Поэтому все те случаи воспитательного воздействия или изменений в физическом состоянии организма, на которые ссылается общественник, не только не неожиданны, но заранее предусматриваются преформизмом и находят свое об'яснение, как примеры тех резких индивидуальных изменений, которые давно известны в биологии.

Преформизм утверждает лишь то, что 1) эти фенотипические изменения футляра, как бы резки они ни были, не имеют наследственного значения, т.-е. не играют заметной роли в эволюционном процессе, и 2) что эта индивидуальная изменчивость имеет свои резко определенные границы, наложенные наследственным генетическим составом данной особи.

Конкретно: преформизм вполне вмещает в себе понятие о влиянии социальной среды. Эта среда и исключительно она определяет судьбу двух наследственно вполне одинаково равноценных особей—одну из них она делает ожирелым дородным и авторитетным биржевым дельцом, а другую сгнаивает в чахотке за конторкой клерка. Но только наследственные данные сделают в пределах одной и той же семьи и, следовательно, в условиях одной и той же социальной среды одного сына—великим музыкантом, другого—ученым исследователем, не умеющим пропеть правильно ни одной мелодии, а третьего—психопатом, не способным ни к умственному, ни к физическому труду.

Далее, признавая факт резких и индивидуальных изменений в зависимости от влияния среды, преформист-биолог лишь утверждает, что эти изменения не передаются по наследству, и потому не представляют интереса для эволюционной теории. Если бы это было иначе, то следовало бы ожидать, что дети певцов должны были бы уже с первых месяцев рождения петь романсы, дети математиков—упражняться подобно знаменитым «мыслящим лошадям» Кралля—в извлечении корней, а педагогу пришлось бы совершенно забросить в огонь все азбуки за ненадобностью. И мы уже показали выше, что всякое стремление ламаркиста-врача доказать обратное привело бы его к невыгодным для него выводам: он должен был бы признать пролетариат низшей расой в силу того, что он не упражнялся ни в науке, ни в азбуке, ни физически и находился в условиях векового социального угнетения.

Теперь выступят на сцену «физкультурщики». Они считают, конечно, что я своей проповедью преформизма подрываю все устои и заповеди физкультуры. Ведь обещание атлетического потомства всем, кто занимается упражнением своих легких, сердца и мышц, является чуть ли не первым параграфом физкультурной пропаганды.

Мне очень жаль, что мои выводы должны разочаровать физкультурника в его чаяниях облагодетельствовать и внести серьезные поправки и дополнения в круг факторов, определяющих эволюцию человечества. Но, уже выступая не как биолог, а как социолог-общественник, я полагаю, что физкультурники должны быть достаточно удовлетворены той пользой, которую они приносят человеческому соматическому футляру, укрепляя индивидуально его легкие, мышцы и сердце и этого одного вполне достаточно, чтобы оправдать и развивать физкультурную пропаганду.

Кроме того, не будучи преформистом-догматиком, я считаю весьма вероятным, что, хотя упражнение мышц и легких матери и не наградит ребенка атлетическим сложением, или новыми генетическими свойствами, тем не менее, здоровье матери в момент беременности несомненно способствует рождению более здоровых и сильных детей. Факты исключительной слабости и недоношенности детей в годы экономической разрухи достаточно подтверждают это предположение.

Итак, предубеждение общественников против выводов преформизма проистекает из смешения понятий. Биолог интересуется в первую очередь судьбой вида и факторами, управляющими эволюцией, и он констатирует преобладающее значение эндогенных факторов в этом процессе. Общественник-врач и педагог интересуется особью или соматическим футляром и здесь он видит в первую очередь факты резкой индивидуальной изменчивости в зависимости от влияния среды. Поэтому все доводы такого рода, идущие от наблюдений врача или педагога, проходят мимо цели, тем более, что биолог-экспериментатор знает и имеет в своем распоряжении значительно более богатый и точно изученный материал и более убедительные примеры индивидуальных вариаций. Наоборот, общественник-врач и педагог обязан считаться с данными биологии в том смысле, что они налагают свои ограничения и на те возможности, которыми располагает данная особь.

У нас нет еще возможности выразить в математической формуле относительное значение наследственности и воспитания в формировании личности, но мы можем с большой уверенностью утверждать, что не считаться с фактом наследственных предрасположений и психо-физического профиля ребенка—это значит игнорировать директивные указания твердо установленных фактов науки.

Поэтому я считаю, что, напр., т. Залкинд, выдвинувший якобы революционную идею, предлагающую при изучении детской преступности и дефективности совершенно не считаться с наследственным предрасположением и считать все огульно результатом социальных неустройств, чрезмерно перегибает палку и упрощает вопрос, давая в руки нашим общим идеологическим врагам предлог и основание обвинять нас в недоучете об'ективных фактов науки.

Чтобы показать всю трудность и сложность разрешения затронутых нами проблем в их частном физиологическом анализе и необходимость внести ясность в содержание применяемых при этом понятий, остановимся еще на одной из групп доказательств, к каким часто прибегают ламаркисты-врачи.

Врачи убеждены в наследственной передаче инфекционных болезней и иммунитета к ним. Они указывают при этом на случаи большей устойчивости к таким социальным болезням, как туберкулез, детей, переболевших этой болезнью и, наоборот, ту невероятную смертность, которая постигает нецивилизованные народности, впервые подвергшиеся инфекции туберкулеза, сифилиса или какой-либо иной болезни. Им кажется несомненным, что эти факты могут быть об'яснены только с точки зрения наследования иммунитета.

Между тем те же факты могут быть так же легко об'яснены с точки зрения преформизма:

Всякая инфекция ведет к смерти именно ту категорию людей, которая по своей наследственной конституции обладает наименьшей силой сопротивления к данной болезни. Поэтому,—говорит неодарвинист,—среди цивилизованных народностей уже в отдаленном прошлом был произведен отбор более устойчивых рас и, наоборот, вымерла та часть человечества, которая оказалась конституционально менее приспособленной к борьбе с туберкулезом или сифилисом.

То, что произошло с нами много веков назад, то происходит на наших глазах среди тех народностей, куда впервые вместе с культурой проникают эти новые для них болезни: болезнь выкашивает все, что по своим наследственным задаткам не приспособлено ей противостоять. Если же отдельные особи устояли перед болезнью, то это об'ясняется их более сильным и устойчивым естественным иммунитетом, и этот иммунитет прямым путем должен быть передан потомству. Здесь нет места наследованию приобретенного иммунитета, но есть отбор и выживание тех особей, которые по своему врожденному генетическому составу более крепки в этой борьбе.

Как можно видеть из этого примера, один и тот же факт может быть истолкован в совершенно противоположных смыслах, но у нас пока нет прямого критерия, чтобы непосредственно убедиться, какое толкование более правильно.

Отсюда вывод, что этого рода аргументами, не доказывающими ничего, не нужно и вредно пользоваться, и врачи-общественники делают большую ошибку, когда они делают из подобных наблюдений окончательные выводы в ту или иную сторону: это лишь развращает видимостью научного доказательства, создает впечатление простоты там, где вопрос в действительности отличается исключительной сложностью. Непонятно, зачем было бы вести весь спор о наследовании приобретенных признаков, если бы он решался так непосредственно наблюдениями практического врача.

Как можно видеть из вышеизложенного, я не считаю невозможным признать наследование иммунитета, но с чисто методологической стороны необходимо возражать против такого упрощенного способа доказательств.

Другой пример. Среди многих врачей и в общежитии считается общепризнанной наследственность сифилиса или туберкулеза.

Но при этом совершенно не учитывается необходимость уточнить понятие наследственности и различать различное содержание, которое вкладывается в это понятие биологом и врачом.

В случае человека, беременная мать может передать свои признаки как непосредственно через яйцо, так и косвенно через плаценту зародышу, уже развившемуся из яйца. Только первое соответствует строго биологическому понятию наследования, второй же случай правильнее понимать как внутриутробное заражение от матери к плоду. С точки же зрения житейской и то и другое определяется словом «наследственность».

Поэтому-то вопрос о наследовании признаков так просто разрешался всегда в общежитии и потому так трудно было вейсманистам, шаг за шагом, отнимать позиции у ламаркистов.

Заслуга Вейсмана именно в том, что он и здесь показал необходимость строгого уточнения понятий.

Мы хорошо знаем, что дети туберкулезных или сифилитиков часто больны теми же болезнями. Но почему? Потому ли, что получили инфекцию через яйцо или сперму, или же потому, что уже в бытность зародышем или в момент родов ребенок получил инфекцию из организма матери? Но ведь согласно всем данным медицины вообще все заразные болезни могут иметь место лишь при наличии микроба болезни. Поэтому в чисто биологическом смысле слова вообще невозможно заболевание такой болезнью иначе, как путем занесения в организм заражающего микроба. Таким образом, по существу дела именно для этой категории фактов говорить о наследовании болезней иначе, чем через соприкосновение яйца или зародыша с организмом матери,— есть логическая нелепость.

Следовательно, во всех таких случаях мы можем говорить о влиянии болезней на яйцо и сперму зародыша не в узко ламаркистском смысле наследования болезни, но только в смысле влияния токсинов, циркулирующих в крови, на яйцо в направлениях, не совпадающих с их влиянием на соматический футляр. Повидимому, факт такого вредного влияния сифилитического токсина в смысле воспроизводства детей, наравне с алкоголизмом, является довольно достоверным фактом, и в этом смысле разобранные примеры являются доводами в пользу именно тех трактовок, которые даны мною.

Эти примеры, количество которых можно было бы значительно умножить, учат нас с большой осторожностью относиться к тем доводам, на которые до сих пор опирается общественник, не вникший по существу в сложные детали спорных проблем эволюции. Они говорят также о том, что наблюдения врача, основанные на изучении патологии человеческого организма, вообще не позволяют сделать никаких выводов: 1) потому что для решения вопросов, связанных с проблемою наследственности вообще, менее удобны животные с внутриутробным развитием. Если же ими пользоваться, то требуется принять также меры контроля, которые недостижимы на человеке; 2) потому что все эти проблемы сужены в настоящее время до узких чисто физиологических экспериментальных задач, где прежде всего требуется исключить все осложняющие побочные обстоятельства и найти яркие убедительные признаки и индикаторы наследственных свойств. Именно в этом мы видим преимущество Гайера и Смита, которые в цитолизе хрусталика нашли яркий факт, позволяющий однозначно решить вопрос в ту или иную сторону.

Мне кажется, что в этом же лежит значение и интерес предпринятых нами опытов на аксолотлях, где факт метаморфоза является специфическим и однозначным признаком накопления известного количества гормона.

Излюбленным приемом аргументации современных ламаркистов-марксистов является утверждение, якобы принципы преформизма непримиримы с марксистским мировоззрением. Но точно ли марксизм отвергает преформацию?

Марксизм,—говорят ламаркисты,—рассматривает исторический процесс, как результат материальных экономических отношений. Аналогично этому эволюционный процесс должен быть результатом лишь внешних сил, действующих извне.

Мне кажется, что здесь имеет место упрощенное и примитивное, а потому неправильное понимание принципов марксизма. Наоборот, фактически принцип преформизма, в том именно смысле этого понятия, в каком и я его прилагаю к эволюционному процессу, является краеугольным камнем концепций исторического материализма. В самом деле, что говорит нам марксистский анализ исторического процесса?—Состояние сегодняшнего дня есть результат его предшествующей истории. Вне этой истории мы не могли бы понять настоящее, ибо настоящее предопределено прошлым. Внутренняя динамика экономических и социальных противоречий определяет направление исторического процесса сперва в направлении накопления капиталистических сил, а затем по пути развертывания революционных сил крепнущего рабочего класса. Хотим ли мы этого или не хотим, экономические и производственные отношения сил таковы, что они неизбежно предрешают водворение социалистического строя.

Несмотря на все противодействие буржуазии, не взирая на подчеркиваемую буржуазными историками роль личности в истории, все эти внешние и случайные в данном контексте влияния могут оказать лишь временное отклонение исторической эволюции от ее прямого пути, так же точно, как в случае биологической эволюции внешняя среда вызывает ряд индивидуальных вариаций, не отражаясь на основных свойствах наследственной плазмы.

Только такое понимание преформизма исторического процесса позволяет нам спокойно смотреть вперед, не взирая на все временные поражения и отступления революции. Только оно позволяет нам рассматривать исторический процесс, как систему устойчивых, материально обусловленных закономерностей, позволяющих изучать и прошлое и настоящее человечества в их внутренней связи и преемственности. Наоборот, ламаркистский принцип, открывающий доступ всем внешним влияниям, привел бы нас к признанию, что, вопреки учению Маркса и Энгельса, достаточно злой воли и материальных усилий сильной группы капиталистов, чтобы повернуть реку истории вспять.

Я намеренно заострил здесь тезисы преформизма в приложении как к исторической, так и биологической эволюции, чтобы тем резче подчеркнуть всю эфемерность тех аргументов, которыми стремятся доказать, якобы принцип преформизма неизбежно предполагает введение в науку мистических и идеалистических факторов.

Как в марксизме, так и в биологии любой поворот исследовательской мысли полон опасностей не удержаться на ногах и попасть как в Сциллу схоластического и доведенного до крайности и нелепости эпигенеза, так и в Харибду не менее догматического и метафизически понимаемого преформизма.

Но нужно обладать лишь достаточно крепкой головой, чтобы не попасть ни в одну из этих крайностей. Мне думается, что если диалектическая философия Маркса сумела сочетать преформистское понимание исторического процесса с подлинными принципами последовательного материализма, то почему того же не может сделать биолог-преформист, если только мы будем помнить, что так называемые эндогенные силы в конечном итоге есть не что иное, как те же аккумулированные в течение веков влияния среды, в пределах которой зародилась и сама жизнь.

Заключение.

Итак, подведем итоги:

1. Затянувшиеся до сих пор споры ламаркизма и неодарвинизма являются схоластическим пережитком прошлых разногласий, основанных на одностороннем понимании всего об'ема проблемы эволюции.

2. Синтез ламаркистских и неодарвинистских концепций лежит в том, чтобы признать эволюционный процесс функцией как внутренних, так и внешних факторов с преобладанием в пользу первых, но при этом отнюдь не забывая, что эти эндогенные факторы не представляют собою какие-то особые принципиально отличные абсолютные сущности. Внутренние факторы в конечном счете есть не что иное, как аккумулированные во времени влияния той же материальной среды, из которой первоначально зародилась сама жизнь.

3. Эта точка зрения не является ни чисто эпигенетической, ни чисто преформистской, но с предпочтением в условиях данного обрезка времени в сторону преформистских факторов. Но она не исключает целиком и безоговорочно возможность влияния внешних факторов как в смысле наследования приобретенных признаков, и тем более в смысле общего принципа эффективного действия внешних факторов, какими по отношению к яйцу являются химические свойства крови, на наследственные массы зародышевой плазмы.

4. Однако эта концепция лишает проблему наследования приобретенных признаков ее трагичности и не ставит в зависимость от нее общую проблему согласования мировоззрения биолога-эволюциониста с принципами марксизма.

5. Не разделяя и не принимая остроты противопоставления эпигенезиса и преформизма, моя точка зрения больше и теснее примыкает к преформизму, поскольку этот последний значительно больше и прочнее обосновывается известными нам фактами биологии. Но принимаемый нами преформизм лишь формально совпадает с тем преформизмом, который дан, допустим, в формулировке автогенеза у Филипченко, поскольку у нас отсутствует и догматизация автогенных факторов, которая свойственна ученым, привыкшим мыслить понятиями формальной логики. Мой преформизм не исключает, но включает в себе понятие внешней

среды. Это преформизм, нашедший свои линии связи с эпигенетическими факторами.

6. Наше понимание концепции преформизма не только не противоречит марксистскому мировоззрению, но, наоборот, целиком и полностью совпадает с его основными положениями. Точка зрения преформизма лучше и полнее подтверждается фактами биологии, социологии и медицины, она оптимистичнее и выгоднее в общем и целом в своих социальных выводах, вопреки заблуждению многих марксистов-общественников.

7. Идеологическое разделение мировоззрений по линии: «материализм или идеализм» совершенно не совпадает с линией раздела двух борющихся в биологии лагерей—ламаркистов и неодарвинистов. Поэтому для марксизма нет никаких фактических оснований брать под свою защиту ту или иную сторону, но необходимо извлечь из каждого из них заключающиеся в них зерна истины и с одинаковой силой бороться с теми уклонами в сторону схоластической и метафизической догматизации основных положений биологии, в которых повинны как та, так и иная сторона. Но, в конце концов, это именно та позиция, которой придерживался как сам великий основатель эволюционной теории—Чарльз Дарвин, всегда чуждавшийся дискуссионной горячки, возникшей еще при его жизни, так и великий провозвестник теории Дарвина в России—Клементий Аркадьевич Тимирязев.

У нас нет никаких оснований уклоняться от прямого, указанного ими пути.

Биология человека[1]).

Вас. Слепков.

Происхождение человека от низших животных форм и поразительное сходство как в анатомическом устройстве, так и в физиологических процессах человеческого тела с устройством и процессами особенно высших типов животного царства—дает полное основание рассматривать человека, как животное, как биологический вид, Homo sapiens, занимающий определенное место в органической генеалогии. С этой стороны рассматривает и исследует человека биолог. Он изучает анатомическое и гистологическое строение человеческого организма, он анализирует механизм деятельности этого организма, устанавливает переходные ступени между ближайшими предками человека и им самим, оттеняя генетическую неразрывность Homo sapiens от животного царства. Биолог изучает человека так же, как он изучает всякого другого представителя органического мира, считая само собой разумеющейся мысль, что характер его биологической эволюции тождественен с характером эволюции любого другого животного. Подобно тому, как в процессе эволюции прочих органических форм от основного вида образуются разновидности, подобно этому биологом различается ряд человеческих разновидностей—рас, отличающихся друг от друга морфологическими и физиологическими признаками. В общем человек рассматривается, как особым образом специализированное животное, в отношении общебиологических свойств совершенно тождественное с другими животными.

В этом сугубо-принципиальном положении заключается одно из крупнейших достижений теоретической биологии по отношению к концепциям идеалистического естествознания, рассматривавшего человека, как «образ и подобие божие», как специальный акт творения.

Но является ли это положение исчерпывающим с точки зрения методологии диалектического материализма? Достаточно ли установить моменты единства и тождества в биологии человека и прочих животных и будет ли в этом заключаться полное познание человеческой биологии? Социология установила совершенно своеобразный характер развития человеческого общества, закономерность которого совершенно необ'яснима с био-

[1]) Настоящая статья является продолжением критической статьи «Наследственность и отбор у человека», помещенной в апрельском (4) номере «Под Знаменем Марксизма» за 1925 год.

логических точек зрения. Биологический, индивидуальный человек неотрывно вплетен в эту систему общественной жизни и развития, являясь суб'ектом этого развития, ибо именно он «воздействует на природу» в связи с другими индивидуумами и творит свою историю. Не даром Маркс говорит о «производстве индивидов, живущих в обществе»[1]). Благодаря этому условия жизни в биологической эволюции человека—совершенно своеобразны и отличны от условий жизни и развития прочих организмов. Но не является ли это указанием на своеобразие биологии и биологической эволюции человека? Не говорит ли это о том, что, на-ряду с безусловным единством жизни в природе, распространяющимся и на человека—в обще-биологических признаках человека и его биологической эволюции есть нечто специфическое, чего нет у других организмов? Не следует ли соответственным образом изменить методологическую установку при изучении биологии этого своеобразного существа? Ответить на эти вопросы в самой общей форме имеет целью настоящая статья.

Эктогенез в биологии.

Мы уже указали, что возможное своеобразие человеческой биологии может исходить из своеобразия среды его жизни. Это заставляет нас остановиться на вопросе о роли внешней среды в биологических процессах и органической эволюции.

Материалистически-научная биология твердо стоит на точке зрения обусловленности эволюционного процесса влияниями внешней среды. Эта точка зрения имеет в основе своей развитую еще в прошлом столетии Клод Бернаром мысль о том, что жизнь не может быть определена, как только внутренний процесс, а имеет в качестве необходимого компонента ряд явлений внешней среды. «Жизненный вихрь,—говорил Клод-Бернар,—не есть проявление единственно чего-то внутреннего в организме»... «Напротив, мы видим, что необходимым условием жизненных актов служат всегда физико-химические обстоятельства, совершенно определенные и способные или вызвать их проявление, или помешать ему» [2]). Реальные, живые организмы осуществляют все функции жизни не в пустом пространстве, а в определенных условиях влажности, химизма, давления и пр. А благодаря этому изолированный от внешней среды организм, рассматриваемый как замкнутая в себе система—безжизненная и беспочвенная абстракция. Известный автор теории «номогенеза»—Берг, определяя сущность жизни, пишет: «Жизнь есть внутренний процесс» [3]). Эта жизнь, про которую говорит Берг, не реальная, а вымышленная, «неживая» жизнь. Реальная жизнь, осуществляя беспрерывный обмен веществ и энергии со средой, испытывая на себе беспрерывный и необходимый процесс воздействия внешней среды—не может быть определена как только внутренний процесс.

Совершенно не случайно это «имманентное» понимание жизненного процесса служит для Берга отправной точкой, исхо-

[1]) К. Маркс, Введение к критике политической экономии.

[2]) К. Бернар, Определение жизни и задача физиологии, Сб. «Сущность жизни» под ред. Фаусека, стр. 141.

[3]) Берг, Теория эволюции,—«Academia», 1922 г.

ной методологической установкой в построении его «номогенетической» теории эволюции, как эволюции на основе внутренних тенденций к прогрессивному развитию, заложенных в организмах. Отбросив внешнюю среду при определении жизни, он логически сводит ее роль в эволюционном процессе к корректированию самопроизвольно совершающегося эволюционного процесса. Эволюция органического мира приобретает вид целевого процесса, разворачивания внутренних потенций. беспричинно-телеологической «прогрессии в усложнении организации» в эволюционных рядах, как это имело место у старейшего автогенетика Ламарка [1]).

В общем, мысленное изолирование жизненных процессов от внешней среды—является основанием для изолированного рассмотрения эволюционного процесса, как самопроизвольного автономного, телеологического процесса. Такова, в основном, концепция автогенеза (эндогенеза и номогенеза тож).

Наоборот, рассмотрение жизненного процесса в тесной связи с влияниями внешней среды служит реальной предпосылкой для противоположной, эктогенетической точки зрения в эволюционной теории. Признавая необходимость внешней среды в индивидуальном (онтогенетическом) развитии в качестве условия, эктогенетическая концепция отводит ей более существенную роль причины в процессе эволюции всего органического мира. Внешняя среда определяет ход органической эволюции. Если мы видим, что различные организмы тонко приспособлены к условиям жизни, например, к водной, воздушной или подземной жизни—стоя на точке зрения эктогенеза—мы об'ясняем эти приспособления свойствами окружающей среды—органической и неорганической. Ибо она, а не внутренние тенденции развития, формирует в процессе эволюции признаки организмов. Живущий в водоемах глубоких подземных пещер Каринтии и Далмации—протей (Proteus anguineus) с атрофированными глазами—наделен этим признаком совсем не потому, что таков внутренний закон его эволюции, а в силу длительного влияния соответствующей внешней среды. Опыты Каммерера с воспитанием молодых протеев на свету подтверждают эту мысль.

Влияние внешней среды на организмы нужно понимать двояко. Во-первых, под ее воздействием зарождаются изменения организмов—это существеннейшее и необходимейшее условие эволюционного процесса. Во-вторых, внешняя среда завершает эволюционный процесс, выступая в роли того судьи, который отбирает, отсеивает наиболее приспособленных, в процессе борьбы за существование. Как изменчивость, так и отбор—определяет эктогенетический характер эволюции, ибо и там и здесь внешняя среда, географический ландшафт играет определяющую роль.

Выдвигая изменчивость и отбор в качестве главных факторов эволюции, Дарвин неоднократно в своем «Происхождении видов» критикует тех, кто верит «во врожденный и необходимый закон развития», управляющий эволюцией организмов. Он является решительным сторонником эктогенеза в эволюции. В основ-

[1]) См. Философия зоологии, 1911 г., стр. 113—114.

ном вопросе, который в наше время определяет принадлежность в автогенезу или эктогенезу—в вопросе о наследственной изменчивости—Дарвин выдвигает внешнюю среду, как причину изменчивости. Для об'яснения изменчивости,—пишет он,—«нет никакого повода призывать вмешательство какой бы то ни было внутренней силы» [1]). «Если... внешние условия оказывают мало прямого влияния, что же, чорт возьми, определяет тогда каждое отдельное изменение»,—пишет он в другом месте [2]), отвечая на вопрос: «почему случаются изменения». Вслед за Дарвином мы считаем, что наследственные изменения родятся не самопроизвольно, а под воздействием внешней среды. Химизм, давление, влажность, температура и прочие факторы внешней среды находятся в состоянии постоянного движения, изменения, создавая для организма беспрерывно новые условия. Эти новые условия, при известной силе и длительности их действия, а также в зависимости от состояния организма в момент воздействия—вызывают наследственные изменения организмов. В одних случаях (по Жоффруа Сент-Илеру и Дарвину) внешние условия влияют на приспособленный к прежним условиям организм прямо, изменяя его в том или ином направлении. К такому типу изменений мы относим многочисленные случаи мутаций, опираясь на экспериментально вызванные влиянием внешних факторов мутации у Тоуэра и Иоллоса. В других случаях (по Ламарку и Дарвину) изменения вызываются не прямым воздействием измененной среды, а косвенным ее влиянием. Сначала, под влиянием среды, видоизменяется функция, деятельность органа, усиливаясь, или, наоборот, ослабляясь, и уже в зависимости от этого орган развивается, увеличивается или, наоборот, деградирует и атрофируется. К этой категории мы относим все случаи функциональных изменений, наследование которых не безуспешно доказывается в опытах Каммерера и других. В обоих случаях изменяемости в качестве решающего требования выдвигается необходимость признания наследования приобретенных признаков. В этой, спорной в области экспериментальной техники, проблеме, мы со всей решительностью становимся на сторону защитников наследования приобретенных признаков. Ибо перед каждым исследователем стоит альтернатива: либо признать наследование признаков, приобретаемых под влиянием внешней среды, либо стать на точку зрения автогенеза, беспричинного появления изменений и таким образом отказаться от об'яснения эволюционного процесса. На этом вопросе в наше время ясно обостряются споры между телеологией (автогенезом) и причинным об'яснением в биологии. По нашему убеждению признание наследования приобретенных признаков является краеугольным камнем материалистической биологии. Экспериментально добытые многими исследователями (Тоуэр, Фишер, Каммерер, Иоллос, Гюйер, Гриффит и др.) данные служат, в общем, прочным фактическим основанием для этого взгляда.

[1]) Ч. Дарвин, Происхождение видов,—Собр. соч., т. I, стр. 235.

[2]) Ч. Дарвин, Собр. соч., т. VIII: «Приложение», переписка, стр. 39.

Стоя на точке зрения эктогенеза в эволюционной теории, мы не можем не стоять на такой же точке зрения в толковании биологической эволюции человека. Допустить автогенез, беспричинное эволюционное развитие у человека—значит допустить его и для всего органического мира, ибо человек все-таки животное, организм и, как таковой, подчиняется общему закону эктогенетической эволюции. Как и другие организмы, он живет не в пустом пространстве, а органически «сращен» с определенной средой, как и прочие животные, он находится в беспрерывном текучем состоянии обмена и взаимодействия с ней, изменяясь под ее воздействием. Задача исследования человеческой биологии должна заключаться не только в анализе чисто-внутреннего механизма его жизнедеятельности, но и в рассмотрении его взаимодействия со средой и влияния этой последней на ход его эволюционного развития. Но что собой представляет среда человеческой жизни? Отличается ли она от среды жизни других организмов и если отличается, то не создает ли это своеобразия в характере его эволюции? К вопросу о среде человека и ее влиянии на его организм мы сейчас и перейдем.

Среда человека.

Человек—животное общественное. Всю жизнь с первого дня своего существования он живет в условиях социального окружения, сам, так или иначе, плотно вплетаясь в систему общественного организма, как составная его часть. «Человек,—пишет Маркс,—есть в буквальном смысле слова zoon politicon, не только общественное животное, но животное, которое только в обществе и может обособляться» [1]). Он тесно связан хозяйственными и идеологическими связями с другими людьми, постоянно общаясь с ними или с продуктами их материального и идеологического производства. Длительное эволюционное развитие создало из него общественное существо, в силу необходимости связанное с себе подобными и обособленно существующее только в системе общественной жизни. Если нас интересует биологический, индивидуальный человек, то мы должны не забывать, что этот индивидуальный человек—индивидуален относительно, что трудится он, изменяет природу и удовлетворяет свои потребности не как Робинзон, а в условиях общественного труда, общественного воздействия на природу и общественного приспособления ее продуктов к человеческим потребностям. Робинзон—индивидуум вне общества—не может служить предметом исследования просто потому, что он является не реальной фигурой. Вырванный искусственно из системы общественной жизни, общественного производства—он превращается в лишенную фантазии химеру восемнадцатого века» (Маркс). Он вырывается из системы, органическую часть которой он составляет со всеми своими свойствами. П. Л. Лавров в предисловии к «Антропологии» Тейлора хорошо выражает эту мысль следующими словами: «Человек, как отдельная, самостоятельная особь, собственно, вовсе не существует. Подобно многим обще-

[1]) К. Маркс, Введение к критике полит. экономии,—сб. «Основные проблемы политической экономии», ГИЗ, 1922 г.

ственным животным в нем ни биологические, ни психологические процессы не могут совершаться вне общежития» [1]). Конечно, не «подобно многим общественным животным», а много сильнее и законченнее, но эти общественные связи кладут свой отпечаток на индивидуального человека. Благодаря этому рассуждать о человеке, как биологической особи, исследуя его, как изолированного индивидуума—значит исследовать его не полно, однобоко, абстрактно. Человек должен рассматриваться в реальной связи и взаимодействии с окружающей его социальной средой. Эта социальная среда, социальное окружение—первое обстоятельство, характеризующее нам среду жизни биологического человека в ее своеобразии.

Но и человеческое общество в целом живет в определенной материальной среде, географической среде, которая дает человеку предметы и силы, приспособляемые им, в процессе производства, к своим потребностям. Эта географическая среда совершенно адэкватна тому, что у биологов обозначается, как «географический ландшафт». Это те же естественные условия—почвенные, температурные, гидрографические и пр. Естественная среда, определяя в той или иной степени характер развития общественного производства, а через него и всего общественного развития—безусловно влияет и на индивидуального, биологического человека. Она является средою его жизни. Человек дышит воздухом этой среды, испытывает на себе колебания давления и влажности, подвергается действию температурных изменений и пр. Мы можем полагать, что даже в современных общественных условиях изменяющее действие этой географической среды на организм людей может быть отдифференцировано, не говоря уже о том, что доисторические признаки и различия в человечестве,—расовые различия и признаки должны быть отнесены именно за счет географической среды, за счет ее различий и изменений.

Но прямое влияние географической среды на человеческий организм по мере развития производительных сил, по мере овладения человеком силами природы—все в большей и большей степени уменьшается. Общественный человек перерабатывает предметы естественной среды, изменяя их соответственно своим потребностям, он подчиняет себе неорганические и органические силы природы, направляя их в желательное русло. Он не пассивно изменяется под воздействием природной среды, как это преимущественно имеет место в растительном и животном мире, а активно приспособляет среду к своим потребностям. Он создает из веществ и сил естественной среды—орудия труда, разнообразные инструменты, средства потребления—дома, одежду, отопление, освещение, пищу и пр.,—позволяющие ему регулировать процесс воздействия на него естественных условий и защищаться от разрушительных, вредных и неприятных влияний этих условий. Все естественные, природные влияния достигают до человека в сильно измененном виде, или не достигают совсем. Перенесенный из умеренного климата в климат северных стран, он, в отличие от прочих животных, мало испытывает на себе прямое влияние этого изменения. Человек строит дом, отопляет

[1]) П. Л. Лавров, Предисловие к «Антропологии» Тейлора, 1908 г., СПБ.

его, закрывается теплыми одеждами и пр. и этим избегает влияний сильной перемены в условиях жизни. Создавая мощные плотины, спасающие от напора воды, осушая болота, зачастую определяющие тип географического ландшафта, оживляя мертвую пустыню, истребляя при помощи огнестрельного оружия хищных зверей—в общем, изучая природу, овладевая ею и изменяя ее—человек эмансипируется от прямого влияния географической среды. Мы можем сказать, что географический ландшафт действует на индивидуального человека очень слабо, почти не действует в. противоположность прочему органическому миру. Роль географической среды в человеческой эволюции, благодаря этому, совершенно иная. «Естественная среда,—пишет Плеханов,—составляет важный фактор в историческом развитии человечества, не благодаря своему влиянию на человеческую природу, но благодаря своему влиянию на развитие производительных сил»[1]). Нас интересуют как раз факторы, влияющие на «человеческую природу», определяющие ее изменения и ее эволюцию. Каковы эти факторы? Общественный человек перерабатывает вещества и энергии природы, приспособляя их к своим потребностям. Безразличные стихийные силы природы он заставляет служить определенным целям—сохранения и продолжения человеческого рода. Сами по себе эти стихийные силы обслуживают только животный и растительный миры, человек же не берет их самих по себе, а создает из них, на их же собственной основе, качественно-новые явления. Он создает из них, прежде всего, орудия труда, орудия воздействия на природу и, что очень важно в смысле его человеческой эволюции, орудия производства, средств производства. Средства жизни, получаемые растениями и животными в готовом виде от самой природы, искусственно перерабатываются в процессе общественного производства и достигают своего конечного назначения в совершенно измененном виде. Так, дома со всем их сложным оборудованием, одежда, пища, прошедшая стадию предварительной переработки и изменившая свои естественные качества, искусственное отопление и освещение и многое другое из того, что непосредственно удовлетворяет потребности человека,—все это является специфическими продуктами общественного труда. Самые разнообразные силы и материи, прошедшие процесс общественной обработки и качественно изменившиеся в орудия труда и средства жизни—вот, что окружает человека в его повседневной жизни и является средой, в которой он вращается. Это не естественная среда, это среда искусственная, созданная им самим. Она характеризует специфическое отличие человека от прочего органического мира. Зачатки в построении искусственной среды, в переработке сил и материи географического ландшафта, которые можно наблюдать у высших животных, птиц и некоторых млекопитающих (напр., у бобров), являются только зачатком, у человека же искусственная среда становится отличительным его признаком.

Если мы вдумаемся в вопрос о том, что собою представляет эта искусственная среда, то мы должны констатировать, что это

[1]) Плеханов, Соч., т. VIII, Очерки по истории материализма, ГИЗ.

те же вещества и силы природы естественной, но только принявшие новую качественную окраску после их предварительной переработки. Орудия труда, дом, пища и пр. являются инобытием обычных факторов географической среды—температурных, химических, механических, световых, пищевых и пр. Это элементы естественной среды, превращенные трудовым процессом в элементы среды искусственной.

В процессе исторического развития человек все больше и больше эмансипируется от непосредственного влияния географического ландшафта, овладевает его веществами и энергиями, перерабатывает их и все больше и больше «обрастает» средой искусственной. Эта последняя начинает играть роль, которую в органической эволюции играет естественная среда. «Искусственная среда,—говорит Лафарг,—продолжает дело природы: она изменяет естественного человека, совершенствует одни его свойства, подавляет другие и создает социального человека» [1]. «Та часть социальной среды, в которой протекает деятельность человека,—пишет он в другом месте,—дает ему физическое, интеллектуальное и моральное воспитание» [2]. Искусственная среда определяет, формирует человеческую природу, подобно естественной среде в животном и растительном мире. Если на животных постоянное влияние оказывают факторы природной обстановки, в виде температуры, пищи, освещения и пр., то на человека все эти факторы влияют, приняв новые качества искусственной среды. Искусственной средой и ее влияниями определяется наследственная изменяемость человека, ход его органической эволюции. Являясь специфическим порождением общественно-трудовой жизни людей, искусственная среда еще больше закрепляет и материализует, так сказать, эти связи, делая из человека «в буквальном смысле слова zoon politicon», социального человека, своеобразный даже в биологическом отношении вид. Все его жизненные процессы протекают в полной связи с влияниями искусственной, социальной среды и изменяются вместе с изменениями этой последней. Его биологическая эволюция имеет тоже причинно-обусловленный, эктогенетический характер. Но только этот процесс отличается от животно-растительной эволюции тем, что причинно обусловливается он не географической средой, а средой социальной, ее влияниями и изменениями. В каком виде осуществляется влияние искусственной среды на организм человека—вот следующий вопрос, на котором мы должны остановиться.

Влияние среды на человека.

Прежде чем остановиться на вопросе об органических изменениях, которые вызывает в человеке его своеобразная среда—нужно отдифференцировать другой, преимущественный тип изменений, свойственный человеку. Мы имеем в виду изменения техники. На этом моменте необходимо остановиться потому, что в марксистской литературе широко распространен взгляд, что вся

[1] П. Лафарг. Статья в сб. Семковского «Истор. мат.», стр. 133—156, 1919 г.

[2] П. Лафарг, Исторический материализм Маркса,—там же.

изменчивость человека представляет собою изменение «искусственных органов» технических орудий. Органические изменения, интересные для биолога, считаются слишком несущественными и недостойными того, чтобы на них останавливаться. Мы, конечно, признаем, что изменения техники есть первенствующий и характернейший момент человеческой эволюции. Человек приспособляется к естественной среде не изменением своих органов тела, а изменением тех технических приемов, при помощи которых он эту среду эксплоатирует. Ясно также, что эти технические изменения представляют собою, с известной точки зрения, «продолжение» обычной биологической изменяемости. Рычаг, например, молот, зубчатка, токарный станок и пр. являются продолжением наших органов движения—рук. «Человек,—заявляет Северцов,—начиная с очень ранней стадии своей эволюции, начинает замещать новые органы новыми орудиями» [1]). Точно так же такие инструменты, как микроскоп, терм метр, микрометр, весы и пр., как выражается О. Винер, «с точки зрения истории развития представляют только естественное развитие или расширение наших органов чувств» [2]). Но признание главенствующего значения в человеческой эволюции технических изменений и их «биологического», приспособительного значения—не исключает другого, интересующего нас, органического, биологического типа изменяемости. Человек эволюционирует не только технически, но и биологически, как мы уже отметили, под влиянием его искусственной, социальной среды. Человеческая природа изменяется беспрерывно за время человеческой истории, как в биологическом, так и психическом отношении, и эти изменения должны быть изучены, как порождения той своеобразной среды, в которой человек живет. Для животного и растительного мира свойственны, как мы уже установили, два типа изменяемости—во-первых, под прямым влиянием среды и, во-вторых, изменения функциональные, порожденные активным воздействием организма на внешнюю среду. То же самое мы должны допустить для человека. «Материальные жизненные условия,—пишет в «Очерках по женскому вопросу» Бебель,—сильно отражаются в характерных свойствах каждого живого существа; оно принуждено приспособляться к существующим условиям жизни, и они, в конце концов, становятся его природой. Но что в природе относится ко всем живым существам, то относится и к человеку; человек не стоит вне законов природы; с физиологической точки зрения он наивысшее развитое живое существо» [3]). Все жизненные функции человеческого организма совершаются, как и у других организмов, в теснейшей связи и взаимодействии с факторами его искусственной среды. Как и любое другое животное—он подвержен изменяющим влияниям этой среды, особенно когда эти изменяющие влияния носят не случайный, а длительный характер. Известно, что условия общественной жизни в сильной степени изменчивы во времени и разнообразны для различных общественных групп. Благодаря этому и изменяющее

[1]) Северцев, Эволюция и психика, 1922 г., стр. 52.

[2]) О. Винер, Расширение области наших чувственных восприятий,—сб. «Философия науки», ч. I. 1923 г., стр. 13.

[3]) Бебель, Очерки по женскому вопросу, кн-во Мягкова, М. 1905 г., стр. 189.

влияние среды на организм человека, на его природу—значительно. «Человек—продукт времени и условий, в которых он живет»,—пишет тот же Бебель в той же книге [1]).

Изменяющиеся условия жизни, условия питания, жилищные, механические и пр. действуют на человеческую природу прямо, вызывая ее преобразования. Здесь мы имеем повторение картины действия естественной среды, но только ее роль выполняется факторами искусственной среды, созданной человеческим обществом.

Но основной вид человеческой изменяемости следует видеть не в этом. Человек резко выделяется из прочего органического мира своим исключительно-активным отношением к природе. Он не только и не столько испытывает на себе ее прямое влияние, сколько сам воздействует на нее, изменяя и перерабатывая ее. Воздействуя на природу вне его,—говорит Маркс,—человек изменяет свою собственную природу. Совершая ряд самых разнообразных действий в трудовом процессе, он претерпевает ряд функциональных изменений, нарушающих его физиологическое равновесие. Орудуя сохой, крестьянин, из года в год, из поколения в поколение совершает ряд разнообразных действий, приводящих в действие определенные группы мышц и определенные нервные механизмы. Все это не пропадает бесследно для поколений и в некоторой степени фиксируется наследственно, особенно в части наиболее пластичных нервных механизмов. То же можно сказать и о других типах производственного процесса. Человек изменяется в соответствии с характером тех трудовых процессов, которые он совершает, переделывая природу, овладевая ею. В этой функциональной изменяемости мы склонны видеть преобладающий вид изменчивости человека, в противоположность прочему органическому миру, в котором прямое влияние внешней среды занимает не меньшее место. Не даром Плеханов в своих «Очерках» признает изменения, порожденные в процессе воздействия на внешнюю природу, главным критерием в понимании эволюции человеческой природы. «Человеческая природа,—пишет он,—имеет историю, и для того, чтобы понять эту историю, надо понять, как происходит воздействие человека на природу вне его» [2]).

Таким образом влияние искусственной среды на человека приводит, с одной стороны, к прямым изменениям человеческого организма, а с другой стороны, к изменениям функциональным, среди которых особое место занимает эволюция тончайших нервных механизмов. Перейдем сейчас к фактической стороне обсуждаемого нами вопроса.

Морфологические изменения.

Прежде всего остановимся на данных о влиянии среды человека на его морфологические признаки, вызывающие как прямые, так и функциональные изменения его органов. Факт появления морфологических изменений за время человеческой истории в организме человека не может подлежат сомнению. Кроме расовых различий, являющих собою продукт доисторического раз-

[1]) Там же, стр. 453.

[2]) Плеханов, Сочин., т. VIII: «Очерки по истории матер.», ПКЗ стр. 147.

вития, необходимо признать различия, выработавшиеся за время истории под влиянием социальной среды.

В предисловии к «Антропологии» Тейлора П. Лавров выражает эту мысль следующими словами: «Слово «разновидность» (по отношению к человеку. *В. С.*) охватывает не только расовые различия монгола от негра и индуса, но и выработавшиеся в течение истории различия англичанина от француза и немца, китайца от калмыка и еще более тонкое антропологическое различие горнорабочего всех стран от лавочника, от профессора, даже от портного». Все эти различия, факт существования которых отрицать весьма трудно, появились не без участия социальных факторов, в виде условий питания, жизни и труда...

В своей «Антропологии» Тейлор сообщает, что «в новейшее время можно указать нечто вроде расового изменения, происходящего под влиянием новых условий жизни». Он приводит, как пример, измерения д-ра Беддо, показывающие, что в Англии фабричная, городская жизнь выработала население, которая имеет рост на дюйм или два меньше против роста, пришедших из деревень [1]).

Другой антрополог Деникер в своей книге «Человеческие расы» сообщает, что «в населении, состоящем из смешения нескольких рас, высшие классы, пользующиеся хорошим питанием, обладают более высоким ростом, чем простонародье» [2]). Так, в Англии средниий рост мужчин, занимающихся свободной профессией=1.757 мм., а рабочих=1.705 мм. Если оговорить возможное здесь вмешательство расового момента, то различия следует отнести за счет различных условий жизни обеих групп профессий, в первую голову, условий питания.

О таком же явлении говорят данные Диканского о различиях в среднем росте и весе детей имущих классов и детей рабочих родителей. В качестве об'екта Диканский взял измерения 6-летних девочек гор. Мюнхена. Полученные им результаты таковы [2]):

	Вес 6-летних девочек	Рост 6-летних девочек.
Дети рабочих	18 кгл.	108 см.
Дети имущих	19,5 „	112 „

Трудно об'яснить эти цифры чем-либо кроме социальных условий жизни, в виде питания, жилищных условий и пр. Для подтверждения этой мысли приводим другие цифры, полученные Гольдфельд, характеризующие рост и вес детей различных социальных групп. Цифры таковы [4]): дети чернорабочих имеют вес от 2.975 до 3.170,8 гр., рост от 49,5 до 49,9 см.; дети учителей имеют вес от 3.550 до 3.693,7 гр. и рост от 50,5 до 51,6 см. Как показывают эти цифры, разница в биологических признаках—росте и весе у детей из разной социальной среды—весьма существенна. Что в данном случае имеют место и условия питания—за это говорит ряд исследований, произведенных по

[1]) Тейлор, Антропология, Спб. 1908 г, стр. 87.

[2]) Деникер, Человеческие расы, изд. Большакова. Спб, 1902 г., стр. 42—43.

[3]) Из Николаева, Влияние соц. факторов на физ. разв. детей, ГИУ, 1925 г.

[4]) Там же.

вопросу о влиянии голодания на биологические признаки людей. Давидсон в 1919 году в Берлине обнаружил у детей падение [1]):

	Роста	Веса
у мальчиков на	4,9%	12,6%
у девочек на	6,9%	16,8%

сравнительно с ростом и весом довоенного времени (1913 г.). У Л. Николаева в его интересной книжке «Влияние социальных факторов на физическое развитие детей» приведены цифры, освещающие другой вид воздействия среды на человеческие организмы. Им приведены данные о влиянии условий труда, в которых находится мать, на вес рождающихся детей. Матери разбиты на 4 группы.

Средний вес новорожденных у этих 4-х групп матерей таков:

I гр.—исполняли тяжелую работу в период беременности	3.081,71 гр.
II гр.—работали, но не тяжелую работу	3.180,00 гр.
III гр.—в период беременности отдыхали, хотя до беременности несли тяжелую работу	3.319,71 гр.
IV гр.—не несли тяжелого труда никогда, также не работали в период беременности	3.318,17 гр.

Мы видим, что социально-экономическое положение родительницы значительно влияет на физические признаки детей. Различное социальное положение, при наличии совершенно одинаковых условий географических, вызывает существенные различия в органических признаках. Таким же образом изменяются человеческие организмы и во времени, с историческими переменами в укладе общественной жизни и искусственной среды. Вишневский и Гагаева обработали данные о росте призывного населения Бунинского уезда Симбирской губ. за 1915 год и констатировали повышение роста по сравнению с данными 1874 года. По данным Анучина, средний рост призывников Бунинского уезда в 1874—83 г.г. равнялся 1.723 мм. Вишневский нашел рост в 1915 году равным 1.737 мм. Таким образом за время с 1874—83 г.г. по 1915 г.—рост призывного возраста увеличился на 14 мм. [2]).

Данные свои Вишневский и Гагаева об'ясняют тем, что со времени 1874—83 г.г. ряд мероприятий в области медицины, агрономии, санитарии и народного образования отразился на общих условиях быта и жизни населения, вызвав повышение роста.

Точно также по данным Мейнгайзена изменился рост и окружность груди жителей Франкфурта на Одере с 1892 г. по 1912 г.: рост увеличился в среднем на 1,2 см., окружность груди на 1,0 см. На повышение роста в течение 50 лет указывают и цифры Болька.

Общий вывод, который можно сделать из приведенного фактического материала тот, что искусственная среда обще-

[1]) Из Русского Антропологического журнала, т. 12, кн. 1—2, 1922 г. Реферат Бунака «К антропометрической характеристике влияния голодания на физическое развитие».

[2]) Вишневский и Гагаева, Рост призывного населения Бунинского уезда,—Русск. Антропол. журнал, том 13, вып. 3—4, 1924 г.

ственного организма, условия жилищные, питания, труда и пр. вызывают изменения в человеческом организме. Наблюдения сделаны на наиболее легко измеримых и наблюдаемых признаках—росте, весе, окружности груди, но общий вывод сделать они позволяют. Безусловно, это влияние имеет место и в отношении других признаков, хотя данных в этом отношении мало. Напр., Деникер сообщает, что в Южной Италии у девушек презираемой касты геллуваров, на долю которых выпадает плохое питание и вообще плохие условия жизни, менструации появляются лишь к 16 годам, тогда как у девушек обеспеченных групп менструация начинается раньше. Далее он сообщает, что возможно вследствие тесной обуви—мизинцы на ногах у представителей господствующих рас начинают атрофироваться и вместо трех суставов образуют два. Как сообщает Деникер, Пфанцер наблюдал такое сокращение числа суставов в 30 случаях из 111. Точно также вернее всего под действием обуви теряет способность совершать самостоятельные движения большой палец ноги. «У людей, ходящих босыми ногами,—сообщает Тейлор,—большой палец ноги не так беспомощен». Дикий австралиец подбирает босой ногой свое копье, индусский портной держит ею материю во время шитья на корточках и пр.

За счет влияния социальной среды должны быть отнесены нами все те признаки биологического «вырождения» человека, про которые так много пишут евгенисты. Сюда относятся факты ухудшения в состоянии легких, зубов, женского полового аппарата, недостаточная иммунность против инфекционных заболеваний и пр. Ненормальные условия жизни, рожденные развитием безработицы и анти-санитарных условий на одном полюсе общественной жизни, и рост тепличных условий, разврата и морального загнивания на другом полюсе—служат истинной причиной ухудшений в биологическом состоянии человечества. Константность, наследственность слабой конституции у людей не служит опровержением этой мысли, ибо только метафизики могут противопоставлять наследственность признака влиянию на него внешней среды. Внешняя среда, с нашей точки зрения, вызывает наследственные признаки и наследственные признаки вызываются только внешней средой.

К категории биологических различий, порожденных социальной средой, относятся также отчасти различия между мужчиной и женщиной. Вопрос этот достаточно хорошо разработан Бебелем в его книге «Женщина и социализм». «В первобытное время,—пишет Бебель,—физическое и духовное различие между мужчиной и женщиной было гораздо незначительнее, чем в наше время»[1]). «Это усиление различия,—пишет он ниже,—вполне об'яснимо, если принять во внимание влияние социального развития на женщину у всех культурных народов за последние 1.000—1.500 лет»[2]). К социальным условиям, приводящим к усилению различия, следует отнести неравенство мужчины и женщины в общественно-трудовом процессе, различия в культурном уровне, противоположное положение в бытовом укладе и

[1]) Бебель, Очерки по женскому вопросу, стр. 46.
[2]) Там же, стр. 303.

пр. Женщина занимала и занимает в подавляющем большинстве стран земного шара совершенно особое положение по всему фронту общественной жизни, являясь угнетенной, приниженной половиной человечества. На этом основано усугубление различий в биологических признаках мужчины и женщины, на этой основе появление биологического типа женщины-куклы, про которую Бебель сказал, что является сомнительным, «можно ли ее причислять к млекопитающим» или противоположного типа женщины—автоматического производителя детей. Социальная среда формирует человека, подавляя в нем одни наследственные свойства, способствуя развитию других и кроме этого обусловливая появление новых признаков. Ее действие, как мы не раз отмечали, двояко—прямое и косвенное, приводящее к функциональным изменениям. Первый вид изменений достаточно проиллюстрирован нами выше. Сейчас перейдем к изменениям функционального типа. Функциональные изменения рождаются у человека преимущественно в процессе труда. Это дало основание Энгельсу утверждать: «в известном смысле мы должны сказать: труд создал самого человека» [1]). «Труд представляет собой первое, основное условие всей человеческой жизни», а ничто не заставляет человека совершать так много движений, так сильно функционально напрягаться, как трудовой процесс. Благодаря этому в процессе труда рождаются изменения человеческого организма. Особенно сильно это сказалось на развитии руки, этом чудодейственном органе, выведшем человека из животного царства. «Рука,—пишет Энгельс,—не только орган труда, но и продукт его» [2]). Только благодаря труду, она превратилась в мощное орудие овладения природой, в универсальное орудие труда. Она является отличительным признаком Homo Sapiens. «Рука стоящего на самой низкой ступени развития дикаря может выполнять сотню таких действий, которых не в состоянии перенять ни одна обезьянья рука»,—заявляет Энгельс в той же работе. Но в какой форме мы должны представлять себе роль труда в развитии человеческой руки? Широко распространено представление, что человеческая рука изменилась, по сравнению со своими обезьяноподобными предками, в морфологическом отношении. Но это едва ли правильно. Исследования Гёксли над анатомией обезьян установили, что передние конечности гориллы очень сходны в морфологическом отношении с руками человека. «Кость в кость,—пишет он в своем знаменитом «Положении человека»,—и мышца в мышцу расположены у них (горилл. *В. С.*) точно так же, как и у человека, или с такими незначительными уклонениями, какие встречаются и у самого человека в виде вариаций» [3]). Морфологически рука человека совпадает с передними конечностями обезьян и, нужно полагать, с передними конечностями доисторических предков человека. Следовательно, исключительные качества руки следует об'яснять другими причинами. Л. Нуаре по этому поводу пишет: «Высокая важность руки, как органа разума, зависит от ее преимущественной ак-

---

[1]) Энгельс, Роль труда,—«Гомельск. Рабочий», 1924 г.

[2]) Там же.

[3]) Гексли, Положение человека в ряду органических существ, СПБ, 1864 г., стр. 101.

тивности»[1]). Нам кажется, что развитие этой активности сделало руку отличительным признаком человека. Мы можем говорить об усложнении работоспособности руки, ее большой подвижности только в смысле рефлекторном. Оставшись почти неизменной морфологически, она сильно изменилась в смысле способности совершать разнообразные и сложные движения. Ее развитие находится в тесной связи с развитием нервной системы. Ее богатые способности являются «проекцией» с богатых потенций центральной нервной системы. Следует полагать, что именно в процессе труда закреплялись и фиксировались рефлекторные связи, обеспечивающие руке ее исключительную работоспособность и подвижность. Воздействуя при помощи рук на природу, человек изменял их природу, в форме приобретения новых нервных связей, новых рефлексов.

Но трудовой процесс вызывает изменения и других органов тела. Дарвин в «Происхождении человека» считает вполне «вероятным» об'яснение, данное Ренгером тому, что у индейцев-пайагвасов тонкие ноги и толстые руки. Ренгер считает, что причиной является то, что пайагвасы из поколения в поколение проводят почти всю жизнь в лодках, не упражняя нижних конечностей и, наоборот, упряжняя верхние. Дарвин допускает, что это изменение наследственно закрепилось[2]). На человеке остаются следы его профессиональной трудовой деятельности, особенно, если она повторяется однообразно в ряде поколений. «Часовщики и граверы,—пишет там же Дарвин,—склонны делаться близорукими, а люди, проводящие значительную часть жизни на воздухе, особенно дикие, обыкновенно бывают дальнозорки»[3]). Органы чувств современного человека, вообще говоря, развиты не очень тонко. Приобретенная, благодаря Павловским методам условных рефлексов, возможность об'ективно оценивать степень остроты органов чувств позволила установить, что, напр., собака различает очень высокие тона, доходящие до 80—90 тысяч колебаний в секунду, тогда как предел человеческого слуха есть 40—50 тыс. колебаний в сек. Если у собаки выработан условный рефлекс на 100 ударов метронома в секунду, то она отличает как 96, так и 104 удара даже через сутки. Наше ухо, конечно, такого различия не усвоит, хотя бы через расстояние в одну минуту. В общем, острота наших органов чувств очень невысока и компенсируется она изобретением соответствующих инструментов. Неразвитость органов чувств есть результат своеобразных условий жизни человека, устраняющих, в противоположность другим животным, необходимость приспособляться к ним прогрессивным изменением этих органов. Мало того, органы чувств у людей, занимающихся некоторыми профессиями, притупляются, деградируют в самом трудовом процессе. По типу функциональных изменений, вернее всего, эволюционировал и такой важный орган человека, как гортань. Способная сейчас производить большое количество звуков с бесчисленными множествами интонаций—она была такой, конечно, не всегда. Дарвин в «Происхождении человека» пишет: «По мере того, как голос более и более употреблялся в

[1]) Л. Нуаре. Из сборника «Роль орудия в развитии человека», «Прибой», 1925 г.
[2]) Дарвин, Происхождение человека и половой отбор.
[3]) Там же.

дело, голосовые органы должны были развиваться и совершенствоваться по закону наследования результатов упражнений. Язык больше, чем что-либо другое, представляет собою продукт социального развития. Общественное развитие стимулировало развитие речи и, в конечном счете, голосовых органов. Таким образом эволюция этих последних так же обусловлена специфическими качествами среды человека, общественными связями, в системе которых человек только и существует. На этом вопрос о морфологической изменяемости человека мы и закончим. Вообще говоря, у человека едва ли есть хоть один орган, который остался бы неизменным с доисторических времен, и едва ли эти изменения вызывались чем-либо помимо социальной среды. Но вопрос этот с фактической стороны разработан весьма мало, так что добавить к вышеизложенному новый фактический материал мы не можем. Перед тем как перейти к вопросу об изменениях психики—мы остановимся на эволюционном значении всех тех морфологических изменений, о которых мы говорили выше. Являются ли изменения в весе, росте, форме органов и пр. изменениями только индивидуальными, или они способны передаваться по наследству и, следовательно, могут стать расовыми? Мы стоим на той точке зрения, что все изменения порождаются влияниями внешней среды, в том числе и все наследственные. Для того, чтобы изменение стало наследственным—нужно, чтобы воздействие среды, а при функциональном изменении—соответствующая деятельность—носили не временный и не случайный характер, а были длительным и неизменным из поколения в поколение. При этом условии косная зародышевая плазма только и фиксирует в себе наследственно соответствующее изменение. При такой постановке вопроса нет нужды в непроходимой метафизической границе между ненаследственным и наследственным изменением, между индивидуальным и видовым развитием. Всякое наследственное изменение при известных условиях может стать наследственным и, следовательно, всякое индивидуальное преобразование может стать видовым. Таким образом, во всех приведенных нами случаях морфологической изменяемости человека вполне возможно превращение этих изменений в наследственно-зафиксированные, видовые.

Психические изменения.

Ничто так не характеризует и не выделяет человека из ряда органических существ, как исключительно развитой мыслительный аппарат, бесконечная способность к ассоциациям, к образованию условных связей. Центр его приспособительной эволюции заключается в изменении его поведения и рефлекторного аппарата. Северцев в «Эволюции и психике» совершенно правильно пишет: «К весьма значительным с биологической точки зрения изменениям (среды. *В. С.*) человек приспособляется только изменением своего поведения и своих привычек» [1]). Можно утверждать, что этот вид изменения только поведения и привычек, без преобразования морфологии органов—играет в эволюции чело-

[1]) Северцев, Эволюция и психика, изд. Сабашниковых, 1922 г., стр. 51.

века более существенную роль, чем морфологические изменения. Развивается, нарастает и усложняется общественная психология человечества, а следом за нею, под ее влиянием, развиваются и усложняются нервно-психические способности отдельных людей. Эволюция человека есть история прогрессивного развития его психических свойств в первую голову. Социальная среда и здесь выступает в качестве причины эволюционного развития. В индивидуальном развитии она, на почве наследственных потенций, создает человека с его интеллектуальными и эмоциональными качествами. «С самого рождения она,—как говорит Плеханов,—овладевает человеком и образует его мозг» [1]). Социальная среда тормозит развитие одних признаков, способствует проявлению других и своим вмешательством вызывает появление совершенно новых. Но, формируя и изменяя индивидуального человека, она тем самым изменяет видовые или расовые признаки Homo sapiens. Она причинно обусловливает эволюцию его интеллектуально-эмоционального аппарата. Благодаря этому толкование эволюции его нервных способностей без учета влияний внешней среды—приводит к автогенезу, т.-е. к отказу от всякого толкования. «Умственные способности,—пишет Кропоткин во «Взаимопомощи», — еще более всех остальных обусловливаются в своем развитии общественной жизнью» [2]). Общественная жизнь формирует и развивает умственные способности отдельного человека, так что «человек, изолированный от общества, тупеет и глупеет» (Каутский). Она же определяет ход эволюционного развития, наследственно фиксируя те или другие психические качества, заново появившиеся под ее влиянием у индивидуальных людей. Благодаря этому существующее сейчас в мнениях многих биологов противоречие между наследственностью и изменяющим влиянием внешней среды—является фикцией. Никакого такого противоречия реально не существует, так как без наследственности, без наличия наследственно зафиксированных потенций нет изменчивости и без изменяющего влияния внешней среды нет и не может быть наследственно-зафиксированных новых признаков. Вот почему неправильно ставит вопрос Гэтс в «Наследственности и евгенике», когда, обсуждая вопрос об изменяющей среде и наследственности, пишет: «Вопрос заключается в том, лежит ли причина изменения, появившегося в организме, во влиянии окружающей среды или же в изменении наследственной массы самого организма» [3]). Это противопоставление изменяющего влияния среды «наследственной массе организма» и ее изменениям представляется нам совершенно неправильным, не соответствующим реальной действительности. Наследственные потенции организма развиваются и превращаются в признаки только в условиях среды, под влиянием этой среды они пополняются новыми наследственными же свойствами, и только влияния среды эти новые свойства и вызывают. Организмы создаются как в онтогенетическом, так и в филогенетическом процессе при наличии и взаимо-

[1]) Плеханов, Очерки по ист. мат-ма, Соч., т. VIII, стр. 71.

[2]) Кропоткин, Взаимопомощь, как фактор эволюции, Спб. 1907 г, «Знание», стр. 69.

[3]) Гэтс, Наследственность и евгеника, «Сеятель», 1925 г., стр. 15.

действии двух факторов — наследственности и изменяющего и формирующего влияния внешней среды. Совершенно недопустимо отрывать один фактор от другого и тем паче противопоставлять их друг другу. Один от другого зависит, один другого обусловливает, ни наследственность, ни изменяющее влияние среды не абсолютны и оба фактора вместе создают как индивидуальные, так и видовые признаки организмов. Эту точку зрения мы считаем правильной особенно в применении к вопросу о развитии психических способностей человека. Тот же Гэтс, обсуждая факты наследования умственных способностей, данные Пирсоном, пишет: «Наследственность, а не окружающая среда, определяет во всех случаях различия в умственных способностях»[1]). Это «а не» ясно говорит о непонимании Гэтсом реального двуединства моментов среды и наследственности, о метафизическом противопоставлении одного другому уже в конкретном случае о наследовании умственных способностей. Только изучая влияния окружающей среды, мы сможем правильно понять психическое развитие данного человека, его отличительные психические особенности. Конечно, бессмысленно представлять себе это развитие, как исключительную деятельность воспитательной среды, и забывать о том, что эта деятельность протекает на почве зафиксированных наследственно потенций. Было бы с нашей стороны бессмыслицей, если бы мы утверждали, перефразируя Гэтса, что человеческая психика формируется внешней средой, а не наследственностью. Каждый человек имеет свою наследственную психическую конституцию, свой, только ему свойственный, комплекс «психических» генов, превращающихся в реальные признаки только в условиях среды, под ее влияниями. Эти психические потенции, имевшиеся в половых клетках, из которых человек развился, следует представлять себе в виде возможности образовать определенную систему внутрисекреторного аппарата и нервную систему с некоторым комплексом безусловных связей. Но кроме фиксированных безусловных рефлексов человек получает по наследству способность развивать свой нервно-психический аппарат, образованием новых условных рефлексов. В этой способности заключаются величайшие возможности как к индивидуальному, так и к видовому прогрессивному развитию человека. В этом пункте наследственность дает организму силу, способную изменить самое наследственность в смысле расширения рамок, ей поставленных и, как мы увидим ниже, в смысле пополнения самого содержимого наследственности. Давая организму пластичный материал коры головного мозга, наследственность, в некотором смысле, отрицает самое себя, ограничивает, превращаясь в относительную, но не абсолютную силу.

На почве этих наследственных задатков, содержащих в себе возможности к развитию, внешняя среда разворачивает свою творческую деятельность. Вся психическая онтогения человека происходит, как результат взаимодействия этих двух сил,—наследственности и среды. На основе безусловных связей образуются связи условные, при чем нет никакой возможности ограничить

[1]) Там же, стр. 158.

их в количественном отношении. Павлов в своем «Двадцатилетнем опыте», говоря о выработке условных связей у собак, устанавливает следующие положения: «Условным раздражителем можно сделать по заказу какое угодно явление внешнего мира»[1]) и, что очень важно: «можно делать сколько угодно и каких угодно условных рефлексов на слюнную железу». Если так обстоит дело с возможностями условно-рефлекторного развития у собак, то насколько выше эта способность к проторению новых нервных путей должна быть у человека—у существа, с несравненно более развитой центральной нервной системой, в частности с много более развитым головным мозгом! Если «число условных рефлексов, могущих быть образованными у собак, ничем не ограничено» [2]), как говорит ученик Павлова. Фролов, то можно ли утверждать ограниченность этой способности у человека. Мы думаем, что это было бы совершенно непоследовательно. Но раздражители внешнего мира вызывают образование у собак, как показали опыты Павловской лаборатории, рефлексы другого типа—не на основе безусловных, а на основе заново-выработанных, условных рефлексов. Это—рефлексы второго и третьего порядков, т.-е. связи, образованные на одном условном рефлексе, и еще новые рефлексы, образованные уже на почве этих связей. Эта способность к надстройке рефлексов на условном рефлексе безусловно сильнее развита у человека и служит новым руслом, в которое устремляется развитие психических способностей под влиянием внешней среды. Мы видим, что для окружающей человека социальной среды есть возможность «образовывать» человеческий мозг, направлять его наследственные потенции в любом направлении—как в худом, так и в хорошем. «Универсальность в высшем отделе центральной нервной системы возможных связей» (Павлов) служит этому порукой. Имеющиеся у некоторых генетиков, увлеченных исследованием внутреннего механизма наследственности, суб'ективные концепции о наследственной ограниченности психических потенций, ограниченности, которая совершенно непреходима для воспитательных воздействий—нам представляется неверной. Неверной потому, что если и есть наследственная ограниченность возможности к психическому развитию, разная у разных людей, то эта ограниченность не абсолютна, а относительна. Возможность образования практически-безграничного комплекса условных связей, как обычных, так и более высокого порядка—уничтожает абсолютность наследственных границ, и дает простор для прогрессивного развития, которое совершенно невозможно загнать в рамки «наследственной ограниченности центров» или «наследственно»-ограниченной емкости синтезаторов мозга» (Кольцов).

Очень любопытно то обстоятельство, что есть указания на относительность этой наследственной фиксированности со стороны гистологии и даже эксперимента. Из пяти слоев, которые составляют кору больших полушарий мозга, 2-й и 3-й слои (зернистые внешний и внутренний) по форме и расположению кле-

---

[1]) Павлов, Двадцатилетний опыт, изд. 2-е, стр. 52.

[2]) Фролов, Физиологическая природа инстинкта, «Время», 1925 г., стр. 123.

ток очень близки с *зародышевыми* нервными клетками, благодаря чему кора взрослого организма сохраняет черты, сближающие ее с зародышевой нервной тканью. Остальные слои, по всем признакам, являются более специализированными и дифференцированными и характеризуют уже взрослое состояние организма. Зернистые слои очень близки по характеру с клетками мозговой коры молодых зародышей. *Минковский* изучал реакции молодых зародышей и установил, что соответственно неспециализированности коры их мозга—все их реакции носят недифференцированный, разлитой характер. Он полагает[1]), что такие же недифференцированные общие функции выполняют в коре человека зернистые слои, являясь субстратом общих, разлитых, иррадиационных процессов. Существованию этих зернистых «эмбриональных» слоев мы, вероятно, обязаны способности широко завязывать *новые* связи с *различными* раздражителями внешнего мира, осуществляя беспрерывно процесс познавательного приспособления, тогда как на долю остальных трех слоев выпадает *дифференцировать* внешние раздражения и *концентрировать* их. Возможность завязывания новых связей, творческая работа развития мозговых способностей—выпадает, таким образом, на «эмбриональный» отдел, который уже по одному тому наследственен *относительно*, что эмбрионален, т.-е. способен развиваться дальше. Таким образом, неся в коре головного мозга эмбриональные признаки, обеспечивающие безграничную способность развития, человеческий организм, как *процесс*, как развивающаяся система, совершенно не укладывается в тесные рамки наследственной «емкости» мозговых центров, в которые хотят ее втиснуть абсолютизирующие наследственность генетики.

Но если мы решительным образом возражаем против переоценки роли наследственности, то не менее решительно мы считаем необходимым отметить, что и внешняя среда ограничена в своем действии на психическую онтогению человека. Она создает человека, но только на почве наследственных потенций. А наследственные потенции далеко не равны у разных людей, так что исходный пункт в *индивидуальном неравенстве* людей дается именно наследственностью. За это говорит все, что есть реально ценного в антропогенетике. Но коль скоро выступает внешняя среда и формирует и изменяет наследственную человеческую природу—наследственное индивидуальное неравенство дополняется влияниями воспитания, среды, которая действует или в согласии с наследственными склонностями, или в противоположность им. Тем самым внешняя среда становится важнейшим фактором психически развитого человека и тем самым сваливать все свойства человека на его наследственность—недопустимо.

Перейдем к разбору фактического материала. В наше время очень не мало говорят о психическом «вырождении» человечества. Рост преступности, в частности детской, рост проституции, нищенства и пр. заставляет думать многих биологов-евгенистов об ухудшении биологических качеств человека, особенно его наследственных качеств. Евгенисты занимаются исследованием родо-

---

[1]) *Минковский*. Учение Павлова об усл. рефлексах. Сборник в честь И. П. Павлова, ГИЗ, 1925.

словных некоторых преступных и вообще дефективных семей и зачастую приходят к такому заключению, что порок свойственен и целой генеалогии и, следовательно, наследственен. Евгеника сейчас идет под знаком генетики, представляющей собою один из ее краеугольных камней. Опираясь на генетику, евгенисты не очень склонны считаться с фактом влияния на человеческую психику внешней среды и относят часто за счет наследственности то, что вернее считать порождением окружающей человека социально-экономической среды, не зафиксированным наследственно. Прежде всего это нужно сказать о преступности. Можно утверждать, что из всей массы преступников только очень незначительная часть—именно рецедивисты—представляют собой типы с соответственными наследственными наклонностями. Подавляющая часть совершаемых преступлений должна быть об'яснена совершенно не наследственными причинами, а влиянием окружающей человека среды. Энгельс в своей работе «Положение рабочего класса в Англии» разбирает вопрос о влиянии условий, прежде всего развития промышленного капитализма на рост преступности. С цифрами в руках он доказал, что с ростом капитализма роковым образом растет и количество преступлений. «С увеличением численности пролетариата,—пишет он,—увеличилась в Англии и преступность. Число арестов за уголовные преступления в одной Англии и Уэльсе составляло[1]):

1805 г.— 4.605	1830 г.—18.107
1810 г.— 5 146	1835 г.—20 731
1815 г.— 7.898	1840 г.—27.187
1820 г.—13.710	1841 г.—27.760
1825 г.—14.437	1842 г.—31.309

Следовательно, число преступлений,—пишет дальше Энгельс,—увеличилось в 7 раз. Из этих арестов приходилось в 1842 г. на один Ланкашир (центр хлопчато-бумажной промышленности. *В. С.*) свыше 14%, а на Мидоль-Эссекс (включая Лондон) свыше 13%. Таким образом мы видим, что на два округа, заключающие в себе крупные города с многочисленным пролетариатом, приходится больше ¼ всех преступлений, хотя их население не составляет ¼ всего населения страны». Об'яснить этот рост преступности чем-либо, кроме развития капиталистических отношений и роста свободных от средств производства рабочих рук—нельзя. Заниматься здесь генетическим анализом, надеяться увидеть здесь порочные наследственные мутации и составлять наследственные генеалогии—могут только евгенисты, везде усматривающие голую наследственность и не дооценивающие формирующее влияние среды. Не менее показательны, в этом же смысле, другие цифры, приводимые Энгельсом ниже. Отношение числа преступлений против собственности, взятых за единицу, ко всему населению в трех, различных по степени цивилизации, странах таково:

Голландия	1 : 7140	(цифры относятся к 40-м годам XIX столетия).
Франция	1 : 1804	
Англия	1 : 799	

Чем цивилизованней, капиталистически развитее страна, тем выше количество преступлений, совершаемых в ней, благодаря

[1]) Энгельс. Положение рабочего класса в Англии, стр. 119—120.

плохому положению эксплоатируемых масс. «Увеличение преступности вообще,—пишет Плеханов,—а особенно детской преступности неотразимо свидетельствует об ухудшении общественного положения пролетария» [1]), но никоим образом не о появлении в его генотипической структуре—«преступных» мутаций. Обнищание рабочего класса привело к тому, что количество преступлений, совершаемых выходцами из его среды, растет. Плеханов приводит цифры Жоли, характеризующие рост преступлений за время с 1838 по 1888 год во Франции. Число осужденных возросло за это время:

за насилия на	51%
за преступл. против собств. на	69%
„ „ „ нравств.	240%
„ бродяжничество и нищенство на	430%

Невозможно представить, чтобы такое массовое, имеющее общественный характер, увеличение числа преступлений могло быть об'яснено внутренними, биологическими изменениями в организмах осужденных. «Преступность,—пишет Бебель,—стоит в теснейшей связи с социальным состоянием общества. Чем неблагоприятнее общественные условия для большинства, тем многочисленнее и тяжелее преступления» [2]). Так и только так может поставить вопрос здравомыслящий человек, глядя на приведенные нами цифры. Так, например, промышленный кризис, начавшийся в Германии в 1890 году и закончившийся в 1895 году, привел к возрастанию числа лиц, наказанных по суду за нищенство:

в 1889 году наказано было	8.566 лиц,
„ 1890 „ „ „	8.315 „
„ 1891 „ „ „	10.075 „
„ 1895 „ „ „	13.120 „

Совершенно таким же образом и под влиянием этих же факторов в условиях капитализма всюду наблюдается сильный рост проституции. Так, напр., по Гиршу население Берлина росло ежегодно только на 3—4%, тогда как количество проституток возростало на 6—7%. Можно бы было привести еще не мало цифр, доказывающих связь всех видов преступности с экономическим состоянием общества, но мы ограничимся вышеизложенным.

Не нужно много думать, чтобы понять, как бессмысленно над всеми этими цифрами работать методами биологической генетики и абстрагироваться от социально-экономических влияний. Эти последние являются истинной причиной изменений в состоянии преступности и без них ничего понять нельзя. Такое явление, как алкоголизм, тоже представляет собой широкое общественное явление, обусловленное укладом экономической жизни. Голо-биологически его анализировать и понять нельзя. А не так ли абстрактно, однобоко, голо-биологически рассуждают генетики, когда говорят: «Для того, чтобы стать алкоголиком, надо иметь предрасположение алкоголизироваться« (фраза приписывается французским конституционалистам). Предрасположение к алкоголю—вот, что делает человека алкоголиком, а условия

[1]) Плеханов, Соч., том XI, статья III против Струве.
[2]) Бебель, Очерки по женскоу вопросу, стр. 373—374.

жизни, воспитания и пр. и пр., что является истинной причиной порока—с легким сердцем отбрасывается, ибо проще всего понять сложное явление, свалив его на свойства человеческой природы. И на этом основывают как будто бы серьезную евгеническую практику, пропагандируя идею об индивидуальном искоренении алкоголиков, об их отказе от брака, стерилизации и пр. Самого главного фактора, влияющего на онтогению индивидуальных людей, на массы их—евгенисты не видят, сконцентрировав все свое внимание на внутренних биологических механизмах. Самого главного рычага их евгенической деятельности—общественного переустройства, коренного изменения социальных условий, они не понимают, чуждаются и боятся.

Мы уже отмечали, что индивидуальное изменение при известной силе, длительности и постоянстве раздражителя—может стать наследственным, видовым. Это распространяется и на психические способности человека, в частности на наследование зачатков, в условиях общественной жизни, формирующихся в преступные наклонности. Есть целая категория преступников, которых можно считать в этом отношении конституционными; это преступники-рецидивисты, возвращающиеся к своему пороку при любых условиях воспитания, с силой слепой необходимости. Нам кажется совершенно невозможным об'яснить появление этих конституционных типов помимо условий общественной жизни, помимо воспитательного влияния классового общества, порождающего преступности вообще. Недаром Плеханов говорит о рецидивистах, как о «патологическом продукте общественно-исторического процесса», употребляя слово «продукт», конечно, в самом прямом и непосредственном смысле. Мы думаем, что в лице рецидивистов мы имеем случай перехода ненаследственного изменения в изменение конституционное. Созданный в системе определенных раздражителей (нищета, пьянство, преступное окружение и пр.) соответственный рефлекторный механизм закрепляется наследственно и заставляет, понуждает творить человека преступное дело. Конечно, нужно мыслить себе появление первых навыков в форме условных, ненаследованных связей, которые уже позже в ряде поколений приобрели характер безусловности. Здесь перед нами встает вопрос о возможности наследования условных рефлексов. Творец учения об условных рефлексах Павлов с давнего времени говорил о возможности перехода условного рефлекса в ряде поколений в безусловный. В последнее время, основываясь на опытах, проделанных Студенцовым в его лаборатории, он говорит о наследовании условных рефлексов совершенно определенно в положительном смысле. Несмотря на то, что в области экспериментальной вопрос далеко нельзя считать доказанным—логическая возможность признания наследования условных рефлексов имеется. Только метафизик, разделивши все рефлексы на условно-ненаследственные и безусловно-наследственные, не найдет в себе силы понять возможность перехода одного рефлекса в другой. С диалектической же точки зрения условный рефлекс фактом своей локализации в нервной системе и постоянного повторения, проторения пути, в самом себе таит возможность превращения в свою собственную противоположность—в безусловный рефлекс. Ненаследственность

условного рефлекса может превратиться и, нам думается, превращается в наследственность. Только, нужно думать, этот процесс может совершиться при условии, что раздражитель действует постоянно, однородно и в ряде поколений одной генеалогии. В факте наследования задатков, оформляющихся в рецидивную преступность, мы имеем как раз такое преобразование рефлексов и наследственное закрепление выработанных нервных связей.

Много хуже обстоит дело с исследованием влияния социальной среды на другие психические качества человека, в частности на талантливость. Прежде всего, можно считать, в общем, доказанным, что талантливость передается в виде соответственных зачатков, по наследству. Бехтерев, разбирая этот вопрос, категорически заявляет: «Наследственность талантов—вещь неоспоримая» [1]). Механизм наследования одаренности далеко еще не ясен, но современная генетика представляет его себе в виде передачи по наследству определенного комплекса однозначных факторов. С наклонностью стать талантливым рождается тот, кто имеет комбинацию этих однозначных факторов, достигших известного количественного предела. Таким образом, и в этом отношении условия воспитания выступают не на пустом месте, а на почве определенных наследственных потенций. «Исторический материализм,—пишет Каутский,—вовсе не держится того взгляда, будто гения можно без остатка разложить на экономические факты» [2]). Но из этого ни в коей мере не следует, что роль наследственности в этом случае абсолютна и определяет появление таланта целиком. В этой же статье Каутский сводит творчество личности на 3 основных формирующих причины:

1) общественно-экономические условия,

2) общественная среда личности—воспитательные воздействия, ею испытываемые,

3) личные свойства.

Живя в условиях общественной жизни, одаренная личность может выявить свои наследственные качества только при благоприятствующем и направляющем влиянии этой среды. Его конституционные качества представляют собою один из компонентов реальной личности, реального таланта, зависящий в своем развитии от условий воспитания в широком смысле этого слова. Но может ли социальная среда создавать конституционные свойства талантливости, вызывать наследственные усовершенствования в психическом аппарате? Если мы с полной уверенностью можем заявить, что развитие личности совершается только в условиях среды и под ее влияниями, то далеко не так уверенно мы можем говорить о том, что условия среды вызывают наследственно-закрепленные новые признаки психической одаренности. Логически рассуждая, мы это допустить можем и даже должны, ибо «данное «культурное» состояние общества несомненно влияет на психические и физические свойства» человека (Плеханов), изменяя и развивая его. Это влияние, при известных условиях, как мы выше показали, может вызвать появ-

---

[1]) Бехтерев, Психика и жизнь, 1904 г., изд. Риккерта.

[2]) Каутский, Что хочет и может дать мат. пон. ист. Сб. Семковского «Ист. мат.», М. 1919 г.

ление нового наследственного признака, не бывшего конституционным в момент его появления. Человечество психически безусловно развивалось, и трудно себе представить это психическое усовершенствование, имеющее даже специальный характер (напр., развитие музыкальных, математических и др. способностей) в каком-либо ином виде, кроме наследственного фиксирования приобретенных в ряде поколений условных связей. Если мы говорим о математических способностях, то мы имеем право говорить об историческом развитии этой способности в ряде поколений, т.-е. о процессе усовершенствования их по мере культурного усовершенствования человечества, по мере овладения силами природы. Наследственные математические потенции первобытного человечества и человечества наших времен, есть все основания думать, сильно разнятся и это различие следует отнести за счет воспитательного воздействия социальной среды за время человеческой филогении. Так как фактического подтверждения этой мысли мы выдвинуть пока не можем—она достоверна, как логическое умозаключение.

Влияние условий жизни на онтогению человека не подлежит никакому сомнению. Не дооценивать этот факт, с точки зрения биологической, чревато всякими ошибочными заключениями. Рассуждать, например, о различии умственных способностей разных рас, все сводя к расовым, наследственным свойствам ума и забывая о различиях социально-экономических условий жизни,—значит рассуждать однобоко, абстрактно. Не отрицая роли расовых конституционных потенций в создании умственной жизни, напр., негров, мы склонны подчеркнуть, что среда их жизни играет тут далеко не последнюю роль, жестоким образом ограничивая возможности онтогенетического развития психики. Расовые различия не абсолютны и зависимы в своем закреплении от социальных условий жизни. Еще Дарвин писал, что «природные американцы, негры и европейцы разнятся между собой по уму столько же, как и любые три из известных нам рас» [1]). И если мы видим, что различия в уровне умственной жизни американцев и негров исключительно велики, то отнести это надо, в первую очередь и по преимуществу, за счет различий их общественного уклада, среды их жизни. Следует думать, что если ниже стоящие расы поставить в условия американской жизни—степень и темп их умственного развития сильно изменились бы. Лафарг в одной из своих статей сообщает о результатах одного «социального опыта», поставленного в этом направлении. Иезуиты поселились в Парагвае среди дикарей «гуарани», ходящих голыми, употребляющих луки и палицы, ведущих счет на пальцах—одним словом, не вышедших из состояния первобытной жизни. По прошествии некоторого времени весь бытовой уклад племени совершенно изменился под влиянием экономических реформ иезуитов. Дикари сделались искусными рабочими, делали кресты, подсвечники, глобусы, музыкальные инструменты, ковры и ряд изделий ткацкой промышленности, строили здания, украшенные живописью и скульптурой. Спавшие в них возможности к прогрессивному развитию рефлекторно-умственного аппарата—пробудились с изменением уклада их общественной жизни. «К

[1]) Дарвин. Происхождение человека и половой отбор.

сожалению, привить дикарям культуру пытались лишь в редких случаях и никогда эти попытки не были продолжительны»,—пишет Каутский в «Очерках и этюдах» [1]). Вот почему переоценка расово-наследственного момента имеет место и по сию пору, в частности и в особенности у занимающихся антропогенетикой евгенистов. Не учитывают того момента, что экономически отсталые расы — отстают прежде всего в силу неразвитости их общественно-экономической жизни, обусловленной в свою очередь незначительной властью над природой и значительной властью стихийной природы над ними. Все «культурные» начинания цивилизованных капиталистических стран заключались только в расхищении земель, изгнании туземцев с их владений и обращении их в рабство—в этом заключался центр, вокруг которого вращалась колониальная политика. Никакого улучшения и много ухудшений в социально-экономическом укладе жизни —вот что несет отсталым расам такая «культурная» политика. В связи с этим и уровень психического развития дикарей не подымается, а в лучшем случае стоит на одном уровне, создавая видимость их наследственно-психической отсталости. Еще один пример: русский народ отличается своеобразными чертами в своем характере—способностью к смене периодов апатии периодами порывов, очень сильных в иные моменты. В чем причина такого своеобразия «российского» характера? Поклонники расовой теории склонны видеть здесь и видят влияние расовых особенностей жителей восточной Европы—особенностей темперамента, т.-е. нервно-гормонального расового механизма. Беспомощная в ряде становящихся перед ней вопросов, прежде всего в об'яснении причин развития—расовая теория сейчас уступила место теории исторического материализма, об'ясняющей общественные настроения не биологическими факторами, а изменениями и различиями в характере экономических отношений общества. М. Н. Покровский, останавливаясь на своеобразии характера российского населения, заявляет, что дело здесь: «в необычайной отсталости русского народного хозяйства, с одной стороны, и чрезвычайно быстром росте капитализма—с другой. Это создавало резкие контрасты, и эти резкие контрасты выковывали, наконец, в народном характере эту склонность к резким переходам, к резким скачкам» [2]). Думать о том, что эти психические особенности уже закрепились наследственно, нет абсолютно никаких оснований, так что анализировать их генетически—значит заниматься пустыми разговорами. И тем паче странно ссылаться здесь на доисторически-расовые особенности населения, когда есть простое, реальное и научное об'яснение, даваемое историческим материализмом.

В общем—мы приходим к такому заключению, что социальная среда влияет и на психический аппарат человека, формируя и изменяя его за время онтогении. Что же касается возможности наследования этих психических изменений—вопрос не проверен на фактах и с безусловной вероятностью говорить ни о чем нельзя. Но, логически рассуждая, мы считаем, что приобретенные

---

[1]) Каутский. Очерки и этюды, Общественные инстинкты у людей, 1901 г.

[2]) Покровский. Борьба классов и русская историческая литература, «Прибой», 1923 г., стр. 55.

за время индивидуального развития изменения в психике могут передаваться и, вероятно, передаются по наследству, в форме уже безусловных нервных связей и изменения гормонального аппарата. Таким образом раса из доисторической категории превращается в категорию историческую, изменяемую социальными условиями в своей наследственной основе.

Заключение.

В чем же, следовательно, заключается своеобразие человеческой биологии? С некоторого времени, около десятка тысяч лет тому назад, человек сделался человеком, вступив в период своей специфической истории. С этого времени сначала в слабой степени, а потом все сильнее и сильнее—человек начинает эмансипироваться от прямого влияния географической среды, приспособляясь к ней изменением своих искусственных органов—орудий труда и познания природы. Средою его жизни становится искусственная, социальная среда. Изменением этой последней определяется теперь человеческая изменяемость. Развиваются, изменяются орудия труда, средства потребления, тип общественной связи и, как результат этого, изменяется биологическая природа человека. Познать анатомо-физиологическую природу человека в ее генезисе совершенно невозможно без учета своеобразия тех условий, в которых человек развивается. Эти условия—социальные, подчиняющиеся в своем развитии специфической социальной закономерности. Классовая принадлежность, профессия, быт, питание, условия размножения и воспитания—все эти моменты влияют на человеческую биологию, создают ее и могут быть проанализированы и поняты только при помощи методов социологии. В этом формообразующем влиянии социальной среды, в ее переработке биологической природы человека и заключается своеобразие человеческой биологии. Эта последняя несет на себе отпечаток исторического, социального периода в видовом развитии Homo sapiens, то более сильный, то более слабый на различных органах и функциях. Человек является результатом не только пред'исторического и индивидуального, но и исторического развития. Это касается как его анатомических, так и физиолого-психических признаков. Бехтерев в своей «Общей рефлексологии» следующим образом определяет содержимое человеческой личности: «Личность,—пишет он,—является результатом видового, индивидуального и социального опыта»[1]. То-есть, другими словами,—биологическая индивидуальность есть результат пред'исторического, индивидуального и исторического развития. Последний, исторический период развития свойственен только человеку, и поэтому в этом пункте человек выделяется из всей массы животных организмов, как своеобразное существо.

Мы уже говорили о том, что биологические изменения человека совершаются в результате социально-экономических перемен. Социальная система изменяется в целом, человек изменяется, как часть этого целого. Он неотрывно врос в систему обще-

---

[1]) Бехтерев, Общ. основы рефлексологии человека, ГИЗ, 1923 г.

ственной жизни, он весь—в обществе. И участвует он в общественной жизни не как простая биологическая единица, но и как единица социальная, занимающая определенное место в экономическом, политическом и бытовом укладе. Каждая биологическая индивидуальность имеет в то же время свою экономическую, классовую, профессиональную характеристику, т.-е. является одновременно индивидуальностью социальной. Анализируя личность, мы видим, что она имеет, подобно двуликому Янусу, два лица—лицо биологическое и лицо социальное. Биологическое лицо—это его физиолого-анатомическое состояние, лицо социальное—это его экономическая характеристика, его профессиональная квалификация и бытовые особенности. И оба лица об'единены в одном существе—человеке. Бухарин в статье «К постановке проблем теории ист. мат.» характеризует этот разрыв двух характеристик, социальной и биологической, как «нелепое удвоение законов» человеческой жизни. «На самом деле,— пишет Бухарин,—одно есть инобытие другого». «Психофизиологическая структура крючника и квалификация его рабочей силы—не две разные величины, а два разных способа рассматривать одну и ту же величину» [1]). Эту остро-выраженную мысль мы фактически пытались провести через всю статью, когда утверждали, что биологическое изменение человека рождается в процессе труда, в зависимости от социального положения и окружающих условий жизни. Воздействуя на природу вне его, потребляя продукты труда, изменяясь как общественное существо, т.-е. как индивидуум, живущий и производящий в обществе— человек тем самым воздействует, потребляет и изменяется, как биологическое существо. Благодаря этому процесс эволюции человеческого общества, отражаясь на социальных признаках индивидуумов, тем самым изменяет их биологические признаки. Мы не можем полностью понять человеческой биологии, если не будем исследовать его, как социальное существо, т.-е. существо, живущее и изменяющееся в условиях специфической социальной среды. Рассматривать его, изолируясь от формирующих и изменяющих социальных влияний,—значит превращать его в обычное животное существо, имея возможность частично его исследовать только потому, что он несет в себе не мало черт доисторического, животного прошлого. Истинное же исследование биологии человека во всей ее реальной целокупности, как результата доисторического, социального и индивидуального развития—исключает такое, однобокое, абстрактное исследование, такое, ни на чем не основанное, пренебрежение к биологии человека, как социального существа.

---

[1]) Бухарин, Атака. «К постановке проблем теории ист. мат.», ГИЗ, 2-е издание, стр. 124.

Неовиталистическая критика эволюционной теории.

Ф. Дучинский.

Та полоса общественно-политической реакции, которую переживает в данный исторический период временно «стабилизованный» капиталистический мир, находит свое отражение в отдаленных областях идеологического творчества. Характерным симптомом упадка и извращения научного мышления является в настоящее время заметное усиление антинаучных виталистических течений в области биологии; особенно же свидетельствует об этом ярко выраженная «критическая реакция» против эволюционной теории. Если у нас, при условии отсутствия соответствующей атмосферы, реакция эта находит свое выражение в критике дарвинизма, в появлении «Номогенеза», то в Соединенных Штатах Северной Америки, при совершенно иных социально-политических условиях, она принимает уже вполне реальные формы в издании определенными штатами «антиэволюционистского» закона, воспрещающего преподавание и распространение эволюционной теории. Таким же несомненно показателем реакционного умонастроения представителей западно-европейской буржуазной науки является недавно вышедшая книга Эйнгорна «Erfahrung und Deszendenztheorie» [1]), в которой автор подвергает беспощадной критике основы современной эволюционной теории.

I.

Можно было бы пройти мимо новой критики эволюционной теории, если бы Эйнгорн, автор нескольких естественно-научных и философских работ, выражал в своей книге индивидуально-суб'ективную точку зрения. Но Эйнгорн, солидный знаток эволюционной литературы, в своих выводах и заключениях опирается на авторитет почти всех предшествующих многочисленных критиков эволюционной теории. Особенно же часто он подкрепляет свои положения ссылками на взгляды выдающегося своими исследованиями биолога Оскара Гертвига, пережившего, но об'яснению Геккеля и Шмидта, «психологический метафорфоз», и про-

---

[1]) D. Einhorn, Erfahrung und Deszendenztheorie. Eine Kritik der Grundlagen der modernen Entwicklungslehre im Allgemeinen und des biogenetischen Grundgesetzes im besonderen, Wien und Leipzig, Braumüller, 1924, VII, S. 318.

поведующего в последние годы диаметрально противоположные прежним скептические взгляды относительно научной ценности дарвинизма и филогенетических гипотез. Эйнгорн считает изменение взглядов О. Гертвига знамением нового времени, свидетельствующим об огромном перевороте в биологии, напоминающем об общем перевороте прежнего биологического мировоззрения (178 стр.). По его мнению, уверенное когда-то в совершенно прочном обосновании эволюционной теории сознание, благодаря успехам исследования, должно было постепенно уступить место убеждению в сплошной проблематичности, даже ложности основных принципов эволюционного учения. В качестве «motto» автором взяты слова О. Гертвига о том, что «сомнение в достоверности некоторых основ эволюционной теории распространяется дальше»...

В области критики эволюционной теории написаны уже целые горы книг. Сказать новое, кажется, трудно. Но оригинальной заслугой Эйнгорна является то, что он не только повторяет аргументы Гертвига и других многочисленных критиков, но прокладывает самостоятельные пути, он идет дальше. В центре критики он ставит не господствующую теорию эволюции—дарвинизм, как это делало большинство его предшественников. Он утверждает, что для большинства выдающихся исследователей дарвинизм в узком смысле, т.-е. теория естественного отбора, представляет превзойденную уже ступень. Он отказывается дать собственную критику дарвинизма из принципиальных соображений: разрешение проблем, выясняемых Дарвинской теорией естественного отбора, находится в теснейшей связи с разрешением проблем эволюционной теории вообще. Борьбу против селекционной теории он рассматривает только как первую ступень к великой борьбе против эволюционной теории вообще (242). По мнению Эйнгорна, наступило время от рассмотрения и опровержения Дарвинской теории отбора, сделав дальнейший, последний шаг, перейти к анализу и критике основных положений, фундаментальных основ самой эволюционной теории. Он ставит в упрек противникам дарвинизма то, что они ограничивали значение своей критики, не понимали этого значения. «Они боролись против следствия, вместо того, чтобы напасть на причину» (243). Он упрекает О. Гертвига, на авторитет которого он беспрерывно опирается в своих приговорах и оценках, что тот не оказался, как и Дриш, Штейнман и др., до конца строго последовательным в окончательном опровержении «безжизненного трупа»—эволюционной теории. Радлю, который, по словам Эйнгорна, дал жалкую картину судьбы и упадка эволюционной теории, он ставит в вину, что тот не оттенил всей упорной борьбы Гертвига против эволюционно-теоретических основных воззрений геккелевской школы и не произнес «смертного приговора» эволюционной теории (279).

И, действительно, Эйнгорн оказывается последовательным до конца в своих выводах. Он анализирует основные идеи, основные предпосылки эволюционной теории, и приходит к их полному отрицанию. Он утверждает, что эволюционно-теоретическая система не является научной теорией, но только религиозной догмой (178), говорит о банкротстве эволюционной теории (191), об окончательном освобождении эмпирического знания от эволю-

ционной догмы (171). Не только основные положения эволюционной теории, но даже отправные данные и пункты, из которых исходят теоретики эволюционного учения, благодаря новейшим научным достижениям, поставлены под сомнение, если не отброшены вообще в сторону (196). «Эволюционная теория является гипотезой, у которой отсутствует тем более прочное обоснование, чем больше и дольше наука старается таковое дать». «Новая история обоснования эволюционной теории есть история ее опровержения» (13). Нельзя надеяться, что эволюционная догма будет обоснована в будущем. Признание правильности эволюционного учения об'ясняется некритическим отношением к нему со стороны многих, об'ясняется господствующим в области умственного развития людей законом косности (179).

Так как вся положительная наука покоится на непосредственных точных наблюдениях и опытно-установленных данных, так как в основе современных биологических знаний лежат результаты экспериментальных исследований, то критерием научности всякого теоретического обобщения является достаточная фактическая его обоснованность, согласованность с конкретными опытными данными. Это положение представляет основной методологический постулат всякого научного исследования и теоретического построения.

Эйнгорн, учтя современные научные требования, и подвергает критике эволюционное участие с точки зрения основного научного принципа — его опытного, фактического обоснования. Каждое основное положение эволюционной теории оценивается с точки зрения опыта, ставится на суд перед опытным знанием. В результате своих изысканий, автор резко подчеркивает и развивает дальше критический вывод О. Гертвига, что вся теория эволюции оторвана от почвы эмпирического опыта, что она представляет произвольное, спекулятивное построение, продукт чистого вымысла (171). Эволюционная теория являет совершенно своеобразное понимание фактов и об'яснение причин, находящиеся в неразрешимом противоречии с опытно-научным их пониманием. «Ни в одной области биологии не выступает так резко противоположность между опытом и спекуляцией, между фактом и гипотезой, между знанием и верой, между естественно-научным и философским обсуждением проблемы, как в области эволюционной теории» (слова Рейнке, 266). «Как мало примиримы да и нет, огонь и вода, так мало соединимы эволюционное учение и опыт» (217). «Между эволюционной теорией и эмпирической наукой не может быть никакого «как—так», но только «или—или» (223). Мысль, как видно, выражена им выпукло и ярко.

Критическому исследованию с точки зрения отношения их к аналогичным принципам опытной науки подвергаются основные идеи эволюционной теории: учение об эволюции органического мира, охватывающее три связанных между собою идеи— идею эволюции организмов, идею всеобщего родства организмов и основной биогенетический закон и идею изменчивости, и учение о происхождении организмов, включающее также три идеи— идею архигонии, идею монер и идею филогенеза. Кроме того, рассматривается понимание жизни теоретиками эволюционной идеи и сравнивается с таковым пониманием «опытной науки».

Хотя автор ставит задачей дать критику основ современного эволюционного учения, в действительности же в поле его зрения, за исключением последней главы, посвященной новейшей эволюционной теории, оказалось то понимание и обоснование эволюционного принципа, которое выразилось в произведениях Дарвина и, главным образом, его восторженного апостола и наиболее крупного последователя Э. Геккеля. Руководящим мотивом в этом выборе было то, что эволюционное учение в своей первоначальной форме представляло реальную, далеко перешедшую границы биологии, исторически-культурную силу. «Gegenüber einem Weltsturmenden» противопоставляется новейшая, вторичная, безобидная форма эволюционной теории, не обладающая, по мнению критика, никакой культурной жизненной мощью. Автор так образно характеризует последнюю: sie vermöchte nicht einmal eine Katze vom Ofen herunterzuzwingen» (246) [1].

Таково основное, существенное содержание книги Эйнгорна.

Как видим, приговор автора по отношению к эволюционной теории суров и беспощаден, его критика прямолинейна и сокрушающе последовательна. Он пытается расшатать не только ее «надстройку», увенчивающую эволюционное учение в форме различных теоретических построений, выясняющих пути, этапы, факторы эволюционного процесса. Он хочет подорвать эволюционную теорию в самых ее основах, разрушить самый фундамент, на котором покоится все сложно-построенное грандиозное здание эволюционной теории. Основная задача его—показать непримиримое противоречие между основными исходными идеями эволюционной теории и принципами опытной науки.

Итак, крупнейшее достижение научной мысли, величайшее теоретическое обобщение, произведшее целую революцию в науке и в мировоззрении мыслящего человечества, оказавшее громаднейшее влияние не только на различные области биологии, но и на отдаленные научные дисциплины (астрофизику, геологию, лингвистику, этнологию, социологию и др.), давшее не только диаметрально новую систему жизнепонимания, но и вооружившее новым методом мышления и исследования, требующим анализировать каждое явление с точки зрения причинно-закономерного процесса его возникновения, развития и превращения в тесной взаимозависимости с другими явлениями,—это первостепенной ценности завоевание научной мысли об'является вымыслом, лишенным научного основания, оторванной от почвы опытной науки спекуляцией, догматом веры.

---

[1]) Чтобы лучше уяснить, почему центральным об'ектом критики оказалось мировоззрение Геккеля, не мешает вспомнить яркие слова В. И. Ленина, оценивающие значение Геккеля. «Буря, которую вызвали во всех цивилизованных странах «Мировые загадки» Э. Геккеля, замечательно рельефно обнаружила партийность философии в современном обществе... Профессора философии и теологии всех стран света принялись на тысячи ладов разносить и уничтожать Геккеля... Он—материалист, ату его, ату материалиста» («Материализм и эмпириокритицизм», 1909 г., стр. 422—423). Там же приведено указание Ф. Меринга, чем ценны сочинения Геккеля для марксистов.

В Советской Республике Геккелю не повезло. До сего времени не переиздано Государственным Издательством ни одно произведение Геккеля. Конечно, его произведения грешат и против об'ективной науки и против марксизма, но не значит ли это выбросить с ванной и ребенка.

II.

Посмотрим, так ли это? Существуют ли достаточные основания для столь решительных оценок и суровых приговоров? Или же, может быть, автором руководили мотивы иного порядка, далеко лежащие от об'ективной логики научных фактов?

Даже без рассмотрения отдельных конкретных возражений и обвинений, на основании одних только косвенных соображений, можно легко разрушить все хитросплетения Эйнгорна и доказать бесплодность всех его попыток.

Уже маленькая справка из области генезиса эволюционной идеи говорит определенно против выводов Эйнгорна.

Как известно, первые видные провозвестники эволюционного учения в начале XIX столетия—Ламарк и Ж. С.-Илер во Франции, Окен, Тревиранус в Германии—не нашли последователей, их взгляды не были признаны и по достоинству оценены тогдашним ученым миром, что ясно выразилось в торжестве воззрений Кювье над эволюционными принципами Ж. С.-Илера. Первые крупные эволюционисты не имели успеха у своих современников потому, что их идеи носили ясный натур-философский характер, не были достаточно аргументированы конкретным биологическим материалом. Эволюционный принцип не вытекал еще, как необходимое логическое обобщение, из всего предыдущего развития биологии. На очереди перед каждой отдельной дисциплиной (эмбриологией, гистологией, анатомией, физиологией) стояла еще задача углубленной конкретной разработки частных вопросов, детального исследования данных биологических явлений. Оторванностью от реальной почвы биологических явлений можно об'яснить тот факт, что натур-философские идеи не были популярны в начале XIX в. Временно эволюционная идея сходит с научной сцены. Целых почти 30 лет уходит на кропотливую работу многочисленных ученых специалистов, изучающих отдельные биологические об'екты, всесторонне выясняющих частности явлений. В результате накоплен был громадный фактический материал, который подавлял своей массой, не позволял двигаться дальше. Рвалась связь между непомерно разросшимися специальными областями, терялась перспектива, тускнела цель научного исследования. Из-за массы фактов не видели основной задачи науки. Чувствовалась потребность в об'единяющей результаты отдельных отраслей биологии общей идее, в синтезирующей теории, устанавливающей общие закономерности. От частного, конкретного к общему и абстрактному,—метод индукции—таков путь развития положительной науки, биологии в частности. Теория Дарвина явилась поэтому своевременным ответом на запросы научной мысли, завершающим всю предыдущую работу. Быстрому признанию научным миром дарвинизм обязан тому обстоятельству, что положения теории Дарвина были обоснованы чрезвычайно большой массой конкретного материала, на собирание которого Дарвин потратил целых 20 лет. Дальнейший ход развития отдельных отраслей биологии доставлял все новые и новые факты, выяснял все новые явления, ясно и решительно подтверждающие истинность эволюционной теории. Бесчисленное количество фактов, растущих, можно сказать, изо дня в день, для обоснования эволюционной теории доставляют

эмбриология, сравнительная анатомия, палеонтология, биогеография, серодиагностика, систематика, экспериментальная биология. Такой видный ученый, как Морган, говорит: «Доказательства в пользу эволюционной теории в настоящее время в сто раз сильнее, чем во времена Дарвина» [1]). Можно ли после этого говорить о спекулятивном, трансцендентном характере эволюционной теории, об оторванности ее от почвы опыта?!

Эйнгорн всецело поглощен в своей книге только критической, разрушительной работой. Стремясь развенчать, дискредитировать основы эволюционной теории, он не выдвигает взамен никакой новой обоснованной теории. Кратко противопоставляя эволюционным воззрениям неовитализм, как единственно основанное на научных знаниях представление, свои взгляды он обещает изложить в следующей книге. Получается впечатление, что Эйнгорн—противник не только эволюционной теории, но и всякой вообще биологической теории. Каждая, ведь, научная теория, покоясь на данных опыта, непосредственно вытекая из них, все же неизбежно отрывается от опытной почвы в том смысле, что она абстрагирует общее, основное из конкретно-многообразного. Каждая научная теория об'ясняет массы разрозненных фактов и явлений, сводя их к высшему обобщающему единству и давая возможность предвидеть новые явления. Требованиям научности вполне удовлетворяет эволюционная теория, так как все научные данные подтверждают ее и ничто ей не противоречит. Единственная ее вина та, что она—теория. Но вооружаться против допустимости образования научных теорий, не значит ли это вернуться к пройденным ступеням развития науки, не равносильно ли это выдать себе taestimonium paupertatis.

III.

После немногих замечаний общего характера, перейду к рассмотрению тех возражений, которые выдвигаются Эйнгорном против отдельных принципов эволюционной теории.

Хотя автор критику механистического понимания явлений жизни эволюционным учением отодвинул к концу книги, анализ его критических попыток правильнее начать с этого центрального вопроса биологии, содержащего в зародыше все обсуждаемые вопросы. Если существует противоположность между эмпирической наукой и эволюционной теорией, то эта противоположность должна особенно резко проявиться в понимании жизни,—правильно думает автор (227). Любопытно, что через несколько строк, как и многократно в дальнейшем, он подменяет без всяких об'яснений и доводов эмпирическую науку неовитализмом, проводит между ними знак равенства» [2]).

---

[1]) Морган, Структурные основы наследственности, стр. 261.

[2]) Неовитализм Эйнгорн так определяет: «Если под понятием неовитализма понимать теорию, не сводящую свойства жизни к физико-химическим явлениям, теорию специфически виталистических признаков, причину которых нужно искать только в сущности жизни, но ни в коем случае не вне ее, то ясно, что теория, которая выводит принципиальные эмбриологические и анатомистические сходства в органическом мире из сущности жизни, из лежащего в существе жизни общего закона ее развития, должна быть названа по преимуществу неовиталистической» (238).

Эйнгорн правильно характеризует эволюционное учение, когда говорит, что эволюционное понимание жизни par excellence механистическое, что «эволюционная теория совершенная, необычайно последовательная система механического понимания жизни», находящаяся в резкой противоположности к неовиталистическому пониманию (226). По мнению критика, «механистическое понимание жизни образует душу эволюционной теории» (229). Механизм и неовитализм два совершенно различных мировоззрения, одно исключает, отрицает другое. Между ними не может быть примирения. Отсюда понятными становятся те безнадежные усилия, которые критик предпринимает для опровержения эволюционного учения.

Отношения между эволюционной теорией и механистическим жизнепониманием Эйнгорн формулирует в нескольких тезисах. Первое положение он формулирует так: «Не существует никаких качественных явлений жизни, жизненные качества чисто количественные, значит—механические величины» (230). Вопрос о том, могут ли существовать качественные изменения характера жизненного процесса под воздействием механических сил, или же качественные изменения могут быть сведены к механическим величинам, критик считает коренным вопросом неовитализма (236). Автор неправильно приписывает эволюционистам отрицание качественных оценок жизненных явлений. Эволюционная теория различает качественные и количественные изменения биологических явлений и об'ектов, она только не кладет между ними той непроходимой пропасти, которую проводит автор.

Стоя на точке зрения признания развития всех многообразных органических форм из простейших однородных организмов, можно понять процесс видообразования только, как процесс превращения количественных изменений в качественные различия. Для лучшего уяснения этого процесса возьмем несколько примеров из области онтогении. Явление метаморфоза у насекомых хорошо иллюстрирует превращение количества в качество. Гусеница бабочки, увеличиваясь, претерпевая изменения органов количественного характера, превращается в куколку—качественно новую стадию. Куколка, после сложных процессов изменения количественного порядка, становится бабочкой—качественно новой формой. Таким же путем количественных изменений, переходящих в качественные, протекают процессы превращения головастика в лягушку (постепенное исчезновение жаберного аппарата и хвостового плавника, развитие легких, конечностей и проч.). Возникновение своеобразного, качественно-нового типа кишечного паразита, лишенного органов чувств, нервной системы, пищеварительных органов, может быть понято, как результат постепенного исчезновения соответствующих органов. Но и развитие сложного организма из единственной клетки путем деления и увеличения количества клеток не сопровождается ли переходом его в качественно-новые формы — стадии морулы, бластулы, гаструлы?

В процессе онтогенетического развития развертываются в определенные индивидуальные формы скрытые в зародышевых клетках зачатки—гены. С эволюционной точки зрения эти зачатки не являются теми прочными, неподвижно-застывшими морфологическими образованиями, о которых говорит автор (231). Гены

так же, как и все в живой природе, подвержены процессам изменений, превращающих их в качественно новые зачатки. Их-то собственно изменением обусловливается весь процесс эволюции органического мира. Поэтому теряют значение слова автора, что из одного зачатка всегда только может возникнуть качественно равный продукт развития (232). Это верно только в тех случаях, когда самый зачаток—носитель наследственного признака — не испытывает никаких качественных изменений. Если бы автор способен был диалектически мыслить, он не стал бы изрекать мудрые истины вроде следующей: «Опыт учит, что «качество жизни не голые количества» (232). Но у него, как сторонника неовиталистического понимания постоянства органических форм, существует только один приговор: опыт ведет к полнейшему опровержению механического учения о сведении всех биологических качеств к голым количествам. В действительности же опыт и метод научного мышления заставляет нас понять превращение количественных изменений в качественные особенности. Виталистическая же точка зрения, признающая постоянство форм и качеств, чужда всему научному опыту, решительно опровергается всеми его данными.

Второй тезис о механическом понимании жизни эволюционным учением говорит: «Жизнь по своему происхождению чисто физико-химическое, следовательно—механическое явление» (230). Неовиталистическое истолкование сущности жизни ведет к признанию изначальности, вечности жизни. Эволюционно-механистическое же понимание жизни, как чисто физико-химического процесса, требует с логической неизбежностью признания самопроизвольного возникновения жизни в результате сложного взаимодействия физико-химических сил. Несмотря на отсутствие прямых опытных данных, подтверждающих теорию самопроизвольного зарождения живого из мертвого, в пользу архигонии говорят и методологическое требование подчинения начальной стадии эволюционного процесса принципу закономерной необходимости, и многочисленные аналогии между явлениями мертвой и живой природы, и опыты по воспроизведению жизненных явлений, и результаты синтетической химии—синтетическое получение органических соединений. Целый ряд косвенных свидетельств из различных научных областей побуждает многих выдающихся биологов являться сторонниками самозарождения простейших организмов. Некоторые из них даже высказывают убеждение в возможности синтетическим путем в лаборатории получить живое белковое вещество. Такова логика научного мышления и логика экспериментальных фактов. Научную точку зрения ясно выразил Негели словами: «Если в материальном мире все находится в связи, если все явления протекают естественным путем, то организмы, которые построены и превращаются в те же вещества, из которых состоит неорганическая природа, должны возникнуть из неорганических соединений [1]). В резком противоречии с научным пониманием находится мнение автора, который считает архигонию «чудом чудес» (209). На возражение, что опыт не знает самопроизвольного возникновения жизни, можно ответить словами физиолога Ферворна: «Отрицательные экспериментальные

[1]) H. Schmidt, Geschichte der Entwicklungslehre, S. 450.

результаты абсолютно не говорят против самозарождения»[1]. Шефер говорит: «Мы можем быть уверены в том, что если жизнь и образуется из неживой субстанции, то это будет жизнь более простая, чем какая наблюдалась до сих пор; материя эта будет такова, что мы затруднимся отнести ее к одушевленной или неодушевленной, даже если бы нам удалось открыть ее, даже убедившись в ее существовании, мы, пожалуй, не смогли бы видеть ее физическими глазами»[2].

Эйнгорн считает, что глубокое проникновение в жизненные явления принуждает признать существование непроходимой пропасти между органической и неорганической природой. Пропасть между органическим и неорганическим, по его мнению, в настоящее время больше, чем была раньше (233). Видный же экспериментатор Каммерер выражает современное состояние знания по данному вопросу, когда говорит: «Если старое требование искусственно создать из неорганического вещества органическое все еще не исполнено, то другое требование осуществлено блестящим образом: заполнена пропасть между царством минералов и царством организмов... И ныне знаем мы в действительности промежуточные стадии от мертвого к живому»[3]. В данном случае Каммерер разумеет аналогичные явления у кристаллов (особенно у «видимо живых» жидких кристаллов) и у организмов. Только чрезвычайная сложность живой материи и несовершенство наших знаний и методов работы затрудняют сведение жизненных явлений к химическим реакциям.

Еще менее основательным является замечание автора, что архигония не могла осуществиться уже по одному тому, что на процесс самозарождения, предполагающий бесчисленное множество промежуточных ступеней между безжизненным веществом и первым простейшим организмом, потребовалось бы много миллионов лет (209). В истории земли были достаточно длинные периоды времени для самых медленных процессов эволюции. Шефер считает, что на процессы, связанные с появлением жизни, пошли «мириады лет». По предположению же Негели, архигония могла протекать очень быстро через немногие ступени. Так или иначе протекал процесс архигонии,—это вопрос второстепенный. Однократно ли он совершался или многократно повторялся—по этому вопросу существует расхождение среди ученых. Важно то, что большинство крупных биологов относится к сторонникам теории архигонии, и такие видные биологи, как Ж. Леб, Ле-Дантек, Тимирязев и др., допускают возможность создания живого вещества в лаборатории. Если вспомнить успехи биохимии, если вспомнить подражание жизненным явлениям особенно в опытах Румблера и если подумать, как юна еще биология, то, говорит Линдфорс, «мысль об искусственном воспроизведении простейших организмов не представляется больше сумасбродным вымыслом»[4].

Сторонники архигонии полагают, что жизнь первоначально возникла в форме простейших, гомогенных, бесструктурных жи-

---

[1] M. Verworn, Allgemeine Phisisologie, 5A, S. 369.
[2] Шефер. Материя и жизнь. «Вестник Знания», 1912 г. № 10.
[3] P. Kammerer, Allgemeine Biologie, 2A, S. 26.
[4] H. Schmidt, Geschichte der Entwicklungslehre, 1, 434.

вых существ, в виде организмов без организации. Клетка, состоящая из ядра и протоплазмы—существенных составных частей—вторичный продукт, результат длительной эволюции. Э. Геккель считал такими простейшими живыми существами, живыми комками плазмы—монер. Пропасть, по его мнению, между монерами и высшими организмами гораздо больше, чем между монерами и кристаллами. Эйнгорн вооружается против Геккелевской идеи монер. В признании существования организмов без органов он видит резкое противоречие между эволюционным учением и эмпирической наукой. «Правильность эволюционной теории в этом пункте опытом не только не подтверждается, но совершенно опровергается» (200).

Но и в данном случае выводы Эйнгорна не стоят на высоте современных научных представлений. Положение, что каждая клетка состоит из ядра и цитоплазмы, нуждается в настоящее время в известном ограничении. Существуют клетки, в которых нельзя провести разграничения между ядром и цитоплазмой. У некоторых простейших одноклеточных характеризующее ядро нуклеиновое вещество не уплотнено в резко отграниченное образование, но рассеяно в плазме. «Эти отношения,—говорит Каммерер,—встречаются исключительно и с большой вероятностью у первосуществ, которых Геккель об'единил в класс монер. На основании современных исследований сюда принадлежат еще хромацеи и бактерии» [1]). «Хроококки среди синезеленых водорослей являются простыми бесструктурными шариками плазмы без всякой организации. Такими же являются микрококки среди бактерий» [2]). Многие виды бактерий—возбудителей инфекционных болезней, вследствие своей ультрамикроскопичности, до настоящего времени еще не открыты и не изучены. Утверждать, что они не относятся к самым простейшим живым существам нет опытных оснований. Многие видные биологи считают клетку сложным образованием, состоящим из множества самостоятельных элементарных живых единиц. Таково мнение Вейсмана, Визнера, де-Фриза, Ферворна и др. По мнению Вейсмана, могли первоначально возникнуть не монеры вследствие своей большой сложности, а низшие жизненные единицы, которые он называет «биофоридами». «Итак, мы должны принять, что в определенный момент истории земли существовали необходимые условия для образования невидимых мелких биофор и что все последующее развитие органического мира покоится на суммировании этих биофор в большие комплексы и на их дифференцировании внутри этих комплексов» [3]). Гипотетические без'ядерные монеры Геккеля по его мнению, есть колонии биофор. Каммерер говорит, что «клетки», образующие посредством соединения организмы высшего порядка, с своей стороны являются конгломератами низших единиц, которые, вероятно, населяют пространство, как самостоятельные, ультра-микроскопические живые существа» [4]). В таком же смысле выражается Минчин: «Нельзя продолжать считать клетку, наблюдаемую нами у многоклеточных животных

---

[1]) P. Kammerer. Allemeine Biologie. S. 22.
[2]) H. Schmidt, Geschichte ber Entwicklungslehre, S. 457.
[3]) A. Weismann, Vorträge über Deszendenstheorie, 3A, B. II. S. 318.
[4]) P. Kammerer, S. 32.

исходной точкой всей органической эволюции, как это делается в учебниках. Надо признать, что этот тип клетки имеет позади себя долгую историю» [1]). Таким образом в пользу существования простейших бесструктурных существ высказывается много авторитетных ученых на основании веских опытных и теоретических данных. Будем ли мы называть их монерами или иначе — это безразлично.

IV.

Для Эйнгорна неприемлема не только идея архигонии, но и вообще идея эволюции, идея происхождения всего разнообразия сложно-устроенных органических форм путем длительного процесса эволюции из простейших первосуществ, возникших самопроизвольно. Он вооружается не только против идеи развития бесконечного богатства видов из примитивных монер (45), но и вообще против происхождения высших организмов из существ, стоящих на низших ступенях органической лестницы. Идея возникновения высших существ из низших противоречит опыту, противоречит эмпирической истине, которая говорит, что «высшее только из высшего, низшее только из низшего может возникать». «Этот основной закон выражает наши эмпирические знания, он так же неопровержим, как наука и опыт» (15). В доказательство высказанных категорических утверждений он ссылается на свидетельство онтогении, которая показывает, что высшие организмы происходят только из внешне, из видимо низших форм, внутренняя же константная организация которых не оказывается низшей (16). Все дальнейшие рассуждения автора вращаются вокруг двух положений: форма и сущность организма не одно и то же и филогенез не идентичен с онтогенезом.

Таким образом Эйнгорн пытается так просто и легко развенчать и дискредитировать самую основу эволюционной теории—идею эволюции, которая является своего рода аксиомой, не вызывающей среди биологов сомнений и возражений, истиной, которая подтверждается всей суммой данных различных биологических дисциплин.

Эмбрион и стадии его развития у высшего организма не являются тождественными с таковыми же у более низших организмов. Эмбрион сложного организма содержит уже все зачатки последнего и существенно отличается от зародыша более простого организма. Но кто же возражает против этих очевидных фактов? И можно ли таким легким способом подорвать идею эволюции? Разве данными только одной эмбриологии подтверждается истинность эволюционной идеи? Разве теория происхождения высших организмов из низших не покоится прочно, кроме эмбриологических данных, о которых речь будет ниже, на доводах сравнительной анатомии, физиологии, систематики, палеонтологии, биогеографии и экспериментальной биологии? Эволюционная теория не «постулирует» происхождение высших форм из низших, как выражается автор (16), а свои положения она строит на основе прямых опытных и косвенных доказательств.

---

[1]) Э. Минчин, Эволюция клетки, стр. 11.

Автор сражается против приписываемой своим противникам «идеи абсолютной эволюции». Но теоретики эволюционного учения, стоящие на последовательно научной точке зрения, ни о какой «абсолютной эволюции» не говорят. Эволюцию органического мира они ставят в тесную причинную связь с изменением внешних условий окружающей организмы физико-химической среды. Эволюция, ее направление, ее темп определяются конкретными внешними факторами. Только теории номогенеза, ортогенеза, вообще автогенеза стоят на почве признания идеи абсолютной изменчивости, так как они видят движущую причину эволюции не в воздействии изменяющихся условий внешней среды, а в развертывании заложенных в организмы каких-то трансцендентных потенциальных сил.

Критикуя с точки зрения опыта исходную идею эволюционной теории—учение об изменчивости, Эйнгорн опять-таки приписывает Дарвинско-Геккелевской школе эволюционистов идею «абсолютной» изменчивости, находит непримиримое противоречие последней с опытными данными и видит банкротство эволюционной теории в этом пункте (19). «Эволюционная теория, как идея абсолютной изменчивости, находится в резком противоречии с эмпирическим понятием изменчивости». «Изменчивость в царстве опыта всегда относительна, ограниченна, приверженцы же эволюционной теории спекулятивно предполагают абсолютную изменчивость» (174).

Данное обвинение относится к числу многих его голословных утверждений, в подтверждение которых он не может привести никаких веских оснований. Когда он говорит, что теоретики эволюции признают превращение членистоногих в млекопитающихся, бактерий в амфибий (174), то это свидетельствует только о непонимании или сознательном извращении идейных основ эволюционной теории. Если он «абсолютную» изменчивость понимает в том смысле, что среди разнообразия вариаций амфибий может появиться млекопитающее или птица, или среди вариаций монер—позвоночное («царство вариаций первобытных монер охватывает весь органический мир вплоть до всего высшего органического мира»), то между пониманием автора и эволюционным пониманием идеи изменчивости ничего нет общего. Только по отношению к таким громадным периодам времени, в течение которых протекала история развития органической жизни, эволюционная теория признает границы изменчивости бесконечными и безгранично широкими, как громадна и сама эволюция от простейшего организма до человека. Что же касается каждого данного момента органической эволюции, то изменчивость организмов, хотя и признается широкой, всесторонне универсальной, охватывающей все стороны и признаки организма, но не считается безграничной, абсолютно бесконечной. Вариационная статистика подтверждает, что изменчивость не безгранична, но широка и колеблется около середины вариационного ряда. Автор противоречит себе, когда говорит, что «постоянное суммирование мельчайших действий и постепенных качественно прогрессивных движений является об'ясняющим механистическим принципом всего исторического развития, как истории происхождения нашего органического мира (Дарвин), так и истории развития земной коры (Ляйель) и т. д.» (210). Но если эволюционный про-

цесс в толковании дарвинизма протекает так медленно, постепенно, то все рассуждения о необычайно широкой, беспредельной изменчивости, будто бы признаваемой эволюционной теорией, оказываются ни на чем не основанными. Более близкое знакомство с произведениями основоположников дарвинизма (Дарвина, Уоллеса) убеждает в этом. Многими, ведь, ставилось в упрек Дарвину признание им чрезвычайно медленной, постепенной эволюции. И в приводимых автором словах Плате говорится не о безграничной изменчивости, а только то, что и специализированные формы (слон, жираффа, крот) не проявляют уменьшения изменчивости (184).

V.

Главный принцип эволюционной теории—идея абсолютной изменчивости, по мнению Эйнгорна, включает следующее утверждение: «Не существует ни одной органической формы, которая оставалась бы неизменной среди меняющихся условий» (223). Неспособный мыслить диалектически, неспособный видеть в каждом явлении процесс внутрипротиворечивого развития, автор не может примирить с идеей изменчивости факт существования определенных органических групп (водоросли, брахиоподы и др.), сохранивших свое постоянство, константность в течение многих миллионов лет. «Или существует абсолютная изменчивость всех видов признаков, как идея абсолютной изменчивости утверждает, или существует абсолютная их неизменяемость, как теория родства необходимо их постулирует» (122). Или—или. Факт филогенетической неизменяемости, совершенно отрицающий основную идею эволюционного учения—идею безграничной изменчивости, означает одновременно неизбежное опровержение механистического понимания жизни и окончательную победу неовиталистического понимания жизни. Существование организмов, успешно противодействующих в течение целых миллионов лет всем механистическим изменениям воздействующих условий существования, и сохранивших неизменными свои признаки, означает, что жизнь не может быть продуктом физико-химических условий существования, что жизнь в глубоких основах нечто от всего механического независимое, отличное, что она должна быть не механической, а специально виталистической, природы (236). В противоположность к дарвинизму, этой «английской болезни» прошлого столетия (Дриш) все больше распространяется убеждение в филетической самостоятельности жизни. Признание же автогенетического характера филетического развития означает принятие неовитализма (236)[1].

Подвергнем приведенное возражение критическому анализу.

Прежде всего, поставим вопрос: может ли организм в течение бесконечно долгого времени сохранять неизменными свои

---

[1]) Интересно отметить, что такую же оценку автогенеза дает дарвинист Плате: «Противоположность между эктогенезом и автогенезом сводится в существенном к тому, об'ясняется ли эволюция каузально-механически..., или же для этого должен быть принят стоящий над причинностью супрафизический принцип» (Plate, Selektiops prinzip, 5.504). Таким образом, по мнению и виталиста и механиста сторонники автогенеза относятся к виталистам.

признаки, успешно противодействуя всем механическим воздействием меняющихся условий окружающей среды? Проще: может ли организм, не приспособляясь к внешней среде, не погибнуть? Весь наш повседневный и научный опыт, результаты исследования любого уголка живой природы убедительно свидетельствуют, что жизнь—беспрерывная борьба за существование и вечное приспособление организма к меняющимся физико-химическим и биологическим условиям среды. Все неприспособленные организмы неизбежно гибнут. Утверждать противное, как делает автор, значит оторваться от конкретной почвы данных опыта, издеваться над доступными проверке каждого биологическими фактами и явлениями. Если же существуют организмы, сохранившиеся неизменными в течение многих миллионов лет, то явление это можно об'яснить таким образом, что организмы эти оказались вполне приспособленными к мало подверженным их изменениям условиям преимущественно водного существования. В противоположность утверждению Эйнгорна, Дарвин считался с явлением существования «консервативных» форм и пытался его истолковать в духе своего учения. «Вовсе не существует необходимого и врожденного всякому существу стремления подниматься по лестнице организации». «Очень простая форма, приспособленная к очень простым условиям существования, может оставаться без изменения и усовершенствования неопределенное время» [1]). Эволюционисты-механисты не понимают эволюцию, как прямолинейно-однообразный процесс развития всех групп организмов по одним и тем же путям, через одни и те же стадии, протекающий с одинаковым темпом. Если стать на эту автогенетическую точку зрения, тогда трудно об'яснить все разнообразие и богатство ступеней и форм органической жизни. В свете же механистическо-эволюционного понимания явление многообразия органических форм находит достаточное причинное об'яснение, как результат приспособления организмов к различным внешним условиям. Но, признавая, что «организм есть нечто пластичное, постоянно готовое измениться вследствие изменения условий его жизни» [2]), эволюционисты не отрицают известной автономности, устойчивости наследственных зачатков, образовавшейся в результате длительной наследственно-фиксированной передачи в бесчисленном ряду поколений при относительной неизменности внешних условий. В конечном же счете эволюционный процесс обуславливается и направляется внешними факторами. Последние определяют его направление в сторону ли прогресса, усложнения организации, что преимущественно наблюдается, или же в сторону регресса, упрощения. Как Дарвин, так и Геккель, признавая в общем прогрессивный характер эволюции, не отрицали и явления регрессивной эволюции. «Представители какой-либо высоко стоящей группы могут даже стать приспособленными к более простым условиям жизни, и это, повидимому, зачастую происходило; в этом случае естественный отбор будет стремиться упростить или понизить организацию, так как сложность механизма будет

[1]) Ч. Дарвин, Изменение животных и растений в домашнем состоянии, изд. Лепковского, стр. 6.

[2]) Холодовский, Биологические очерки, стр. 192.

бесполезна или даже невыгодна для простых отправлений [1]). «Нередко вследствие приспособления к более простым условиям жизни наступает обратное движение в сторону регрессивного развития» [2]). Стоя на точке зрения автогенеза, невозможно об'яснить явления регресса у одних форм и рядом прогрессивный путь развития других групп. Между регрессивными явлениями и условиями жизни существует прямая зависимость. Таковы факты редукции или атрофии органов у внутриполостных паразитов, глаз у подземных животных, корней у многих водных растений, листьев у растений—паразитов и т. п. Таковы данные подземной лаборатории в Париже (атрофия органов зрения и слуха у живущих в условиях полной темноты и тишины животных). Таким образом опыт подтверждает механистическое понимание эволюции и решительно опровергает виталистическое толкование.

По мнению Эйнгорна, во всем царстве нашего опыта, не исключая мутаций де-Фриза, не существует ни одного факта, который мог бы с некоторой уверенностью ручаться за возможность действительно «трансцендентной» изменчивости (235). Ни о какой, конечно, «трансцендентной», «абсолютной» изменчивости последовательно-диалектически мыслящие эволюционисты, как сказано раньше, не говорят, и автор в данном случае разумеет и отрицает эволюционную изменчивость, изменчивость, имеющую значение для процесса эволюции. И в данном случае выводы критика находятся в противоречии с данными опыта. В современной бактериологии среди простейших организмов бактерий случаи относительно быстрого экспериментального превращения одного вида в другой не относятся к редким явлениям. Мутационная изменчивость различных об'ектов экспериментального изучения (хотя бы плодовой американской мушки Drosophila melanogaster) несомненно имеет эволюционное значение, поскольку образует много новых разновидностей («разновидность—зачинающийся вид». *Дарвин*). К той же категории опытных фактов относится процесс выведения новых разновидностей домашних животных и культурных растений путем отбора мутантов и гибридов. «Я совершенно убежден,—говорит Каммерер,—что многие растительные мутации, так же, как и мутации животных, как, напр., полученная мною экспериментальная форма пещерного протея, были бы описаны, как самостоятельные виды, если бы они без знания их происхождения были бы найдены где-нибудь в свободной природе» [3]).

Эйнгорн стремится доказать, что исходный пункт, «альфа и омега эволюционного учения—понятие вид» (Р. Гертвиг) оказывается научно несостоятельным, так как, вследствие невозможности дать научное определение понятия «вид», невозможно определить границы вида, его изменчивость, переход его в другой вид. Но именно эта-то относительность понятия вид, трудность провести границу между разновидностью и видом, самая абстрактность понятия, позволяющая лучше ориентироваться среди бесконечного разнообразия органических форм, и служит в глазах

---

[1]) Ч. Дарвин, Изменение животных и растений в домашнем состоянии, стр. 6.

[2]) Э. Геккель, Естественная история миротворения, ч. I, стр. 213.

[3]) P. Kammerer, Allgemeine Biologie, S. 285.

адептов эволюционной теории лучшим подтверждением принципа эволюции.

Эйнгорн вполне определенно склоняется к воззрениям Лотси, который стоит «на старой точке зрения постоянства видов и верит, что Дарвин ошибался, когда нападал на постоянство их» (173). Но отрицать явление изменчивости организмов ни один здравомыслящий не может. Чтобы спасти постоянство видов, чтобы примирить постоянство с изменчивостью, он признает неизменность, постоянство сущности организмов и изменчивость их внешней формы. Определенное изменение формы не является изменением существа, но только проявлением одной из скрытых способностей, выявлением одной из необычайно богатых потенций организма (194). Таким путем наследственно-приобретенные качества об'ясняются, как продолжительное проявление только скрытых зачатков (Геккер). Автор правильно спрашивает, что в последнем счете остается от эволюционной теории, как теории механического образования новых зачатков, если новые наследственные признаки представляют только продолжительное активное состояние существовавших в потенции старых зачатков? И имеются ли органические изменения, которые являлись бы новообразованием, а не проявлением потенциального богатства организма? Автор прав, что между виталистическим учением о проявлении постоянно существовавших в организме потенций и эволюционным учением об изменчивости, как явлением выпадения или возникновения зачатков в организме под влиянием внешних условий, существует резкая противоположность (195). Но он искажает современное состояние вопроса, когда говорит, что наследственный грех эволюционной теории лежит в том, что она не была в состоянии соединить изменчивость формы с постоянством и неизменяемостью сущности организма и в большой изменчивости форм видела непосредственно настоящую изменчивость существа (193).

По современным эволюционным представлением различается двоякого рода изменчивость: фенотипическая и генотипическая, или вариации—модификации—флюктуации и геновариации-мутации. Первые не являются наследственными, они вызываются временным влиянием внешних условий на соматические клетки, с прекращением действия вызвавших их факторов они исчезают. Второго рода изменчивость, мало еще экспериментально изученная, обуславливается изменением самого наследственного вещества—зародышевой плазмы под влиянием мало выясненного глубокого одновременного воздействия внешних факторов на сому и зародышевые клетки (параллельная индукция). Гено-вариации (мутации) вызываются изменением материальных носителей наследственных качеств—зачатков генов в хромозомах, образованием новых, изменением, перегруппировкой, исчезновением старых. Таковы новейшие достижения экспериментальной генетики в работах американской школы Моргана, таково мнение Гольдшмита и др. Эволюция организмов—продукт эволюции генов. Материалистическая теория эволюции получает новое сильное подтверждение. Нет поэтому у критиков оснований говорить о стоящей на пути эволюционного учения «автономности» генов, т.-е. их силе сопротивляемости против внешних условий, не допускающей никаких устойчивых изменений (182), хотя бы ряд вопросов (можно

ли проводить резкую грань между вариацией и мутацией, не вызывается ли мутация сильным воздействием внешних условий и др.) не был достаточно еще выяснен и подлежал дальнейшей экспериментальной разработке.

Эйнгорн является последовательным виталистом, когда высказывается против возможности унаследования приобретенных признаков, сторонником которого, на основании целого ряда главным образом теоретических соображений и отчасти экспериментальных данных, являются как дарвинисты, так и ламаркисты. Геккель в признании наследования приобретенных признаков видел непоколебимую основу, conditio sine qua non эволюционной теории. В настоящее время можно не связывать судьбу эволюционной теории с тем или иным решением вопроса о наследственной передаче приобретенных признаков, хотя и отрицать эту передачу нет достаточных оснований. Проблема продолжает оставаться экспериментально окончательно еще не решенной. О. Гертвиг заявляет, что этот «спорный вопрос еще не решен путем строгой научной аргументации, которая могла бы опираться на большой ряд ясных, совершенно установленных фактов».

Любопытно, что, нападая на Геккелевское учение об «абсолютной» изменчивости, признавая его несостоятельным не только в основных принципах и следствиях, но даже в исходном пункте и предпосылке, Эйнгорн пытается в действительности подорвать и новейшую эволюционную теорию в самой основной ее идее— идее изменчивости в ее современном представлении. Подобное обвинение автор хочет отклонить, но это один из обычных его критических приемов, один из тактических ходов для более успешного дискредитирования чуждой ему системы мировоззрения.

VI.

Эйнгорн подвергает сравнительной оценке различное понимание филетического развития органического мира. Для него одинаково неприемлемы два основных представления о филетическом ходе развития—монофилетическое, считающее, что все разнообразные по форме и по высоте организации животные и растения произошли путем расхождения признаков из однородных простейших организмов, и полифилетическое учение, признающее, что основные систематические группы организмов произошли из различных видов первобытных организмов. Для него «весь эволюционно истолкованный филогенез не что иное, как мир спекулятивных, даже фиктивных явлений» (3). Но понятно, что полифилетическому толкованию, по которому различные исходные пункты эволюции определили и различные продукты развития, он отдает предпочтение, ставит его выше монофилетического учения. Последнее предполагает, ведь, в качестве начальных стадий однородные простейшие живые существа («монеры» Геккеля), возникшие путем архигонии, затем—одно родословное дерево жизни и кровное родство всех организмов, т.-е. как раз все те «спекулятивные, трансцендентные догмы», против которых особенно энергично вооружается критик. Полифилетическое понимание он считает менее оторванным от почвы опыта, вероятно, на том толь-

ко основании, что оно предполагает независимое происхождение и развитие основных линий эволюции. Но если основные группы организмов произошли от самостоятельных корней независимо друг от друга, то таково же могло быть происхождение и более мелких групп. Таким путем полифилетическое учение можно превратить в панфилетическое. Это—во-первых. Во-вторых, если разные группы имеют различное происхождение, то не только исходные формы должны так же резко отличаться, как и позднейшие продукты развития (219). Таким толкованием можно легко выбросить из полифилетического об'яснения идеи эволюции и вернуться к старому учению о постоянстве и неизменности органических форм. Недаром одним из признаков упадка эволюционной теории автор считает то обстоятельство, что полифилетическое понимание в последние десятилетия все более приобретает значение (307). Но он только сознательно закрывает глаза на противоположные логические выводы, которые следуют из полифилетического эволюционного учения. Органические группы имеют множественное происхождение, они произошли от многих различных видов простейших организмов. Но последние могли представлять продукт длительной эволюции, исходным пунктом которой могли быть гомогенные, недифференцированные комочки живой протоплазмы, возникшие путем самозарождения. Так как эти пионеры жизни могли возникнуть только при строго определенной сложной комбинации внешних физико-химических условий, то они должны были представлять однородные образования, независимо от того, возникли ли они одновременно на одном месте, или в различные моменты во многих пунктах земной поверхности. Полифилетическое учение таким пониманием превращается в монофилетическое. Итак, в оценке различных направлений в понимании филетического процесса Эйнгорном проявлена та же, что и на протяжении всей об'емистой книги, необоснованная, суб'ективно-предвзятая точка зрения.

VII.

Особенно внимательной и обстоятельной критике подвергнут тот обобщающий принцип эволюционного учения, который известен в науке под именем «основного биогенетического закона» Геккеля. Последний, как известно, гласит: «Онтогенез (развитие индивида) есть краткое и быстрое, обусловленное законами наследственности и приспособления, повторение филогенеза (развитие рода)». Основной биогенетический закон устанавливает определенную закономерную зависимость эмбрионального развития организма от эволюционного развития далеких его предков. Организм в своем зародышевом развитии проходит сокращенно через те ступени, через которые прошли его предки. Это обобщение сыграло крупную роль в развитии биологических наук. Оно не только об'ясняло изучаемые явления, но и служило рабочей гипотезой, позволяющей открывать новые области фактов. Северцов, специально занимавшийся проверкой обобщений Геккеля, говорит: «Едва ли можно в настоящее время указать какую-либо крупную морфологическую теорию или гипотезу, при создании которой этот закон не применялся бы» [1]). «Это обобщение имело

---

[1]) Северцов. Этюды по теории эволюции, стр. 5.

очень большое теоретическое и методологическое значение для биологической науки» [1]). При его помощи об'яснены сложные явления процесса эмбрионального развития и намечена родословная история животного царства. Геккель, исходя из признания монофилетического происхождения всех многоклеточных организмов, попытался при помощи биогенетического закона воссоздать филогенетическую историю всего животного царства, попытался выяснить генеалогические линии. «В этой попытке построить систематическую филогению животного царства заключается, как нам кажется, одна из самых больших заслуг Геккеля» [2]). Значение биогенетического закона для эволюционной теории Вейсман оценивает в таких словах: «его одного было бы уже почти достаточно, чтобы прочно обосновать эволюционное учение» [3]).

Несмотря на такую высокую оценку роли биогенетического закона в науке, уже с момента формулирования его Геккелем и до настоящего времени продолжается вокруг него борьба противоположных мнений. В то время, как сторонники закона признают в нем, как мы видели, значение основного закона биогенеза и громадную методологическую его ценность, противники отрицают за ним всякое научное значение, считают его продуктом спекуляции.

Эйнгорн относится к решительным противникам биогенетического закона, он приводит в движение весь арсенал доводов для его опровержения. И в данном случае он пытается прежде всего опереться на авторитет О. Гертвига, исследованиям которого, по его мнению, принадлежит центральное место в великой борьбе вокруг биогенетического закона. Гертвиг дает иную формулировку биогенетического закона. Выражение: «повторение форм вымерших предков» он заменяет словами: «повторение форм, которые закономерны для органического развития и которые переходят от простого к сложному». Хотя некоторые биологи (Лехе, Франсе и др.) не видят в этой поправке существенного изменения биогенетического закона Геккеля, но скорее правы другие (Кейбель), которые считают, что поправкой Гертвига отрицается совершенно обобщение Геккеля. Центр тяжести основного биогенетического закона Гертвига заключается в подчинении всего живого общему закону развития, ведущему от простого к сложному. Устанавливается закономерность развития организма: в своем индивидуальном развитии организм проходит через ряд определенных стадий. Геккелевский же закон, предполагая закономерное развитие организма, констатирует определенные отношения между онтогенией и филогенией: онтогения повторяет филогению. Это, конечно, не одно и то же. По мнению Гертвига, «чем сложнее конечный продукт онтогенеза, тем сложнее соответствующий ему зачаток». Зародыш сложного организма так же сложен, как и сам взрослый организм. Таким образом эмбрион сложного организма не может в своем развитии повторять простейшие формы предков. Онтогения не есть повторение (рекапитуляция) филогении.

---

[1]) Там же, стр. 3.
[2]) Там же, стр. 28.
[3]) A. Weismann, Vorträge über Deszendenztheorie, 3A. S. 3.

Эйнгорн обвиняет Геккеля и его последователей в том, что они отождествляют онтогению с филогенией, считают их идентичными, параллельными явлениями. Но Геккель сам ограничивал значение своего закона. Он признавал «не в полном смысле слова полное и безусловное» повторение онтогенией филогении, но только плохое, отрывочное. «В онтогенетическом последовательном развитии многое отсутствует и потеряно, что ранее существовало в филогенетической цепи развития». «В большинство случаев это повторение очень несовершенно, многократно изменено, нарушено и извращено». Ясно, что Геккель предполагал только сходство, а не тождество обоих процессов, двух рядов развития. Заявляя, что повторение онтогенией обусловлено наследственностью и приспособлением, Геккель таким пониманием примирял повторение и неповторение, палингенез и ценогенез. Чем сильнее выступает явление приспособления, тем более сокращенно и искаженно онтогенез повторяет филогенез. Автор не может понять, как разрешается противоречие между зависимостью хода онтогении от внешних условий и учением о зависимости его от хода филогении.

В ограничительном смысле толкуют биогенетический закон Вейсман, Шмидт, Плате, Штейнман, Форель и др. Вейсман понимает онтогению, как процесс сокращенного, видоизмененного повторения филогении. Дарвинист Плате называет теорию рекапитуляции правилом, имеющим многочисленные исключения. Шмидт, ортодоксальный защитник геккелевского понимания биогенетического закона, находит, что формула последнего правильна, но она должна пониматься с большими ограничениями.

Такой же бесплодной попыткой является стремление Эйнгорна доказать, что сторонники биогенетического закона отождествляют форму организма с его сущностью. Они не говорят, как думает автор, что изменение формы есть изменение сущности, что тождество форм означает тождество существ. Если они говорят, что высшие организмы в своем эмбриональном развитии повторяют формы простейших одноклеточных существ, так как развитие начинается с одноклеточной стадии, то это еще не значит, что не предполагается сложность строения зародышевой плазмы и что последняя отождествляется с строением одноклеточных. После обоснования хромозомной теории наследственности, которая связывает все особенности каждого организма с присутствием особых генов в хромозомах зародышевых клеток, никто не может идентифицировать зародыш сложного организма с его одноклеточным прототипом. «Яйцо и сперматозоид человека,—говорит Вейсман,—содержат, хотя бы в непознаваемой прямо форме, все детерминанты развитого человеческого тела, но это мало меняет их существо, как клеток, специальная форма яйцевой клетки или живчика; сравнение касается при этом существенного, но не второстепенного»[1]). Аналогичную мысль высказывает и Шмидт: «Содержащиеся в яйцевой клетке «зачатки» ни в малейшей степени не меняют ее существа, как клетки». Дальше он повторяет слова Вейсмана: «Сравнение касается существенного, но не второстепенного» (29). Не то же ли говорит и Северцов: «Когда морфолог, стоящий при своих исследованиях на точке зрения биогенетиче-

[1]) A. Weismann, Vorträge, B. II, S. 160.

ского закона, говорит о «рекапитуляции» или повторении признаков, то он, конечно, утверждает не тождество идиоплазмы, а сходство непосредственно наблюдаемых морфологических и гистологических признаков» [1]). А это сходство говорит о том, что яйцо и сперматозоид являются все-таки простыми клетками, несмотря на то, что они несут в себе наследственность, которой простейшие животные не обладают. Без признания причинной связи, без принятия того, что развитие индивида определяется рядом предков, весь этот поразительный параллелизм был бы чудом, т.-е. чем-то абсолютно непонятным» [2]).

Для эволюционистов сильное внешнее различие организмов не означает еще различия по существу (яйцо и сперматозоид, различные формы при метаморфозе, полиморфные организмы). Хорошо им известна разносторонняя модификационная изменчивость внешней формы организмов, не затрагивающая зародышевой плазмы. С другой стороны, внешнее сходство организмов не свидетельствует еще об их тождестве, родстве. Эволюционная теория не говорит, как ошибочно утверждает автор, что сходство организмов может быть об'яснено только родством (64). Все те случаи внешнего сходства генетически различных организмов, которые приводятся для посрамления эволюционного учения, хорошо известны теоретикам последнего и ими давно об'яснены. Происхождение явления мимикрии, на которое ссылается критик, истолковано с точки зрения теории естественного отбора ни кем иным, как крупнейшими дарвинистами—Уоллесом, Вейсманом, Плате. Они не забывали, что за поверхностным внешним сходством двух организмов не скрывается не только тождество внутренней структуры, но и более тонкое морфологическое подобие. Относительно сходства копии оригиналу в случаях мимитизма у бабочек Вейсман говорит: «Сходство это не распространяется на подробности, видимые в лупу или в микроскоп, и прежде всего не распространяется на гусеницу, куколку или яйцо» [3]). Какой смысл после этого могут иметь слова автора: «Уже факт независимого возникновения сходства чрез подражание потрясает права общего основного положения эволюционной теории, что сходство может быть об'яснено не иначе, как через родство»? (64).

Явление конвергенции эволюционная теория опять-таки об'ясняет не как следствие родства, а как результат влияния одинаковых внешних условий. Приводимые примеры сходства, проявление одинаковых особенностей у растений, обитающих в различных областях земной поверхности, обладающих одинаковыми климатическими и почвенными условиями, не могут подорвать эволюционное учение. К явлениям конвергации под влиянием одинаковых внешних условий относится, например, тот факт, что флора морского побережья, песчаных дюн, скалистых гор всюду обладает аналогичными особенностями. С другой же стороны, большое сходство флоры и фауны высот Альп и крайнего севера об'ясняется тем, что во время ледникового периода северные животные и растения распространились по всей Европе, пока изменение климата не уничтожило всех неприспособленных, за исключением обитавших на высоких горах.

[1]) Северцов, Этюды, стр. 62.
[2]) Leche, Der Mensch, 2A, S. 169.
[3]) Weismann, Vorträge, B. I, S. 88.

Эйнгорн обвиняет Геккеля и его последователей в том, что они отождествляют онтогению с филогенией, считают их идентичными, параллельными явлениями. Но Геккель сам ограничивал значение своего закона. Он признавал «не в полном смысле слова полное и безусловное» повторение онтогенией филогении, но только плохое, отрывочное. «В онтогенетическом последовательном развитии многое отсутствует и потеряно, что ранее существовало в филогенетической цепи развития». «В большинстве случаев это повторение очень несовершенно, многократно изменено, нарушено и извращено». Ясно, что Геккель предполагал только сходство, а не тождество обоих процессов, двух рядов развития. Заявляя, что повторение онтогенией обусловлено наследственностью и приспособлением, Геккель таким пониманием примирял повторение и неповторение, палингенез и ценогенез. Чем сильнее выступает явление приспособления, тем более сокращенно и искаженно онтогенез повторяет филогенез. Автор не может понять, как разрешается противоречие между зависимостью хода онтогении от внешних условий и учением о зависимости его от хода филогении.

В ограничительном смысле толкуют биогенетический закон Вейсман, Шмидт, Плате, Штейнман, Форель и др. Вейсман понимает онтогению, как процесс сокращенного, видоизмененного повторения филогении. Дарвинист Плате называет теорию рекапитуляции правилом, имеющим многочисленные исключения. Шмидт, ортодоксальный защитник геккелевского понимания биогенетического закона, находит, что формула последнего правильна, но она должна пониматься с большими ограничениями.

Такой же бесплодной попыткой является стремление Эйнгорна доказать, что сторонники биогенетического закона отождествляют форму организма с его сущностью. Они не говорят, как думает автор, что изменение формы есть изменение сущности, что тождество форм означает тождество существ. Если они говорят, что высшие организмы в своем эмбриональном развитии повторяют формы простейших одноклеточных существ, так как развитие начинается с одноклеточной стадии, то это еще не значит, что не предполагается сложность строения зародышевой плазмы и что последняя отождествляется с строением одноклеточных. После обоснования хромозомной теории наследственности, которая связывает все особенности каждого организма с присутствием особых генов в хромозомах зародышевых клеток, никто не может идентифицировать зародыш сложного организма с его одноклеточным прототипом. «Яйцо и сперматозоид человека,—говорит Вейсман,—содержат, хотя бы в непознаваемой прямо форме, все детерминанты развитого человеческого тела, но это мало меняет их существо, как клеток, специальная форма яйцевой клетки или живчика; сравнение касается при этом существенного, но не второстепенного»[1]). Аналогичную мысль высказывает и Шмидт: «Содержащиеся в яйцевой клетке «зачатки» ни в малейшей степени не меняют ее существа, как клетки». Дальше он повторяет слова Вейсмана: «Сравнение касается существенного, но не второстепенного» (29). Не то же ли говорит и Северцов: «Когда морфолог, стоящий при своих исследованиях на точке зрения биогенетиче-

[1]) A. Weismann, Vorträge, B. II, S. 160.

своего закона, говорит о «рекапитуляции» или повторении признаков, то он, конечно, утверждает не тождество идиоплазмы, а сходство непосредственно наблюдаемых морфологических и гистологических признаков» [1]). А это сходство говорит о том, что яйцо и сперматозоид являются все-таки простыми клетками, несмотря на то, что они несут в себе наследственность, которой простейшие животные не обладают. Без признания причинной связи, без принятия того, что развитие индивида определяется рядом предков, весь этот поразительный параллелизм был бы чудом, т.-е. чем-то абсолютно непонятным» [2]).

Для эволюционистов сильное внешнее различие организмов не означает еще различия по существу (яйцо и сперматозоид, различные формы при метаморфозе, полиморфные организмы). Хорошо им известна разносторонняя модификационная изменчивость внешней формы организмов, не затрагивающая зародышевой плазмы. С другой стороны, внешнее сходство организмов не свидетельствует еще об их тождестве, родстве. Эволюционная теория не говорит, как ошибочно утверждает автор, что сходство организмов может быть об'яснено только родством (64). Все те случаи внешнего сходства генетически различных организмов, которые приводятся для посрамления эволюционного учения, хорошо известны теоретикам последнего и ими давно об'яснены. Происхождение явления мимикрии, на которое ссылается критик, истолковано с точки зрения теории естественного отбора ни кем иным, как крупнейшими дарвинистами—Уоллесом, Вейсманом, Плате. Они не забывали, что за поверхностным внешним сходством двух организмов не скрывается не только тождество внутренней структуры, но и более тонкое морфологическое подобие. Относительно сходства копии оригиналу в случаях мимитизма у бабочек Вейсман говорит: «Сходство это не распространяется на подробности, видимые в лупу или в микроскоп, и прежде всего не распространяется на гусеницу, куколку или яйцо» [3]). Какой смысл после этого могут иметь слова автора: «Уже факт независимого возникновения сходства чрез подражание потрясает права общего основного положения эволюционной теории, что сходство может быть об'яснено не иначе, как через родство»? (64).

Явление конвергенции эволюционная теория опять-таки об'ясняет не как следствие родства, а как результат влияния одинаковых внешних условий. Приводимые примеры сходства, проявление одинаковых особенностей у растений, обитающих в различных областях земной поверхности, обладающих одинаковыми климатическими и почвенными условиями, не могут подорвать эволюционное учение. К явлениям конвергенции под влиянием одинаковых внешних условий относится, например, тот факт, что флора морского побережья, песчаных дюн, скалистых гор всюду обладает аналогичными особенностями. С другой же стороны, большое сходство флоры и фауны высот Альп и крайнего севера об'ясняется тем, что во время ледникового периода северные животные и растения распространились по всей Европе, пока изменение климата не уничтожило всех неприспособленных, за исключением обитавших на высоких горах.

[1]) Северцов, Этюды, стр. 62.
[2]) Leche, Der Mensch, 2A, S. 169.
[3]) Weismann, Vorträge, B. I, S. 88.

Эйнгорн прав в том отношении, что не все еще проблемы биогеографии решены, но это ни в малейшей степени не говорит против эволюционного учения, а свидетельствует только о чрезвычайной сложности явлений. Спорным вопросом продолжает оставаться биогеографическая теория Дарвина о монохроническом и монотопном происхождении видов (каждый вид только раз и только на одном месте возник, из которого распространился). В пользу монотопного учения говорит то соображение, что трудно предполагать такое чрезвычайно полное совпадение сложных условий, чтобы одни и те же виды могли возникнуть одновременно в двух различных местах или в два различные момента независимо друг от друга. Сторонники политопного независимого возникновения подобных или тождественных форм не в состоянии доказать, что процесс эволюции протекал одинаково в различных пунктах земной поверхности или в различные геологические периоды и при наличности совершенно одинаковых внешних условий. Без доказательства этого политопная теория висит в воздухе и усложняет только проблему.

Для эволюционной теории не существует той антитезы: сходство—различие, которую приписывает ей Эйнгорн. Она исходит из признания двух основных свойств организма: консервативной силы наследственности, прочно фиксирующей сходные признаки родственного ряда и прогрессивной силы изменчивости, нарушающей состояние равновесия, уклоняющей организм от среднего типа. Дарвинская таблица-схема, иллюстрирующая принцип расхождения признаков, показывает в процессе эволюции действие одновременно двух сил—изменчивости и наследственности, которые не исключают друг друга. Дарвин и его школа не исходят в своих построениях из признания действия исключительно одного какого-либо свойства организма. Его теория отводит относительную роль этим двум свойствам. Разнообразие об'ясняется приспособлением, однообразие—общим происхождением. Понятен с точки зрения эволюционной теории факт существования гомологичных и аналогичных органов. Гомологии об'ясняются общностью происхождения, аналогии—образом жизни, приспособлением к одинаковым условиям. Если, с одной стороны, сходство организмов не говорит еще об их родстве, то, с другой стороны, «степень сходства является масштабом кровного родства; чем больше она, чем больше она проявляется в анатомических, эмбриологических и биологических признаках, тем теснее генеалогическая связь, и чем больше различие, тем дальше позади находится общий предок» (Плате). Плате, как видим, в качестве критерия родственных отношений считает сходство не одних внешних признаков, но совокупности целого ряда признаков. Он говорит, что даже «совершенно различные организмы (морфологически) могут быть связаны кровным родством». При определении степени родства принимают во внимание данные сравнительной анатомии, эмбриологии, систематики, серодиагностики, результаты скрещивания. В каждом случае необходим биологический и генетический анализ.

Геккель утверждал, что чем теснее связаны между собой кровным родством организмы, тем наблюдается большее сходство между процессами их онтогенетического развития. И сходство выражено у зародышей разных родственных видов сильнее, чем

у вполне развитых особей. Чем моложе эти зародыши, тем сильнее сходны они между собой. Автор напрасно потратил много усилий, чтобы доказать, основываясь на работах Гисса, что зародыши различных животных только похожи, но не являются абсолютно одинаковыми. Правильно отвечает Лехе: «Каждому с обычной силой суждения должно быть само собой понятно, что из абсолютно одинаковых зачатков при одинаковых остальных отношениях ничего другого не может получиться, как абсолютно идентичный продукт. Что касается того, что эмбрионы различных животных типов абсолютно сходны между собой на какой-нибудь ступени развития, я никогда не слыхал, чтобы здравомыслящий биолог утвёрждал это, также чтобы кто-нибудь принимал, что яйца двух различных животных во всех отношениях построены идентично, хотя бы мы при наших современных средствах исследования не могли установить между ними никакого различия» [1]).

VIII.

Эмбриология доставляет особенно убедительные доказательства правильности эволюционной теории. Уже одно то явление, что каждый высший организм развивается из одной клетки, убедительно свидетельствует об эволюционном развитии органического мира. Чулок в своем новейшем произведении говорит, что «эмбриологические доказательства эволюционной теории сохранят свое значение на все времена» [2]). «В этих крайне ценных эмбриологических доказательствах эволюции лежит также верная сущность так называемого биогенетического закона» [3]). «Без сомнения биогенетический закон остается основным принципом эволюционного учения» [4]). Такова оценка биогенетического закона многими биологами. Пусть некоторые из них биогенетический закон значительно видоизменяют или ограничивают в его значении, но основная идея его признается правильной.

Эмбриологический метод дает нам не непосредственное, а косвенное доказательство эволюционного процесса, но он имеет то преимущество, что представляет возможность наблюдать последовательность эволюционных изменений.

Для воссоздания родословной истории животного царства Геккель пользовался параллельными данными трех областей: эмбриологии, сравнительной анатомии и палеонтологии.

Сравнительно-анатомические доказательства позволяют нам делать косвенные выводы об эволюции предков данных групп на основании тех соотношений, которые существуют между строением расположенных в ряд по степени сложности организмов. В большем или меньшем внешнем сходстве организмов сравнительная анатомия видит свидетельство более или менее тесных родственных отношений. Сравнительная анатомия предлагает большое число фактов, которые становятся понятными только при рассмотрении их в свете эволюционного учения. Существование переходов от простых к сложным формам в животных группах при сохранении видоизмененного основного плана, наличность

[1]) Leche, Der Mensch, S. 176.
[2]) Tschulok, Deszendenzlehre, S. 315.
[3]) Tschulok, Deszendenzlehre, S. 163.
[4]) Schneider, Einführung in die Deszendezstheorie, 2A, S. 51.

рудиментарных, гомологичных органов могут быть об'яснены только при допущении эволюционного происхождения видов.

Палеонтология дает прямые доводы—данные для воссоздания филогении, но, к сожалению, недостаточные, вследствие неполноты геологической летописи. Хотя палеонтология не может по этой причине нарисовать полную картину родословного развития органического мира, но палеонтологические находки позволяют сделать следующие заключения: 1) от древних к позднейшим слоям земной коры наблюдается повышение организации живых существ; 2) чем ближе два слоя друг к другу, тем более похожи между собой представители животных и растений; 3) заполнена пропасть промежуточными членами, между отдельными живущими группами и 4) по отношению к отдельным групам животных найдены все последовательные ступени их филогенетического развития. По справедливому мнению Циглера, «вся палеонтология, показывающая нам смену флоры и фауны, образует непрерывное доказательство истинности эволюционной теории»[1]). Ни один «палеонтологический факт не противоречит эволюционной теории и последняя дает лучшее об'яснение ряду фактов»[2]).

В режущем противоречии к приведенным оценкам палеонтологических доказательств эволюции находятся суждения Эйнгорна. По его мнению, палеонтологические данные противоречат учению о всеобщем родстве организмов. Палеонтологические исследования принуждают признать филогенетическую неизменяемость организмов. Освобождение от ярма эволюционной теории является первым и главным условием развития палеонтологии (98). Опираясь в своих суждениях на Штейнмана, часто цитируя его, Эйнгорн забывает привести его следующую оценку: «Каждое увеличение нового палеонтологического материала способствует заполнению существующих пробелов, и каждая попытка с помощью этого увеличения связать оторванные животные и растительные формы, ведет к подобному же результату: она подтверждает теорию эволюции... Так возрастает вероятность эволюционного учения изо дня в день»[3])... В таком же смысле говорит и Шмидт: «В палеонтологии больше, чем в какой-либо другой области биологического исследования, торжествует ныне эволюционная идея, каузально-генетический метод»[4]).

Итак, палеонтологические данные отрывочны, смысл многих находок неясен, многие прорывы в цепи филогенетического развития не заполнены. В раскрытии эволюционного прошлого сделаны пока в этой области первые шаги. Но результаты убедительные уже получены, выводы сделаны. Палеонтолог Борнсак делает такое заключение: «Подтверждается, что история животного мира протекала именно так, как мы представляли ее выше, изображая развитие его в виде общего родословного дерева... Направление линий в общих чертах нам уже известно, уже рисуются очертания отдельных ветвей и их ответвлений, и наше представление о происхождении органического мира путем постепенного развития и дифференцировки по различным направле-

[1]) Ziegler, Über den derzeitigen Stand der Deszendenzlehre in der Zoologie, S 5.

[2]) Kraepelin, Einführung in die Biologie, 5 Aufl., S. 300.

[3]) Steinmann. Die geologischen Grundlagen der Abstammungslehre, S. 1.

[4]) Schmidt, Geschichte der Entwicklungslehre, S. 343.

ниям с каждой новой находкой, с каждым новым исследованием получает новую опору» [1]).

Эйнгорн высказывается против понимания процесса видообразования с точки зрения мутационной теории (110—112) на том основании, что мутации редки и что трудно представить, каким образом единственная особь может дать начало разновидности, охватывающей много особей. Следует отметить, что на основании новейших исследований мутации не представляются такими редкими явлениями, какими их считали раньше, что между мутацией Де-Фриза и наследственной вариацией Дарвина не проводят теперь той резкой грани, как раньше делали, и что поглощающее влияние скрещивания не играет той роли, которую приписывали ему раньше. Кроме того, опускается влияние борьбы за существование, в результате которой выживают лучше приспособленные. Если мутант будет обладать выгодным приспособлением, он имеет все шансы выжить и постепенно вытеснить менее приспособленные формы.

В стремлении опровергнуть неприятную теорию для Эйнгорна оказываются все средства хорошими. Искусственный отрыв элементов одного учения, затушевывание одной стороны теории в противовес искусственному выдвиганию другой стороны, подтасовка — все пригодно для достижения поставленной цели.

IX.

В заключительной главе Эйнгорн подвергает критическому разбору новейшую форму эволюционного учения, как она вылилась в произведении Чулока «Deszendenzlehre». Хотя в предшествующем изложении на всем протяжении книги центр тяжести лежал в критике эволюционного учения Дарвина-Геккеля, но в действительности он пытался разрушить основы эволюционного учения вообще, тем самым затрагивая и современное его состояние. Можно было думать, что критик ополчается против эволюционного учения в понимании Дарвина-Геккеля, так как считает его устаревшим, отжившим, но что он в той или иной мере разделяет взгляды современных сторонников его. Знакомство с последней главой рассеивает все сомнения на этот счет.

Автор иронически подчеркивает, что новейшая эволюционная теория в противоположность прежней богатой идеями («die Ideenspenderin») выразила свою идейную бедность («die Ideenbettlerin») в одном абстрактном положении, гласящем, «что организмы исторически развились». Не случайно он говорит это по адресу книги Чулока, а не по отношению к произведениям Вейсмана, Плате, Шмидта.

Чулок приводит случай мутационной изменчивости, когда потомки отличались от своих родителей константными признаками, и замечает, что «такие явления в новое и новейшее время точно наблюдали и регистрировали» (251). Эйнгорн же продолжает оставаться последовательным в отрицании возможности подлинной изменчивости. По его мнению, во всех приводимых случаях наследственной изменчивости не возникало ничего нового, но наблюдалось только „длительное проявление находившихся в

---

[1]) Борисяк, Об окаменелостях и об истории жизни на земле,—сборник «Происхождение животных и растений», стр. 242.

скрытом состоянии признаков. Критику необходимо во что бы то ни стало остаться на точке зрения постоянства видов. Если опытные факты противоречат взглядам, тем хуже для фактов.

Обоснованное новейшими исследованиями положение, что организм представляет аггрегат самостоятельных признаков, об'ясняется им спекулятивным.

В представлении критика изменчивость не является настоящей изменчивостью—способностью преобразовать самый характер систематических групп, но только способностью изменить их относительное положение путем перехода на высшую систематическую ступень. Но подобная изменчивость в понимании Дарвина путем расхождения признаков и ведет к процессу видообразования.

Эйнгорну непонятно, каким образом можно опытным путем установить эволюционную изменчивость организмов, если многие из них оставались неизменными, постоянными в течение миллионов лет. Но факт изменчивости эволюционного характера представляется опытным фактом. Идея же зависимости эволюции от влияния внешних условий для него недоступна.

Критик подчеркивает отрицательное отношение Чулока к идее архигонии и пытается с достаточным основанием уличить его—сторонника механистического понимания жизни—в непоследовательности.

На том основании, что две основные проблемы эволюционной теории—проблема факторов эволюции и проблема родословного дерева, по заявлению сторонников эволюционного учения, остаются в значительной степени еще не решенными, что в области решения этих проблем существует ряд различных теорий, Эйнгорн заключает, что эволюционная теория тем самым не может понять и об'яснить факты и причины реального процесса эволюции, что она является оторванным от опыта теоретическим построением.

Высказанная Чулоком общепринятая среди сторонников различных эволюционных течений мысль, что теория эволюции, несмотря на существование спорных теорий в области решения проблемы о движущих факторах эволюционного развития и вопроса о результатах исследования родословной истории, является прочно обоснованной и не поколебленной ни в малейшей степени, поскольку вопросы о факторах и родословном дереве представляют независимые, самостоятельные проблемы, вызывает со стороны критика ряд возражений. Он находит, что если таким путем отрыва теории эволюции от проблемы о факторах и родословном дереве и можно сохранить ее обоснованность, то ни в коем случае не ее познавательную ценность, которая без решения вопроса о том, как и под влиянием каких причин могла совершиться эволюция, стоит на уровне познавательной ценности учения о творении. Критик сознательно умалчивает, что основной сущностью эволюционной теории является идея эволюции, и она, как сказано, так прочно доказана бесчисленным рядом доводов, что не вызывает возражений, и что вопрос о родословной истории органического мира в значительной степени подвинут в решении, так же как и вопрос о факторах эволюции. Достигнутые в области решения чрезвычайно трудных вопросов результаты служат залогом дальнейшего успешного их выяснения.

Так как непосредственное выяснение реального хода филогенетического развития невозможно и так как, по признанию Чулока, выведение эволюции из одного только опытного исследования изменчивости невозможно, то из этого критик делает тот вывод, что между опытом и эволюционной теорией не существует никакой связи, что последняя является чистой дедукцией, воздушным замком. Критик опять-таки забывает, что эволюционная теория, обосновывается данными не одной какой-либо области знания, а всей совокупностью фактического материала целого ряда дисциплин. Данные одной научной области проверяются и подтверждаются доводами других наук. Но и одних палеонтологических данных было бы достаточно для эволюционного понимания истории органического мира. То же относится и к доводам других областей знания.

В конечном счете,—говорит Эйнгорн,—эволюционная теория ведет неизбежно к неразрешимым противоречиям, от которых можно освободиться только окончательным отказом от самой теории. Так заканчивает он свою книгу, к такому выводу он приходит, к нему он неуклонно стремится на всем протяжении книги.

Я ограничиваюсь этими краткими замечаниями, не останавливаясь на рассмотрении всех доводов, выдвинутых Эйнгорном против новейшей эволюционной концепции. Для каждого ясно, насколько возражения его оказываются оторванными от конкретной почвы опытных, фактических доказательств, насколько аргументы его несущественны и часто сводятся к простым словесным хитросплетениям. Во имя подрыва и научного дискредитирования враждебного мировоззрения для критика все средства хороши. В каком бы виде эволюционный принцип ни выступал, как бы ни стремились поставить его только на опытно-научную почву, Эйнгорн—сторонник неовитализма—последовательно и решительно ополчается против него. Вся его критика свидетельствует о полной неспособности рассматривать явления в их взаимозависимости и диалектическом развитии. Вся книга—отражение реакционных умонастроений среди некоторых кругов биологов. В этом ее научно-общественный смысл и значение.

Несмотря на проделанную Эйнгорном большую и напряженную критическую работу, несмотря на то, что им извлечен был из всей громадной критической литературы и пущен в ход весь арсенал доводов и возражений против эволюционной теории, его дело заранее обречено было на полную неудачу, так как он шел против науки, против ее опытных достижений, против ее методов мышления и исследования. Эволюционная теория успешно выдержит новый натиск против нее витализма. Весь неуклонный последовательный прогресс научного знания все больше и лучше ее обосновывает, все экспериментальные успехи науки говорят в ее пользу. Об этом прекрасно говорит Вейсман: «Теория эволюции одержала победу, и мы можем уверенно сказать—навсегда; эволюционное учение стало достоянием науки, которое не может быть от нее больше отнято; она образует основу наших воззрений на органический мир и отправную точку всякого дальнейшего успеха»[1]).

---

[1]) A. Weismann. Vorträge über Deszendenztheorie, S. 2.

Новое „коммунистическое“ откровение.

Р. Выдра.

Нам необходима сугубая осторожность в отношении разного рода идеологов и профессоров, выражающих самые «горячие» коммунистические симпатии. Сугубая,—потому что именно и упомянутые симпатии делают их наиболее опасными проводниками враждебных марксизму влияний. Конечно, наука у нас, в СССР, пользуется неизмеримо большей свободой развития, чем в любом буржуазном государстве, и, конечно, у нас совершенно немыслим судебный процесс вроде того, который недавно происходил в шт. Тэннеси Соед. Шт. Сев. Америки против проф. Скопса, преподававшего дарвинизм и присужденного за это к штрафу в 100 долларов. Но, что касается области идеологии, «общих мировоззрений» и пр., нет никакого сомнения, что факт диктатуры пролетариата оказывает весьма сильное влияние на всех—даже враждебных пролетариату—идеологов. Жизнь в СССР, дыхание революции, мощный хозяйственный под'ем революционной страны давит на них, заставляя их выступать под прикрытием красного знамени коммунизма, привлекая его ко всякому удобному и неудобному случаю. Ярким примером подобного «приспособления к среде» служит книга проф. Н. А. Гредескула: «Происхождение и развитие общественной жизни, т. I. Биологические основы социологии. Коммунизм в биологии. Его роль как фактора эволюции»,—появившаяся в 1925 г.

Намерения автора—самые чистые и благородные. Он видит крупный пробел в «теоретической стороне» марксизма и хочет его восполнить. Что касается «практической стороны», автор совершенно спокоен. «Тут мы, к счастью, имеем гения, стоящего в рост самому основателю марксизма: имеем Ленина (курсив автора). Нам еще долго придется черпать свои практические (но не теоретические! *Р. В.*) указания из системы ленинизма» (VIII) [1]).

Насчет «практики» марксизма дело обстоит хорошо. А вот «теория» марксизма несколько хромает. В самом деле, что есть марксизм? Как известно, Маркс был коммунистом, основателем научного социализма. С другой стороны, Маркс создал теорию общественного развития—исторический материализм. Если первая, так сказать, коммунистическая сторона основательно

[1]) Все цифры, указанные в скобках, означают стр. кн. проф. Гредескула.

разработана тов. Лениным, и за нее беспокоиться не приходится, то вторая, историко-материалистическая сторона внушает с «научной» точки зрения серьезные опасения. В самом деле, исторический материализм берет исходным пунктом своим человеческое общество. Но откуда оно взялось? Не с небес же спустилось. Проф. Гредескул чувствует здесь пробел. «Миросозерцание,—говорит он,—должно быть разработано по всем направлениям, только тогда оно становится способным вытеснить всякое другое миросозерцание и окончательно удовлетворить человека. Такая разработка марксизма, как миросозерцания (очевидно, в отличие от марксизма, как практики. *Р. В.*), будет, конечно, продолжаться без конца вместе с разработкой всего человеческого знания, потому что марксизм есть научное миросозерцание. Марксизм в этом отношении будет двигаться вместе с остальной наукой, но в особенности для него важна здесь наука о живом животном, потому что (!) человек сам есть животное» (курс. наш. *Р. В.*) (VIII). Пробел найден: нет моста между животным и человеком. Такой мост надо найти. А так как дело идет об «окончательном удовлетворении человека», то мост должен быть построен крепкий, прочный. Материалом же послужит биология, дарвинизм. «Марксизм с самого начала был близок к дарвинизму, а теперь запрос на такое сближение вырос еще больше» (VIII). Проф. Гредескул и берется ответить на столь назревший запрос: сомкнуть марксизм и дарвинизм.

Собственно говоря, со слов самого проф. Гредескула трудно уразуметь, чего он хочет. Разделивши марксизм на две стороны—теоретическую и практическую (коммунизм)—и заявивши, что речь идет об основании первой, он говорит: «... то требование, которое выдвигает здесь марксизм: уничтожения классов и водворения коммунизма в человеческой общественности (?), абсолютно правильно не только с социалистической, но и с более глубокой—биологической (курс. наш. *Р. В.*) точки зрения, ибо только выполнение его дает глубокую биологическую основу для дальнейшего прогресса человечества» (XI). Выходит, что «биологическое» основание приходится на долю практической стороны марксизма—коммунизма. Можно только радоваться такому счастливому стечению обстоятельств, но приходится одновременно пожалеть, что исторический материализм остается без биологического основания.

Оказывается, однако, что проф. Гредескул и не собирался делать это: «надо при этом иметь в виду, что он (автор) выполнял все же не биологическую, а социологическую работу. Его задачей было не описание животной общественности, как таковой, а извлечение из фактов этой общественности основ самого явления, притом основ, проходящих через все биологическое развитие» (X). Почему же это «социологическая» работа? Проследить и установить основной закон развития органического мира,—разве может быть нечто более «биологическое»? То, что этот закон касается явлений так наз. животной общественности, нисколько не выводит нас за пределы биологии. С тем же правом кто-либо, исследовавший способ постройки у различных видов животных, мог бы свою работу назвать архитектурной и т. д. Почему же все-таки проф. Гредескул считает свою работу более «социологической». Ларчик открывается очень

просто: проф. Гредескул не считал для себя обязательными «взгляды большинства биологов» на явления общественности. Худого он в этом ничего не видит, ибо «... область мнений и взглядов—это уже более свободная (курс. наш. *Р. В.*) область, чем область фактов. Тут всякому вольно иметь свое мнение» и т. д. А там, где в биологии оказывается «свобода», немедленно водворяется «социология». Вот почему работа проф. Гредескула скорее социологическая. Что же это за «свобода»? По существу она означает не что иное, как область нерешенных еще биологических проблем. Характеризовать подобное состояние науки как «свободу», в противоположность точно установленным и обязательным для всех законам и фактам, представляет по меньшей мере извращение марксистского понимания свободы, как познания. Там, где марксист-биолог чувствует себя свободным, так как понимает причинную закономерность, социолог Гредескул чувствует себя связанным фактами. Зато он с облегчением расправляет свои крылья там, где нет упрямых фактов и стесняющих полет жестких законов. Каждому свое!

Итак, проф. Гредескул в полной мере использовал все «свободные» пункты в биологии с тем, чтобы занять их своей «социологией». Он этим достиг двойного результата. Биология оказалось в тесной связи с социологией, «сомкнувшись» с ней в органическом единстве, содержа ее, так сказать, в недрах своих, на подобие того, как мать в утробе своей—ребенка. «Социология» же тем самым приобрела «глубокую, научную почву» избегнуть серьезной опасности повиснуть со своим исходным пунктом в воздухе и найдя свою родную мать—биологию, из чрева которой и выходит самым естественным образом. Такое положение вещей позволяет проф. Гредескулу выставлять уже не голые, оторванные от социологии биологические истины и не столько же изолированные социологические истины, а истины био-социологические: «утверждение, что человеческая общественность есть прямое продолжение стадной общественности, есть поэтому основная био-социологическая истина» (209). И тут же добавляет: «В ней заложена основная смычка между биологией и социологией, а, следовательно, и между дарвинизмом и марксизмом» (курсив наш. *Р. В.*). Как видно, марксизм приобрел «глубокое научное—в лице дарвинизма—обоснование».

Книга проф. Гредескула рассчитана на широкого читателя. Приводимый биологический материал, его расположение, весьма усердное использование «свободных» мест в биологии с «социологическими» целями, бросающееся в глаза подчеркивание «коммунистических» тенденций в органическом развитии, заманчивая перспектива получить столь почтенных по возрасту «коммунистических» предков, как protozoon,—все это создает опасность увлечения подобными конструкциями нашей учащейся молодежи. Является поэтому необходимым остановиться более подробно на поднятых в книге вопросах и на том разрешении, которое дает им проф. Гредескул.

Во-первых, насчет биологии. Надо отдать справедливость проф. Гредескулу: в предисловии он сразу заявляет — «Будучи неспециалистом в биологии» и т. д. Признание со стороны профессора весьма ценное. К сожалению, оно имеет и обратную

сторону: если профессор признает себя неспециалистом в одном отношении, то, без сомнения, считает себя специалистом в другом. Вполне естественным казалось бы, что «неспециализированию» в биологии противопоставляется «специализированность» в другой науке, в данном случае социологии. Ничуть не бывало. Оказывается, что профессор считает себя неспециалистом лишь в отношении «бесспорных фактов» и настолько не доверяет себе, что приводит «их чаще всего подлинными словами этих ученых» (XI). Где же обнаруживается «специальность» и безбоязненность проф. Гредескула? В области взглядов (курс. автора) биологов. Итак, можно быть неспециалистом в области фактов биологии и быть зато специалистом в области взглядов биологии. Как это ни странно, но известное оправдание такому положению вещей мы находим в самой биологии. Вот как о ней отзывается один из современных крупных немецких биологов Ю. Шаксель: «Новейшая биология далека от сколько-нибудь ясного и простого состояния. Она вообще не может представить выводов планомерного исследования в стройном и общеприложимом порядке. Вместо теоретической науки здесь скорее неоднородное многообразие областей, вопросов, толкований и суждений» [1]). Понятно, что такое положение в биологии благоприятствует возникновению и существованию в ней всякого рода витализма, неовитализма, теории «жизненного порыва» Бергсона [2]) и т. п. Несмотря на свои формальные различия, все они по существу представляют собою попытки идеализма водворить под тем или иным видом «дух» в органическом развитии. Он может очень сильно разниться от «святого духа», составляя с ним по сути одно и то же. Мало того, биологический «дух» может принимать самые неожиданные, самые, можно сказать, симпатичные формы, он может вынырнуть под видом... коммунизма в биологии. Тем не менее этот «коммунизм» нисколько не свидетельствует о марксистском понимании биологии, никакой «смычки» марксизма с дарвинизмом не дает и во всяком случае не превращает «биологического коммуниста» в марксиста. Яркий пример этому дает проф. Гредескул.

Он претендует на то, чтобы выяснить все значение такого «фактора» эволюции, на который до сих пор не было обращено достаточно внимания биологами: какой же это «фактор». Коммунизм. Что он собою представляет? «Общественная жизнь, как она проходит через все ступени животного развития, прежде всего, тождественна с общностью жизни живых (?) существ или с их коммунизмом» (X). Итак, коммунизм=общности жизни=общественной жизни, как она проходит и т. д. Нет никакого сомнения, выигрыш для биологии—огромный. Если биология до сих пор не могла охватить, так сказать, в единство явления колониальности, семейности, стадности и общественности, то нынче такое единство уловлено в лице коммунизма. Мало того, отныне биология может той или иной ступенью коммунизма выражать различные степени высоты органического развития. На самой низшей ступени находятся вовсе не знающие

---

[1]) «Вестник Коммунистической Академии», № 12, 1925 г., стр. 210.

[2]) Влияние последнего на проф. Гредескула весьма сильно чувствуется в схеме: неподвижный мир растений—застывший инстинкт—свободный интеллект.

коммунизма; выше их стоят «колонии», знакомые уже с зачатками коммунизма, но в самой несовершенной форме его—пространственной; еще выше—организмы, преодолевшие пространственный коммунизм и превратившие его в дифференцированно-интегрированный коммунизм, еще выше—семейно живущие организмы, семья которых представляет более совершенный коммунизм, основанный на «психизме» и т. д. На вершине же всего—стадная общественность (тоже коммунизм, основанный на инстинкте, сочетающемся с известными эмоциями и представлениями) «прямое продолжение которой—человеческая общественность» (209). Коммунизм оказывается столь же всеоб'емлющ, как и вся жизнь.

История повторяется,—хотя с небольшими изменениями, но все же повторяется. Как вся конструкция проф. Гредескула напоминает собою ту, против которой в свое время выступал так резко Маркс! «Г. Ланге,—писал Маркс 27 июня 1870 г. к Кугельману,—сильно хвалит меня... с целью самого себя выставить великим человеком. Дело в том, что г. Ланге сделал великое открытие. Всю историю можно подвести под единственный великий естественный закон. Этот естественный закон заключается во фразе Struggle for life—борьба за существование (выражение Дарвина в этом употреблении его становится пустой фразой), а содержание этой фразы составляет мальтусовский закон о населении или, вернее, о перенаселении. Mutatis mutandis все это может быть применено и к проф. Гредескулу. В самом деле, что представляет собою его основное определение: коммунизм—общность жизни живых существ? Либо это тавтология, пустая, никому в биологии не нужная, либо это есть такая характеристика биологических явлений, которая *имеет целью внести в них «дух»*,—*хотя бы и «коммунистический»*, *но все-таки «дух»*. Недаром проф. Гредескул называет свою работу «социологической», ибо он «знает, что биологу нечего делать со вновь конструированным «понятием» коммунизма; оно здесь играет такую же роль, какую struggle for life играет в истории, т.-е. «становится пустой фразой».

Однако именно потому, что «пустота фразы» тщится заполниться биологическим содержанием, она приобретает совершенно особый характер. Задачи проф. Гредескула идут очень далеко. Он собирается показать, что установленный им коммунизм «всюду служит основой для перехода к *высшим* формам жизни». Как он это «показывает, мы сейчас увидим».

«Коммунизм», эта «общность жизни живых существ», проходит *непрерывной* (как «основа») красной нитью через все органическое развитие, *преемственно и необходимо* приводит от одного типа к другому, от колониальности—к организму, от организма—к семье, от семьи—к стаду и т. д. И вот, говоря об основе семьи—явлениях родительской любви, проф. Гредескул вдруг заявляет: «Их (явления родительской любви) *приходится принимать как факт* (курс. наш. *Р. В.*), возникающий в процессе приспособления к окружающим ее условиям. И уже *исходя из них, как из данного факта* (курс. наш. *Р. В.*), приходится об'яснять главное — процесс эволюции жизненных форм» (97). Как же это так выходит?

потратить столько энергии на доказательство того, что «процесс эволюции жизненных форм» имеет под собою одну «глубокую основу» и вдруг... явления родит. любви «приходится принимать как факт и из них исходить, как из данного факта»! К чему же тогда было огород городить насчет колониальности, организмов и пр., если из них ничего извлечь нельзя, если «основа» теряется, и мы оказываемся вынужденными явления родит. любви принимать как факт. Чего тогда стоят все рассуждения об отношении принципа семьи к биогенетическому закону, о ее значении для онтогенезиса и филогенезиса, кроме того, что они весьма прозрачно обнаруживают стремления проф. Гредескула привить во что бы то ни стало «коммунистические» принципы органическому развитию?

Примерно так же обстоит дело, когда проф. Гредескул подходит к вопросу о происхождении «общества» (не человеческого, а общества вообще): «Решающим,—говорит он,—в вопросах этого рода (т.-е. вопросах того, кто является суб'ектом общественности) надо считать не происхождение общества (курс. наш. *Р. В.*), а его состав и характер его жизни и деятельности» (119). Навряд ли тут могут помочь дальнейшие рассуждения насчет «точки зрения функции и деятельности», каковые меняются в семье и превращают ее в «общество». Факт остается фактом: проф. Гредескул вновь теряет свою «основу» и призывает нас исходить из того, что есть—«состава и характера жизни». Все остальное должно быть отнесено за счет «коммунистических» тенденций автора.

Это пункты, в которых, так сказать, сам проф. Гредескул сдает. Но что же получается, когда он выступает во «всеоружии» биологического материала? Тут «коммунизм» торжествует во-всю. «Колониальность мы должны характеризовать, как органическую общественность» (36). Разве теперь не ясно, что такое колониальность? Ведь «общественность» — это основа, она все определяет. В свое время она определяет стадо, общество. Покамест, на низшей ступени она определяет колониальность. Сама по себе последняя не имеет ни самостоятельного существования, ни значения.

А возникновение организмов? Описав процессы взаимодействия клеток колонии, приводящие под влиянием окружающей среды к дифференциации и интерпретации, т.-е. дав действительную картину возникновения организма с развитием экзотермы и эндодермы, проф. Гредескул не считает вопрос исчерпанным и отводит почетное место своей «коммунистической» тенденции. «Что же,—вопрошает он,—дало возможность совершить такой шаг в эволюции жизни: переход ее от одного типа к другому, от низшего к высшему?» И отвечает «Общественность — и только она одна» (курс. наш. *Р. В.*) (67). Еще хорошо, что проф. Гредескул в данном случае вооружил свою «общественность» столь слабой категорией, как возможность. Хотя надо полагать, что это только «lapsus linguae»: из самого изложения следует, что «общественность» не только «дает возможность», но весьма активно вмешивается в действительность.

Чем дальше, тем больше действие «коммунизма» становится все ощутительнее. Основной биогенетический закон Геккеля должен потесниться, чтобы дать место новому фактору в биологии.

В самом деле, каким образом мог бы осуществиться онтогенезис при все усложняющемся филогенезисе? Тот способ, каким природа выполняла биогенетический закон—способ усиленного размножения, оказался слишком расточительным, а, главное, упирающимся исключительно в тупик бесконечно возрастающего количества. Но тут на помощь пришел «коммунистический» фактор в лице семьи и родительского ухода за потомством, позволившего под своим прикрытием проделать целиком онтогенезис при усложнившемся филогенезисе. Благодетельное влияние «коммунизма» на-лицо. Он подчинил своей регулирующей силе и закон размножения, и закон равновесия вида в окружающей среде, словом «весь прогресс жизни от ее наиболее низких к наиболее высоким формам покоится на нем (факторе родительской заботы) и его значение, при переходе к самым высшим формам не только не уменьшается, но, наоборот, возрастает» (93).

Уже в последних словах почти полностью выявляется вся тенденция проф. Гредескула. Уже в этом игнорировании многообразных определений, которые терпит органическое развитие, и в выпячивании и в подчеркивании одной стороны—«коммунистического фактора», в этом неуклонном стремлении представить различные проявления органического развития как функции «коммунизма»,—можно ясно усмотреть одно: уклонение от единственно допустимого в биологии метода—аналитико-экспериментального, вольное метафизирование на «коммунистические» темы. В конце концов получается в видоизмененной форме пресловутая телеология. Место руководящего принципа занимает таинственная «основа»—коммунизм.

Нет нужды останавливаться на роли третейского судьи, которую проф. Гредескул занимает в вопросе о происхождении материй. Если даже он и прав в своем утверждении, что «метамерное тело червя образовалось из предварительно возникшей колонии индивидуумов» (78), то его аргументация ad communismum здесь совершенно не при чем и во всяком случае нисколько не способствует научному решению вопроса, т.-е. единственно приемлемому решению. Пока его нет, всякое другое конкретное решение есть метафизика. Проф. Гредескул как будто и сам это знает. Он говорит: «когда эти недостающие нам теперь факты будут раскрыты, будет твердо решен и обсуждаемый нами сейчас вопрос. Это могут, конечно, сделать только сами естествоиспытатели (курс. наш. *Р. В.*) в своей дальнейшей работе над вопросом» (77). Однако, несмотря на столь категорическое заявление, он тут же добавляет: «пока дело обстоит так... мы вправе... составить себе по этому поводу известное мнение». Каково может быть его научное значение, говорить не приходится.

Натянутость построений проф. Гредескула растет по мере того, как он подвигается по лестнице органического развития и все больше изолирует излюбленный принцип «общественности или «коммунизма». Что такое любовь и страсть в животном мире? В чем их различие? И тут проф. Гредескул переходит на психологические рельсы. Возникает «эмоция нежности», альтруизм. Вслед за ними—брак. «Птицы в брачном отношении—недосягаемый образец не только для других животных, но и для людей (!)» (110). Возникший в браке «альтруизм» распространяется

впоследствии на потомство, так что он является «основой» семьи, как поддерживающий и обусловливающий ее «коммунистический» принцип. Охватывая далее потомков, среди которых царит свобода, равенство и братство, альтруизм или «коммунизм» теряет свой корыстный характер и становится стадным инстинктом и т. д. Не без большого труда проф. Гредескулу удается довести свой «коммунизм» до человеческой общественности, «составляющей прямое продолжение стадной общественности».

Так проф. Гредескул завершает свою задачу по «извлечению из фактов этой (животной) общественности основ самого явления, притом основ, проходящих через все биологическое развитие» (X). Что означают эти «основы»? Что дают они биологии? Ровным счетом—ничего. Назвав явления колониальности «коммунизмом», определив причину появления индивидуальных организмов, как проявления «коммунистической» тенденции, связав с ней, не только с ней одной, все многообразные явления органического развития, опустив все остальные определяющие его моменты, проф. Гредескул добился лишь того, что напустил в биологию «коммунистического» туману, который об'ективно играет в ней ту роль, что подменяет собою дальнейшее научное исследование в затронутых вопросах (к счастью, навряд ли его книга произведет переворот в биологии), а, с другой стороны, размножает, обезличивает и лишает верного значения понятия общества и общественного развития. Проф. Гредескул ставил себе одностороннюю задачу—подвести «научный» биологический базис под марксизм. Он, очевидно, не задавался вопросом об обратной стороне процесса—является ли введение «коммунизма» в биологию научным приемом, сообщающим ей ту точность и стройность, которую вправе ожидать от всякого научного приема. Биологи-марксисты ответят самым категорическим—нет!

Иного ответа и быть не может, ибо то, что проделывает проф. Гредескул, является форменным извращением отношения марксизма и дарвинизма и каждого из них в отдельности. Самое представление о марксизме, как о сумме истмата и коммунизма, может лишь вызвать смех у человека, знакомого хотя бы с зачатками марксизма. Марксизм есть диалектический материализм. В качестве такового он охватывает все науки, представляя в них единственно правильную, т. е. научную точку зрения, и единственно научную методологию. Он поэтому в одинаковой мере проникает и в физику, и в химию, и в биологию, и в общественные науки. Представлять дело таким образом, будто марксизм ближе всего биологии и потому в ней черпает свое научное основание непосредственно, как из своей почвы, значит, во-первых, ограничивать марксизм как мировоззрение, а, во-вторых, ставить их отношение на голову. Ограничивать потому, что в таком случае марксизм оказывается лишь частным выводом отдельной науки-биологии, в лучшем случае—одним из ее обобщений (чего, собственно говоря, и добивается проф. Гредескул), ставить на голову потому, что по интерпретации проф. Гредескула выходит, что верхний этаж поддерживает нижний, что основной закон органического развития оказывается вовсе не биологическим, а «коммунистическим», социо-

логическим, если допустить, что проф. Гредескул имел в виду исторический материализм.

Современная биология знает уже отчасти применение диалектического материализма или марксизма. Он заключается там в решительной борьбе против витализма, неовитализма и пр. видов идеализма и в требовании строго экспериментального метода исследования. Системы, в которые могли бы быть сведены общие положения современной биологии, совсем не совпадают с марксизмом в биологии—они только результат его отчасти стихийного, отчасти сознательного применения. Они, согласно различению т. Ленина, ф о р м ы материализма, а не суть его Дать картину животного развития, как она вытекает из точных данных современной биологии,—это, конечно, значит способствовать распространению марксизма, ибо нелегко теперь приходится идеалистам в их протаскивании своего «духовного» груза через строгий контроль современного естествознания, которое стихийно стоит на материалистической точке зрения. Но другое дело то, что дает проф. Гредескул: картина, представленная им, весьма далека от точных экспериментальных данных биологии, а поскольку последние имеются, они являются лишь затейливыми узорами на основной идеалистической канве—неопределенном «коммунистическом факторе». Это хотя очень «коммунистично», но так же далеко от марксизма, как небо от земли.

Еще хуже обстоит дело, когда вновь найденный «биологический принцип» пускается дальше в ход и становится «био-с о ц и о л о г и ч е с к о й и с т и н о й». Собственно говоря, можно вполне согласиться с проф. Гредескулом, что его работа не биологическая, а «социологическая». Весь смысл ее именно в «социологии». Глубокий «рейд» в области биологии представляет лишь подсобную операцию по отношению к основной стратегической задаче: подвести «научное» основание под исторический материализм, или, как выражается профессор, под «марксистскую социологию». В этой работе он не чувствует себя первым. Он знает, что уже была попытка подвести «биологические» основы под теории общественного развития. Мало того, проф. Гредескул сам выступает с критикой так наз. дарвинистической школы в социологии. Но как замечательно характерна эта критика! То заключая «дарвинистическую школу» в кавычки, то употребляя ее без оных, он все время лавирует, старается смазать вопрос об отношении дарвинизма и марксизма, заменить его вопросом об отношении «дарвинистической школы» и «социологии». При этом он в качестве «ученого» воздает должное другим «ученым», совершившим лишь ошибку и «применившим дарвинизм невпопад», но правильно и «научно» поставившим вопрос о дарвинизме и социологии. Перечислив основные законы дарвинизма, проф. Гредескул замечает: «Такая постановка вопроса сама по себе заслуживает полного внимания, ибо законы дарвинизма суть законы жизни, а человеческое общество есть только часть жизни» (6). Иными словами, законы «человеческого общества, как части жизни» суть лишь частный случай «законов жизни» и могут быть научно поняты лишь у последних. Как это напоминает приводимое тов. Лениным рассуждение Ф. Блея: «Всеми своими современными теориями политическая экономия (одна из наиболее разработанных общественных наук.

Р. В.) стоит на метафизической почве, все ее теории небиологичны и поэтому ненаучны и не имеют никакой ценности для познания... (курс. наш. *Р. В.*). Теоретики не знают, на чем они строят свои теории, плодами какой почвы эти теории являются» [1]). Блей имеет то преимущество перед проф. Гредескулом, что остается совершенно последовательным идеалистом, не делая таких реверансов в сторону марксизма, вроде: «марксизм есть научное миросозерцание» (VIII). Блей нашел соответствующую оценку со стороны тов. Ленина, но что сказать о новоявленном «ленинце» и «марксисте» проф. Гредескуле, который заявляет: «Все это было дарвинизмом (курс. наш. *Р. В.*), но дарвинизмом, примененным невпопад» (8)! Не в кавычках дарвинизмом, а настоящим, только «примененным невпопад»! Почему? Потому, что слишком большое значение было придано закону борьбы за существование, естественного отбора и т. д., в противоположность закону «взаимопомощи». Да еще потому (!), что «дарвинистическая школа в лице целого ряда своих представителей стала защитницей войны и порабощения—вне и господства и эксплоатации—внутри» (8).

Какая, с позволения сказать, наивность и благородство со стороны проф. Гредескула! Не говоря о том, что он, конечно, отвергает всякого рода разбойничьи выводы, которые были сделаны из «дарвинизма», он в душевной чистоте своей поверил Гумпловичу и tutti quanti, что они «правильно ставят вопрос». Дарвинистическая школа в социологии, ничего общего с действительным дарвинизмом не имеющая, за исключением разве пустого словоупотребления «дарвинизм» для пущей учености и псевдонаучной основательности,—эта школа представляется научно правильной, но нуждающейся лишь в дополнении и исправлении! Маркс и Ленин, когда встречались с подобными попытками биологизировать общественные науки, решительно отмечали самую постановку вопроса, ибо как настоящие диалектики понимали, что значит конкретность и качество. С этой точки зрения всякая попытка «исправить» дело введением нового биологического «закона» представляет лишь обходный маневр по отношению к марксизму, по сути ту же борьбу против него. Своей критикой «дарвинистической школы» проф. Гредескул хочет сказать, что борьба за существование, естественный отбор и пр. действительно противоречат марксизму, что единственное его «научное» спасение—в новом «биологическом» законе—«коммунизме», «альтруизме» животного мира. И напрасно, мол, Маркс так восторженно встретил «Происхождение видов». Бедный Маркс! Он не знал, что согрел змею на своей груди, что дарвинизм со всей силой ополчился против созданной Марксом теории научного коммунизма! К счастью для марксизма, дарвинизм оказался о двух сторонах и одной своей стороной—«коммунизмом»—всецело «обосновывает» и подводит «научный» фундамент под марксизм. Отныне мы можем быть спокойны: сама биология в лице универсального закона «коммунизма» в органическом мире вступила в классовую борьбу на стороне пролетариата. Столь долгожданная «смычка» марксизма с «дарвинизмом» состоялась. Конечно, до

[1]) Н. Ленин, Собрание сочинений, т. X, стр. 266.

тех пор, пока марксизм пытался «сомкнуться» с противоречащей ему и отрицающей его стороной дарвинизма—борьбой за существование и пр., это было «неправильно», «односторонне», приводило к таким скверным результатом, как империалистическая идеология. Но лишь только марксизм нащупал другую сторону дарвинизма, родную, «альтруистическую», «коммунистическую»—и смычка совершилась самым естественным образом.

«Избави нас, боже, от друзей; от врагов мы сами избавимся!» Марксизм не нуждается в той «дружеской» услуге, которую ему хочет оказать проф. Гредескул. Как ни проникнуты «коммунизмом» его построения, они стоят столько же, сколько и другие «биологические» построения, направленные на об'яснение общественных явлений. Марксизм нисколько не страдает от того, что в органическом развитии действует закон борьбы за существование. Точно также у него нет никаких особых оснований игнорировать его и выпячивать в качестве принципа «взаимопомощь», стадное чувство, родовой инстинкт и пр. Как то, так и другое представляют собою научно установленные факты и законы, в одинаковой мере обязательные для каждого марксиста. Опереть марксизм, как «коммунистическую доктрину» на одни из них вследствие их произвольно-словесного сходства с ним значит лишь совершить увертку от марксизма.

Так как же все-таки быть? Ведь должен исторический материализм иметь какой-нибудь исходный пункт. «Но ведь,—говорит проф. Гредескул,—само человечество, со всеми проявлениями его жизни и деятельности, есть непосредственная составная часть животного царства и прямое продолжение предшествовавшего ему животного развития» (2). Если опустить «непосредственность» и «прямизну», то это, конечно, так. В том и заключается применение диалектического материализма к человеческой истории, что берется исходный пункт: историческое существование человеческого племени со своим характерным качеством—производительными силами. То обстоятельство, что этот исходный пункт истмата еще не выражен в качестве опытом установленного звена в биологической цепи,—звена, в котором со всей конкретностью и подробностью было бы выявлено его причинное отношение к предшествующим историческим звеньям органической природы,—служит в свою очередь выражением того факта, что форма диалектического материализма еще несовершенна, что она изменяется с движением науки и потому представляет собою момент бесконечного процесса познания природы и истории. Тем настоятельнее звучит суть исторического материализма: не отступать ни на шаг от того об'ективного качества, которое характеризует человеческое общество—от производительных сил и законов их развития, ни в коем случае не подменять их биологическими законами, как бы заманчивыми они ни казались по своему сходству с законами развития человеческого общества.

Так как же все-таки быть? Ведь и тов. Бухарин пишет в своей «Теории исторического материализма»: «Разве сам человек и любое человеческое общество не есть часть природы? Разве человеческий род не есть часть животного мира? Кто это отрицает, тот не знает самых азов современной науки». Надо признаться, что аргументация тов. Бухарина не совсем прагма-

ная. Можно не знать «самых азов современной науки» и все-таки признавать единство человека, общества и природы, как это, например, делали Спиноза, Ламеттри, французские материалисты. И, наоборот, можно знать гораздо больше «самых азов современной науки» и все-таки «отрицать это самое». Тут уж ничего не поделаешь: раз речь идет о точке зрения, то—либо материализм, либо идеализм под разными соусами—биологическим, энергетическим и пр. Мы думаем, что в этом согласится с нами тов. Бухарин. И навряд ли он согласится с проф. Гредескулом в его определении «научности» социализма. «Социализм», говорит проф. Гредескул, поставленный в связь с историческим материализмом, сразу стал не «утопическим» и не «идеалистическим», а научным. Он, как план, как деловая схема, расположился во времени определенными этапами, нашел свое выражение в определенных, заранее точно указанных действиях» (VI). Далее следует изложение плана, начиная с «пролетарии всех стран, соединяйтесь!», политической партии и т. д. и кончая «эрой высшего и безграничного культурного творчества на земле» (VI). Конечно, степень предвидения, которой обладает та или иная теория, служит показателем того факта, что весьма сильно приближается к изучаемым его действительным процессам, что она выражает их реальные законы. Но представлять дело так, будто степень предвидения и есть то, что сообщает научность теории, значит превращать причину в следствие и наоборот. Не потому теория научна, что она предвидит. Наоборот, она предвидит потому, что она научна. В отношении научного социализма это означает, что его предвидение и «неукоснительное осуществление», столь поразившее проф. Гредескула, имеет особое реальное основание: теорию производительных сил, законов их развития и всех определяемых ими общественных явлений. А планы? Планы были—даже очень строгие—у многих утопистов.

Если из экскурсии проф. Гредескула в биологию выяснилось совершенное непонимание им марксизма, как мировоззрения, то профессорская попытка «научного» обоснования коммунизма обнаруживает не менее совершенное искажение исторического материализма. Характерна та легкость, с которой проф. Гредескул переходит от марксизма к коммунизму, историческому материализму, социологии, марксистской социологии. Мы здесь находимся у самого скользкого, самого опасного пункта системы. Ее основной логический стержень—не общество, а общественность. Социология—наука не об обществе, а об общественности. Это некий принцип, имеющий свое выражение и в органическом мире и в человечестве. Вследствие такой своей всеоб'емлющей широты он оказывается парящим и над органическим и над общественным развитием. «Общественность—общая жизнь — коммунизм—такова «основа». Классовая борьба есть лишь «ненормальное отклонение от этой вечной основы». Почему «основа» вдруг теряет власть над «уклоняющимися» от нее, для «социологии» не важно: она трактует об общественности, как об особом «принципе жизни». В последнем своем выражении он означает «свободу, равенство и братство». Что этот лозунг означает в наше время и у нас в СССР, об'яснять долго не приходится. А такова действительная классовая сущность тео-

рии проф. Гредескула. Беспрерывно подчеркивая, что человеческая общественность есть прямое продолжение стадной и, следовательно, в особом определении не нуждается, он с необходимостью приводит к «основному» определению общества, как стада, в котором господствует «идеал общественного отношения: свобода, равенство и братство» (159).

Проф. Гредескул угрожает нам серьезным обвинением в дуализме. «Если мы не хотим человека ставить особо от животного мира, если мы не хотим видеть в нем другой природы, если мы хотим быть здесь монистами, а не дуалистами, то никакого другого выхода нам здесь нет. Или надо доказать, что вместе с человеком начался новый, четвертый цикл общественности, основанной не на телесной связи между индивидуумами (1), не на инстинкте (2) и не на эмоционально-интеллектуальном взаимодействии между ними (3), а на каком-то совсем ином механизме связи между людьми и регулирования их поведения,—или же человеческую общественность надо признать продолжением животной общественности» (209). Перед лицом такого грозного обвинения в «дуализме» исторический материализм все-таки отвечает, что человеческое общество характеризуется именно совсем иным механизмом связи между людьми—производительными силами и производственными отношениями. А обвинение в дуализме возвращаем проф. Гредескулу. Именно он является дуалистом, различая общество и общественность, превращая последнюю в некий бесплотный, всеоб'емлющий принцип, в «дух» органического развития. Заставляя его пребывать на низших ступениях развития животного мира, продолжаться в высших, сохраняясь и в человеческом обществе, проф. Гредескул полагает, что добился «смычки между дарвинизмом и марксизмом» (209),—маневр, который навряд ли кого может обмануть; все эти: пребывание, продолжение и сохранение относятся к бесплотному духу «общественности» и потому решительно ничего не смыкают. Да марксизм и не нуждается во всей этой стряпне: он как был, так и остался единственной научной методологией естественных и общественных наук. А социология? Как была, так и осталась одеждой бесплотного духа «общественности», в которой царит «свобода, равенство и братство». Не хватает только Бентама? Что ж, его заменяет проф. Гредескул.

История и современность.

(Историографические заметки).

Г. Зайдель.

Для марксиста-историка всякая проблема актуальна, даже касающаяся самой глубокой древности. Недаром Маркс, исследуя, например, глубоко теоретические вопросы политической экономии, науки, которая трактует непосредственно о капиталистическом способе производства, т.-е. о современности в подлинном значении этого слова, — недаром Маркс, а за ним Энгельс попутно производят детальнейшие экскурсии в область истории и на параллелях, напр., со специфическими особенностями производства в древнем мире, великолепно иллюстрируют своеобразие законов, которые присущи современному экономическому строю. Все работы основоположников революционного марксизма пропитаны историзмом, в самом лучшем значении этого слова. «Мы знаем только одну единственную науку, науку истории»—эти слова Маркса и Энгельса [1]) могут показаться парадоксальными представителям «науки», на которых надеты буржуазные шоры «вечности» и «неизменности» существующего строя. Но эти слова являются лучшим выражением того главного методологического требования, которое марксизм пред'являет ко всякой науке: исследовать то или другое явление в обществе и в природе не в его статическом, застывшем виде, а в процессе его диалектического развития. В этом смысле история и является «единственной наукой». Потому-то для марксиста-историка все проблемы представляют актуальный интерес: исследование прошлого человеческой истории дает возможность: с одной стороны, познать закономерность исторического процесса, а с другой стороны, установить то специфическое, своеобразное, которое отличает родственное явление одной эпохи от другой. Особенный интерес в этом отношении представляет сейчас изучение Великой Французской революции. Нынешняя Европа, которая явно переживает период революционного катаклизма (несмотря на временное затишье), в которой капиталисты, как господствующий класс, изгнанный уже из $^1/_6$ земного шара—СССР, переживает последний «двенадцатый час» своей диктатуры,—нынешняя Европа вызывает на сравнение с периодами, когда буржуазия сменяла феодализм, когда разыгрались грандиозные события Великой Французской революции.

---

[1]) См. „Архив Маркса и Энгельса", т. I, стр. 214.

И вот тут-то, при сравнительном изучении двух французских революций, сразу обнаруживается классовый подход буржуазной исторической науки. Недаром белогвардейцы так жадно ухватились за последнее выступление известного французского историка Олара, который, повинуясь классовому «императиву», «беспристрастно» стал «доказывать», явно насилуя факты, что насилие, как исповедуемая революционными вождями теория, присуща только вождям Октябрьской революции в СССР, в то время как вожди Великой Французской революции были законниками. Прежде всего, питали отвращение к насилию, и террор—несчастная случайность, которая вовсе не характерна для Французской революции и для революции вообще [1]). К счастью, среди французских историков, которыми мы займемся в этой статье, есть отдельные представители, которые стоят на другой точке зрения... Но об этом ниже. Борьбу мнений в французской исторической науке легче всего проследить по историческим журналам.

Во Франции существуют три журнала, специально посвященные Великой Французской революции; они издаются различными обществами. Самое старое из этих обществ—«Общество изучения Французской революции» существует с 1889 г.—36 лет, на протяжении которых им было издано 77 томов журнала «La Revolution française» и около 44 томов разных «публикаций»: архивных рукописей, словарей, сборников речей, мемуаров, переписки и пр. Ныне в этом обществе председательствует А. Олар. Выходит журнал по триместрам, четыре раза в год. Вторым по старшинству является «Общество изучения Наполеона» (Société des études napoléoniennes), издающее журнал «Napoléon». Les origines de l'Europe nouvelle,—существующее с 1911 г.—14 лет. Выходит журнал каждые два месяца—6 книжками в год, под редакцией Эдуарда Дрио и Р. Бюрнана (Burnend). Наиболее молодым является «Общество изучения Робеспьера» (Societé des études Robespiéristes), существующее с 1907 года и издающее журнал «Annales historiques de la Revolution française», выходящий с 1924 года. 6 раз в год, под редакцией Альберта Матьеза и Густава Лорена (Laure t) [2]). Журнал Олара, публикуя очень интересные материалы, выдерживает солидный либерально-радикальный тон «беспристрастного» летописца и натаскивателя исторических событий. Общество «наполеонистов» обладает весьма ощутимым бонапартистским душком, как мы увидим ниже. Пока отметим, что оно находится под высоким покровительством какого-то принца Наполеона. Наибольший интерес представляет журнал робеспьеристов: по идеологии он весьма благожелательно относится к революции вообще, и не стремится во что бы то ни стало притягивать факты за волосы, чтобы посрамить большевиков. Один из редакторов—Альбер Матьез—известный французский историк, выпустивший ряд интересных работ по истории французской революции [3]).

---

[1]) См. статью-ответ на речь Олара „О насилии" С. Моносова („Под Знаменем Марксизма" № 8—9) и Авербах („Печать и Революция", январь 1925 г.).

[2]) В ссылках журнал Олара будет обозначаться „La Rev. franç.", наполеоновский — „Napoléon" и робеспьеристов — „Annales".

[3]) Одна из них недавно переведена на русский язык. См. проф. А. Матьез „Франц. Революция", Ленинград—Москва 1925 г.

I.

Начнем с журнала робеспьеристов: «Annales historiques de la revolution française». Отметим прежде всего статьи Альбера Матьеза, представляющие для нас особый интерес, так как они трактуют о социально-экономических мероприятиях якобинцев. Статьи под общим заглавием «Революция и продовольственный вопрос» (La Revolution et les subsistances) исследуют вопросы о борьбе с голодом, со спекуляцией и являются продолжением его статей, помещенных под тем же названием в «Революционных Анналах» (Annales révolutionnaires) за 1917 г. и в «Revue d'histoire économique et sociale» за 1920 год. Матьез использовывает огромный архивный материал, почти незатронутый исследователями. Не стремясь еще пока делать какие-либо выводы, Матьез сообщает ряд весьма знаменательных фактов, которые представляют для истории революции большое значение. Приводимый им материал показывает, как плодотворно изучение Французской революции с социально-экономической стороны, которой французские историки мало до сих пор касались. Ведь, по существу, только т. н. «русская школа»: Кареев, Лучицкий, Тарле—впервые стали разрабатывать социально-экономические вопросы революции; даже Олар, главным образом, исследует политические вопросы революции. Матьез продолжает традиции «русской школы». Его последняя большая работа «История Французской революции», первый том которой переведен на русский язык, основана также на изучении огромного, фактического социально-экономического материала, в первую очередь.

Чтобы показать важность изучаемых Матьезом в его статье материалов, мы дадим, по возможности, подробное изложение его статьи «Борьба с голодом во втором году» [1]). Борьба с голодом,—пишет Матьез,—началась после установления всеобщего максимума и создания комиссии по продовольствию. Сначала думали, что хлеба в стране достаточно, но потом, когда убедились, что его не хватит, стали думать над увеличением производительности сельского хозяйства. Поэт Планис Волькур произнес 5-го брюмера перед Тюльерийской секцией «речь о средствах обеспечения нас продовольствием на будущее», в которой советовал использовать обширные поместья, конфискованные у эмигрантов, учредить национальные фермы, «что-то вроде фаланстеров,—замечает Матьез,—производство которых будет служить для питания города». В поисках свободной для обработки земли Комитет Общественного Спасения и Конвент издали декрет об осушении прудов (14 фримера).—Любопытны рассуждения докладчика по этому вопросу Бурдона. В своем отношении от 3 фримера Бурдон заявлял, что множество прудов обязаны своим происхождением только «попущениям» монахов и попов на природу, бездельников, не заинтересованных в том, чтобы для «верных» революции граждан сохранить земли, необходимые для разведения многочисленных стад, «которых природа предназначила для питания», и собирания жатвы, предназначенной для того, чтобы «компенсировать трудолюбивые руки земледельцев»,

[1]) „Annales", № 7: Albert Mathiez, „La Revolution et les subsistances. La lutte contre la famine en l'an II".

Бурдон вычислял, что можно было бы осушением болот использовать новые 400.000 арканов пахотной земли и собрать жатву, необходимую для прокормления одного миллиона человек. «Можно предвидеть возражения,—писал Бурдон,—что уменьшится рыба. Но,—отвечает он,—никогда рыба не подавалась к столу бедняка, а появлялась у бедного только как предмет роскоши».

Обсуждение проекта Бурдона, начавшееся 11 фримера, было очень коротким. Некоторые члены хотели, чтобы было декретировано осушение только тех прудов, которые полезны для разведения хлебов и вредны для здоровья. Но Дантон воскликнул: «Мы находимся в заговоре против рыбы, и мы любим царство овец».

Согласно принятому декрету, земля осушенных прудов должна была быть обсеменена весной хлебом или овощами ее владельцами. Если владельцы не имеют достаточных запасов семян, власти должны обратиться в продовольственную комиссию, которой предлагается снабжать собственников семенами. Исключения из осушения делали только для прудов, необходимых для питания рвов, нужных для военных действий, металлургических предприятий, каналов, сплава леса и пр. По словам Матьеза, трудно установить, был ли полностью выполнен этот закон по всей Франции: для этого надо было бы произвести дополнительные обширные архивные изыскания. Во всяком случае из выступления члена Конвента так называемого Менуо из Буржа в Комитете Общественного Спасения 28 жерминаля (17-го апреля 1794 г.) видно, что этот закон был выполнен в Шерском департаменте.

Еще более любопытны мероприятия Конвента по обработке оставленных земель. 25 марта 1793 года Комитет Агрикультуры приготовил проект декрета, который принят был без прений по докладу Беффруа. Муниципалитеты обязывались обработать и засеять земли эмигрантов предпочтительно ячменем. Следующий декрет уточнял вопрос об уплате за обработку, обсеменение и употребление урожая тех земель, которые к тому времени не будут еще проданы. Когда молодые люди от 18 до 25 лет первого набора были призваны в армию в августе 1793 г. декрет 16 сентября по докладу Лорен Лендактра обязал муниципалитеты составить списки землям, необработанным вследствие призыва граждан в армию.

Этот декрет поразительно напоминает, даже в некоторых деталях, законодательство Советской власти в эпоху военного коммунизма по отношению к землям красноармейцев и бедняков. Аналогию, конечно, здесь следует проводить с большой осторожностью: мы увидим дальше, что в части, касающейся права коалиции для рабочего класса и оплаты труда, выявилось крупное различие между социалистическим характером нашей революции и буржуазной основой Французской революции. Так, обязывая муниципалитеты назначать жителей для обработки полей мобилизованных граждан, декрет устанавливал, что работающие на полях должны оплачиваться по обычным поденным ставкам. Если они откажутся повиноваться, их можно принудить под угрозой наказания от 3 дней до 3 месяцев заключения, и это наказание может накладываться муниципальным советом. Поденщики, которые образуют коалицию для устройства забастовок, преследуются уголовным трибуналом и наказываются двумя годами заклю-

чения. Те же правила декрет устанавливал не только по отношению к землям мобилизованных, но и вообще брошенным владельцами. При чем, если бедняки не будут иметь средств уплатить за произведенные работы, муниципалитеты получают из казны соответствующие суммы для уплаты, которые они покрывают из части проданного урожая.

Статья 2 декрета от 9 октября 1793 г. возлагала на членов департаментов и окружных муниципалитетов первоначальную ответственность за ущерб, нанесенный республике, вследствие необсеменения полей. Нерадивые члены муниципалитетов предавались суду, им угрожал штраф в 30.000 ливров. Более поздним декретом от 12 января 1794 года было решено отдавать в пользу обработавшего пустое поле $^2/_3$ урожая, а если владельца нет, то и весь урожай.

Нехватка рабочих рук вызвала также ряд чрезвычайно характерных мер, предпринятых Конвентом. Рекрутов первого набора, для которых не было вооружения и одежды, декретом от 9 октября направили для обработки незасеянных полей. Использовывали дезертиров и пленных, употребляли солдат внутреннего гарнизона для засева полей и сбора хлеба. Интересно, что, как пишет Матьез, «антиклерикальная политика приняла формы продовольственной политики». Так, согласно постановлению 21 флореаля II года, депутат Конвента Дартигуой (Dartigoya) запретил праздновать воскресенье под страхом лишения доли зерна за праздно проведенный день. Составлялись штрафные списки празднующих воскресенье. Священники, подговаривавшие праздновать, арестовывались. Таким образом принудительность в деле привлечения рабочих рук была сугубая. Разницу с нашей принудительностью—установлением всеобщей трудовой повинности, милитаризацией труда в эпоху военного коммунизма — необходимо тут же подчеркнуть: Матьез приводит любопытные данные, свидетельствующие, что принудительность отзывалась прежде всего на рабочих. Так, требовали, чтобы поденщики на с.-х. работах получали не больше максимума, а работали от восхода до заката солнца. Предприниматели, платившие больше максимума, об'являлись контр-революционерами. Таким образом наша всеобщая трудовая повинность, более последовательно проведенная, обрушивалась своей тяжестью на буржуазию, а во время якобинской диктатуры сказывалась прежде всего на рабочих.

Напрашиваются на параллель с мероприятиями эпохи военного коммунизма также и меры якобинцев в вопросе регламентации культур. Были предложения превращения виноградников в пахотные земли, относительно засева общественных выгонов, а главное, относительно засева особых культур, пропагандировался, главным образом, картофель. «Листок землепашца» (Feuille du cultivistens, издававшийся министерством внутренних дел, кроме платных экземпляров, рассылался в количестве 2.000 бесплатных. Посылались пропагандисты, учившие, что и как сеять. По постановлению Комитета Общественного Спасения от 27 фримера Комитет Агрикультуры отпечатал и распространил по всей республике извлечение из произведений Артура Юнга о сельском хозяйстве. С целью борьбы против «картофельного предрассудка», распространенного мнения, что картофель непитателен, были, по

настоянию знаменитого Шометта, засажены картофелем грядки Тюльерийского и Люксембургского садов.

Матьез останавливается отдельно на деятельности Шометта, который требовал засева картофелем и овощем всех садов, где растут бесполезные цветы и растения. От имени Парижской Коммуны должны были быть разосланы комиссары в провинцию для приглашения граждан, именем общественного блага, превратить в фермы все бесполезные сады, находящиеся в общественном использовании.

Замечательно, что и в вопросе о внешней торговле якобинцы принуждены были стать на путь монополии. Все дела по внешней торговле были переданы комиссии по продовольствию. Отдельным городам и морскому департаменту было запрещено заниматься индивидуально внешней торговлей. Особый интерес в этом отношении представляет постановление Конвента от 20 плювиоза (8 февраля) 1794 г., по которому вся торговля с Левантом, находившаяся в руках Африканской Кампании, была секретно перекуплена Комитетом Общественного Спасения, а агенты ее были подчинены Комиссии по продовольствию. Конечно, и здесь разница огромная с нашими мероприятиями: мы национализировали внутреннюю и внешнюю торговли, мелкобуржуазная диктатура якобинцев не трогала священной частной собственности—она ее перекупала.

Но данные, приведенные в статье Матьеза, требующие еще, конечно, значительного пополнения, чрезвычайно важны для историка и социолога. В частности, они могут осветить вопрос, который в нашей литературе совершенно не разработан—что в эпохе военного коммунизма было результатом блокады и самообороны от иностранной интервенции, т.-е. неизбежным следствием, аналогичным событиям в эпоху якобинцев[1]). Исторические параллели с учетом, конечно, всех конкретных особенностей, всех differentia specifica, эпох—могут быть чрезвычайно полезны для исследователя нашей революции.

II.

Для разрешения спора, поднятого Оларом по поводу насилия во Французской революции, большой интерес представляют опубликованные тем же Матьезом архивные документы в статье «Аресты подозрительных в Кор-д-Ор во время кризиса первого нашествия»[2]). Матьез приходит к следующему выводу, иллюстрируемому многочисленными фактическими данными: неверно господствующие в исторической литературе два представления о

[1]) „Все наше хозяйство, как в целом, так и в отдельных частях, было насквозь проникнуто условиями военного времени. Считаясь с ними, мы должны были ставить своей задачей сбор определенного количества продовольствия, не считаясь совершенно с тем, какое это займет место в общехозяйственном обороте“... (Н Ленин. „Доклад о политической деятельности ЦК РКП на X съезде,—т. XVIII. стр. 120). Эту мысль Ленин неоднократно подчеркивал. В своей знаменитой брошюре „О продовольственном налоге“ Ленин писал: „Военный коммунизм был вынужден войной и разорением. Он не был и не мог быть отвечающей хозяйственным задачам пролетариата политикой. Он был временной мерой“ (т. XVIII, стр. 214). Ленин вместе с тем подчеркивал что эпоха „военного коммунизма“ сыграла свою прогрессивную роль.

[2]) „Annales“, № 8.

начале террора—первое, со стороны историков, «не любящих революции, как Марример-Терно или Тэн, которые эту дату приближают как можно ближе к об'явлению войны весной 1792 года»; второе, со стороны историков, являющихся защитниками революции, откладывающих начало террора на возможно поздний срок, вплоть до закона о подозрительных в сентябре 1793 г. Истина в том, что «не было единого и непрерывного террора». Если террор заключается, прежде всего, в лишении индивидуальной свободы и подавлении инакомыслящих, то было, очевидно, «несколько эпох террора, более или менее длительных, более или менее распространявшихся на всю территорию страны. Так, в Дижоне, на следующий день после 14 июля 1789 года, аристократы были подвергнуты аресту решением комитета, постоянно подтверждаемым народным голосованием, и их (аристократов) заключение длилось несколько недель. «Надо обладать исключительно партийно-апологетическим предубеждением (parti-pris apologétique) некоторых официозных историков,—восклицает Матьез,—чтобы утверждать, что насилие было чуждо революции, и что она всегда предпочитала законность» [1]). С чрезвычайно характерной стороны рисуется поведение жирондистов, в частности министра внутренних дел Роллана по отношению к патриотам. Он угрожал последним, осмелившимся арестовать «подозрительных», тюремным заключением. Он приглашал власти возбудить против них судебное обвинение. «Жиронда—пишет Матьез —искала увеличения своей клиентелы во всей старой партии фельянов». Поэтому Роллан, этот, по выражению Матьеза,—«ограниченный и тупоголовый ментор», являлся с самого начала покровителем подозрительных и требовал выпуска на свободу всех арестованных аристократов.

В том же журнале Матьез предпринимает пересмотр распространяемых после смерти Анатоля Франса взглядов, что будто А. Франс с предубеждением относился к Французской революции. В статье «А. Франс и Французская революция» [2]) Матьез возражает против фальсификации взглядов Франса, которыми занимаются Бруссон, а в особенности Ле-Гофф [3]). По мнению Матьеза, Ле-Гофф клевещет на Франса, будто тот считал Робеспьера ничтожеством, ругал революционеров вообще и сравнивал Дантона с Кайо, а Робеспьера—с Клемансо. Путем сравнения ряда цитат из произведений Франса с инсинуациями Ле-Гоффа, Матьез приходит к выводу, что «настоящий Анатоль Франс совершенно непохож на Анатоля Франса, преподносимого Ле-Гоффом... Слово теперь,—восклицает Матьез,—за подлинными друзьями покойного писателя. Как бы ни был слаб авторитет Бруссонов и Ле-Гоффов, но их россказни распространяются, а это не может не быть опасным». Призыв Матьеза не остался без отклика. В № 9 «Annales» один из друзей Анатоля Франса П. Л. Гушон письмом в редакцию сообщает, что г. Ле-Гофф «очень подозрительный свидетель». «Пытаются,—пишет он далее,—теперь сделать из Анатоля Франса что-то вроде колеблющегося реакционера. Это—жалкая ложь. Франс хранил до смерти культ Робес-

[1] Ibid., стр. 129.

[2]) „Annales", № 7.

[3]) И та и другая книжки переведены на русский язык: Бруссон. „Анатоль Франс в туфлях и халате", Ле-Гофф, „А. Франс".

пьера и Ленина и он призывал со всей страстью будущую революцию» [1]).

Нельзя не отметить, что реабилитация Франса, предпринятая Матьезом, имеет в настоящий момент большое общественно-политическое значение. Культ личности во Франции, где мелко-буржуазные традиции весьма еще сильны, представляет и до сих пор важное орудие в борьбе реакции с революцией. Своим противодействием реакционной «иконографии» Бруссонов и Ле-Гоффов Матьез служит хорошую службу французскому рабочему классу.

Из других статей, напечатанных в журнале робеспьеристов, представляет интерес статья Кареева «Последние работы русских историков о Французской революции» [2]), в которой автор дает беглый обзор последних работ Устинова, Гурвича, Лукина, Берковой, Попова-Ленского и др., а также излагает свою работу «Парижские секции времен Французской революции». Для ознакомления иностранной публики с последними работами русских историков статья дает достаточный материал. Неизвестно только, зачем Кареев вновь упоминает и останавливается на работах, которые отнюдь нельзя назвать «последними», как, напр., Лучицкого, Ковалевского, Ардашева, Борового, Вульфиуса и почему-то Новгородцева «Кризис современного правосознания». Какой же Новгородцев историк, да притом еще каким образом упомянутая его работа примыкает к «последним работам»—совершенно непонятно.

Необходимо еще отметить статью Жоржа Мицока «Якобинизм в прениях английского парламента». Жаль, что автор пользуется только данными о дебатах, напечатанных в «Moniteur'e». Следовало бы использовать для освещения этого вопроса английские материалы. Но и в том виде, как взяты из «Moniteur'a»—дебаты о якобинизме представляют для нашей современности большой интерес. «Каждый раз,—пишет автор,—когда вспыхивает великая революция в какой-либо стране и ломает до самых основ социальный порядок, последователи старого режима, как вне, так и внутри страны, которым угрожает революция, становятся со всей силой против нового, изрыгают против него анафему, ставят его за пределами человечности. Они отказывают ему в признании, в переговорах с его представителями и организуют против него крестовый поход, чтобы разрушить это новое» [3]). Приведем ряд опубликованных в статье выступлений в английском парламенте. 1 февраля 1791 г. Питт произносит в палате общин речь, в которой заявляет, что французы не довольствуются провозглашением пагубных доктрин у себя дома, «они пытаются их распространить среди подданных других держав, и, кажется, надеятся на первенство в Европе. Они поднялись против всякого порядка, всякого спокойствия в Европе, чего мы не можем допустить». Как напоминают эти заявления патетические речи Керзонов и Черчиллей в наши дни против большевиков! Особенно нападает Питт на заявление Бриссо, которое тот сделал в Законодательном Собрании 29 декабря 1791 г. «Народное верховенство не связано с трактатами тиранов». «Я советую,—

---

[1]) „Annales", № 9, стр. 263.
[2]) „Annales", № 9.
[3]) „Annales", № 10, стр. 364.

заявляет Питт,—лучше немедленную войну, чем рисковать спокойствием внутри страны... Они (французские революционеры) не связаны прежними договорами», и это грозит опасностью всеобщему миру. Депутат Берк называл французов «жестокими животными». Король в тронной речи призывал народ «поставить действительный барьер распространению системы, которая разрушает мир и безопасность всех независимых наций и топчет ногами все принципы умеренности, добра, веры, справедливости и человечности»... Одним словом, Питты и Берки были недурными предками современных душителей революции и интервенционистов.

Мы не можем в наших беглых заметках останавливаться на всем, что напечатано в журнале робеспьеристов. В журнале имеется отдел «Melanges et Documents», прекрасно поставленный, где встречается множество интереснейших сведений. Хорошо поставлена библиография, дающая отзывы о свежих исторических исследованиях и сборниках материалов. Специальный отдел дает краткие обзоры всех исторических повременных изданий. Нельзя не отметить, что журнал робеспьеристов представляет для современных историков, особенно для тех, которые хотят почерпнуть свежие и имеющие общественно-политическое значение материалы,—что «Annales» представляют интерес исключительный. Чувствуется не только любовь к делу, но и любовь к революции и ее славным деятелям, чувствуется не филистерское отношение к фактам и не желание эти факты изменить на свой манер, в угоду отживающей идеологии, а самостоятельность мысли и смелость в подходе к вопросам.

III.

Журнал Олара «La Revolution française», как мы уже указывали, является старейшим журналом по истории французской революции и дает также весьма обильный архивный материал. Но тон этого журнала, освещение вопросов, мы бы сказали, догматические: больше всего журнал интересуется вопросами политики и идеологии; меньше всего, социально-экономической историей. Интерес к чистой политике—politique pure—весьма характерное явление для той общественной группы во Франции, которая примыкает к умеренным радикалам и представляет идеологию устойчивой мелкой буржуазии, которая еще и по сию пору весьма многочисленна во Франции. А по своим политическим убеждениям Олар принадлежит к этой группе радикальной интеллигенции. Казалось бы, что эта мелко-буржуазная радикальная интеллигенция должна была быть лучшей наследницей и хранительницей традиции якобинцев. Увы, история подвержена законам диалектики: ныне буржуазия—и средняя, и мелкая (о крупной говорить не приходится) — открещивается от якобинцев всеми силами, и пролетариат, который призван творить дело, противоположное якобинцам, низвергнуть в небытие частную собственность—берет в свои руки дело революционной энергии и решимости, начатое якобинцами, и провозглашает себя наследником Робеспьера.

Итак, Олар и его журнал, в противоположность Матьезу и робеспьеристам, якобинских традиций не только не продолжает: он даже не прочь якобинцев причесать под современного радикаль-

ного буржуа. Интересно, что в последней своей книжке «Христианство и революция» [1]), книжке весьма интересной по обилию использованного и разработанного материала,—Олар с удивлением в предисловии констатирует, что он получил не те выводы, которые, ему казалось, должны были получиться. «Замечательно,—пишет он,—что закрытие и осквернение церквей не вызвали ни одного серьезного движения, подобного тем, которые незадолго до этого возникли вследствие устойчивости и живучести некоторых феодальных прав, на которые посягнула революция» [2]). Раньше Олар думал иначе: «Недавно, в своих отдельных этюдах,—сообщает он,—я выражал несколько иное чувство. Мне казалось, что христианство было непоколебимо в сознании французов конца XVIII века. Но с тех пор я прочел больше документов. Ныне, когда мне, быть может, лучше видна вся совокупность фактов, я поражен той легкостью (курсив наш. *Г. З.*), с которой французский народ начал в 1774 году терять свои культурные привычки».

В своем журнале «La Revolution française» Олар занимается проблемами, относящимися к Америке и взаимоотношениям ее с Французской революцией. Это также чрезвычайно характерно для французской мелкой буржуазии. В самом деле, Америка стоит как колосс, давит на всю европейскую и азиатскую политику, так как в числе других великих держав Франция находится от нее в абсолютной финансовой зависимости: стоит только Америке захотеть, и французский франк превратится в ничего не стоящую бумажку. Мелкий буржуа Франции со смешанным чувством ужаса и уважения относится к Америке, и он не прочь напомнить Америке, требующей у Франции сейчас долги, что у Франции есть исторические заслуги перед заокеанской республикой доллара и нефти. Олар всецело разделяет эти чувства мелкого буржуа. Вот в статье «Вашингтон и ключ от Бастилии» [3]) Олар рассказывает, как чувствовал себя заместитель французского посла в Соединенных Штатах Отто. После вспыхнувшей революции президент Вашингтона проявлял исключительный интерес к революции во Франции, но Отто, к сожалению, менее всего был осведомлен об этом, так как в лихорадке сменявших друг друга лиц и событий о после в Вашингтоне не то что забыли, но он чрезвычайно неаккуратно получал сведения и инструкции от правительства. Дело дошло до того, что бедный посланник был ошарашен однажды вопросом со стороны президента, не хочет ли Отто видеть ключ от Бастилии. Оказывается, что этот ключ был послан, после взятия Бастилии, Лафайетом президенту Вашингтона через одну молодую американку. И потом этот ключ жена Вашингтона выставляла в своем салоне для обозрения гостей. Каков смысл передаваемой Оларом характерной истории? Смысл тот, как уверяет Олар, что неправильно привычное изображение Вашингтона врагом Французской революции. Можно ли сделать этот вывод на основании приведенного Оларом материала? Нет: истина в том, что Вашингтон сначала относился терпимо к революции, что совершенно понятно—ведь А. Соед. Штаты не-

[1]) Переведено на русский язык: „Христианство и Французская революция",—„Атеист" Москва, 1925 г.

[2]) Ibid., стр. 6.

[3]) „La Revol. Franç.", № 25, Janv.—Fevr. 1925.

давно пережили буржуазную революцию, Франция шла по ее стопам, а потом, когда начался якобинский период, благочестиво настроенный Вашингтон испугался и стал врагом революции. Но почему же в посрамление нынешнему президенту Кулиджу, прежде всего думающему о долгах,—не преподнести пикантной истории о Вашингтоне и ключе от Бастилии, истории, свидетельствующей о чувствах знаменитого Вашингтона к Франции.

В посрамление не только Кулиджу, но, главным образом, сенатору Бора, который настойчиво требует долгов у Франции. написана Оларом и другая статья «Американский долг Франции во время Людовика XVI и революции» [1]). «Размышляя,—пишет Олар,—как и большинство французов о нашем современном долге по отношению к Соединенным Штатам и об обязательствах, которые мы должны уплатить, я вспоминаю о долге Соединенных Штатов нам в XVIII веке, когда они боролись за свою независимость». Далее идет любопытный подсчет, основанный на архивных материалах. Оказывается, что американцы получили от французского короля в 1778 году 34 миллиона ливров взаймы и 12 миллионов в виде подарка. При том американцы должны были начать выплату 3 сентября 1786 г., но ни в этом, ни в следующем году они этого не сделали. Грянула революция—и революционная Франция оказалась также великодушной: она пошла на ряд уступок. Американцы начали платить только в конце 1790 г. и окончательно выплатили только в 1796 году свой долг. Этот подсчет Олар послал Бора. Что из этого вышло—мы не знаем: сомневаемся, однако, чтобы Бора расчувствовался от исторических реминисценций. Во всяком случае обе приведенные нами статьи весьма характерны для умонастроения Олара.

В журнале, конечно, есть еще чрезвычайно много исторического материала, исследование которого будет полезно для историка вообще. Особенно хорошо поставлен там отдел библиографии и хроники. Из статей, имеющих большой интерес, выделяется статья П. Касаньяка «Конфликт науки с религией в XVIII веке: Даламбер и Бюффон» [2]), в которой автор показывает, как оба крупнейших мыслителя XVIII века принуждены были, под угрозой попасть под возобновленный в 1717 году закон, карающий смертной карою за слишком вольные мысли, — пойти на компромисс с своей совестью мыслителя-рационалиста и признать существование бога. В журнале, кроме того, обращает на себя внимание исследование Гастона Мартэка «Белые в Машеуле», Бюффенуара «Мельэнор Гримм и враги Руссо» и Лефевра «Внешняя торговля во II году», которая, в общем, подтверждает данные Матьеза (см. выше) о сосредоточении Конвентом внешней торговли в руках государства и централизации этого дела. Остальные статьи имеют второстепенное значение.

Вокруг журнала увивается какой-то русский Миркин-Гецевич, тот самый, который перевел речь Олара «О насилии» и снабдил ее предисловием к русскому изданию. Он печатает обзоры русской литературы о Французской революции и, между прочим, полемизирует с названной уже нами статьей тов. Авербах о книжке Олара. Конечно, по мнению Миркин-Гецевича,

[1]) „La Rev. Franç.“, № 26, 1925 г.
[2]) „La Revol. Franç.“, № 25, 1925 г.

т. Авербах [1]) не могла понять Олара, так как он стоит на точке зрения «ортодоксального исторического материализма», отрицающего «психологические влияния». Откуда Миркин взял, что ортодоксальные марксисты отрицают «психологические влияния» — одному ему да, может быть, Чернову известно: эти обвинения начались с момента появления марксизма на общественно-политической арене и сотни раз отвергнуты, но Гецевич и в ус себе не дует. Он, видите, усматривает доказательство своего обвинения в том факте, что т. Авербах об'ясняет отказ Робеспьера подписать призыв к восстанию 9 термидора потерей к тому времени Робеспьером социальной базы. «Не надо много останавливаться на факте,—сердится Миркин-Гецевич,—что это об'яснение индивидуального акта, автором которого является человек, об'явленный вне закона, абсолютно поверхностное и совершенно лишено психологических обоснований. Это—приложение доктрины исторического материализма, а не серьезная историческая точка зрения. Вообразить, что Робеспьер мог почти накануне своей смерти считаться с материалистическими формулами, это—отрицание всякой психологии». Резво пишет наш историк. Интересно, однако, знать: можно ли «вообразить», как это утверждает Олар, что Робеспьер только потому не призвал массы к восстанию, что он, видите ли, считал себя законником и не придерживался доктрины насилия? Разве гипотеза Олара заключает в себе хотя бы тень правдоподобия? Гораздо больше любезной сердцу Миркиных «психологии» в тезисе т. Авербах. В самом деле, Робеспьер, вчера лишь глава и диктатор Франции, вождь революции, после голосования в Конвенте, вчера еще ему повиновавшемся во всем, сегодня чувствует, что потерпел жесточайшее поражение. Он начинает подсчитывать свои силы: он убеждается, что массы от него отвернулись, что на его призыв никто не откликнется; безнадежность охватывает его, когда он констатирует, что социальная база, на которой он держался, ускользнула от него... Тут подлинная психология, обоснованная, а не выдумки про «идею законности», которая, мол, присуща была французским якобинцам, в отличие от кровожадных большевиков. Никаким Миркиным-Гецевичам не затушевать того факта, что «беспристрастный» историк Олар, один из крупнейших, если не самый крупный историк Французской революции в Европе, в угоду своим классовым предрассудкам, исказил исторические факты, совершил насилие над историей.

IV.

Журнал Олара и все его труды носят печать высокого беспристрастия; то же силится сделать журнал, посвященный изучению Наполеона. Но, увы, он весь—с первой до последней строчки—пропитан бонапартистским душком в самом скверном смысле этого слова.

Вот первый номер этого журнала, всецело посвященный политике Наполеона в Египте. Эдуард Дрио, директор журнала, в статье «Возрождение Египта. Египет и Наполеоны» пишет: «Мы

[1]) См. „Печать и Революция", январь 1925 г., статья Авербах „А. Олар и теория насилия".

говорили когда-то о ренессансе эллинизма. Ренессанс Египта представляет собой не менее величественное зрелище». Наивный читатель может подумать, что г. Дрио восторгается народным движением в Египте, стремлением вырваться из-под власти поработивших его империалистов. Жестокое разочарование ждет этого наивного читателя. Бонапартистский историк просто-напросто воспевает мудрое царствование египетского короля Фуадо I, того самого, для которого даже политика Заглула-паши оказалась слишком революционной и который просто отдал египетских феллахов на с'едение английскому империализму. Но дадим слово нашему историку. «Много французов,—заявляет он,—до сих пор при всяком удобном случае бесчестят имя Наполеона. Однако ничто не может уничтожить того, что имя Наполеона до сих пор чтится от одного до другого конца Европы: как в Польше, так и в Египте, как в Румынии, так и в Италии». «Нашему журналу надлежит вырвать эту великую историю из рук тех, которые стоят н а у з к о й п а р т и й н о й т о ч к е з р е н и я (курсив наш. *Г. З.*) и осветить ее во всей полноте истины».

Бонапартистская полнота «истины», которую освещает Дрио, состоит в следующем: «Мы хотим здесь,—пишет он,—отметить, что история возрождения Египта в XIX в. тесно связана с историей Наполеонов, т.-е. с историей Франции... и что был только один перерыв после Седана. После Марны эта история началась вновь» [1]). И дальше идут дифирамбы в честь политики Наполеона I, его борьбы с Англией, Мохамеда-Али, которого Наполеон использовал против англичан. «Англия завладела (после бомбардировки Александрии. *Г. З.*) Египетской землей. Но она не овладела ее душой,—патетически восклицает Дрио, тонкой душой тысячелетней цивилизации, охраняемой воспоминаниями о Мохамеде-Али Великом и Измаиле Великолепном, охраняемой тайной сфинкса». Никакой попытки осветить подоплеку взаимоотношений между Англией и Францией эпохи Наполеона, параллели с современными отношениями, понять, п о ч е м у Наполеон некоторым образом покровительствовал национальному движению в Египте, почему современная Франция, п о с л е п о б е д ы н а М а р н е, возрождает планы Наполеонов и ориентируется на известное ослабление Англии в колониях, несмотря на то, что находится в «сердечной дружбе» с Англией. Но самое интересное—это заключительный аккорд статьи Дрио. «Душа Египта,—пишет он,—воспрянет целиком, когда она раскроет все возможности своего мирового развития... При короле Фуадо I, последнем внуке Мохамеда-Али и сыне Измаила—вот когда, после 40-летнего перерыва—Египет входит в эру нового величия» [2]). Такова «полнота истины», которую восстанавливает Дрио, такова его не «узко» партийная точка зрения.

В следующей статье другой «беспристрастный» историк Франсуа Шарль Ру рассказывает о мусульманской политике Бонапарта [3]). Опять идут дифирамбы в честь Наполеона, без всякого желания и умения осветить вопрос исторически (в хорошем смысле этого слова), об'яснить причины наполеоновской поли-

---

[1]) „Napoléon", I, 1925, p. 5.
[2]) Ibid., p. 22.
[3]) Ibid., статья „La politique musulmane de Bonaparte".

тики. Общий смысл статьи выражен в следующем утверждении автора: «Европейский колонизатор никогда не относился к Исламу с такой не только терпимостью, но еще больше с симпатией, как Наполеон». Весь номер, посвященный политике Наполеона в Египте, носит на себе печать зазывания современными французскими империалистами народов Ближнего Востока в свою лавочку: все колонизаторы, кроме французских, плохи, «разумейте языцы и приидите под благословенную сень современных бонапартиков в цилиндрах, типа Пуанкаре, хотя бы». И все это преподносится под видом борьбы с «узко-партийной» точкой зрения.

Конечно, даже в этом журнале попадаются статьи довольно приличные по тону, напр., статья Отекера (Hautecoeur) о влиянии египетского искусства на французское [1]), и материалы, имеющие ценное историческое значение, как, напр., опубликование документов, относящихся к переводу праха Наполеона I с острова св. Елены в Париж [2]), или исследование Сольяна о Наполеоне-консуле и пр. Факты, приведенные в этих статьях и документах, могут сослужить хорошую службу историку, который не принадлежит к этой славной плеяде, восхваляющей Наполеона во что бы то ни стало. В том виде, как они—эти факты—преподнесены в журнале «Napoléon» они, конечно, служат определенной общественной группе во Франции: французскому финансовому капиталу, который не прочь под покров наполеоновского величия оседлать ближне-восточные народы.

* * *

Мы обозрели три французских исторических журнала за 1925 г. и убедились (в который раз!), что история служит современности. И, как всякая наука, историческая наука в классовом обществе, в зависимости от того, кто ею занимается, кто подбирает и группирует факты, кто освещает их,—служит тому или другому классу. Стоит только немного приподнять покрывало «беспристрастия», за которым скрывает свой подлинный лик тот или другой историк, чтобы убедиться в правильности этой марксистской истины. Стоило нам бегло пройтись по французским историческим журналам, чтобы видеть, как, по существу, обнаженно выступают классовые симпатии из-под груды высоких рассуждений и социологических формул. Эта обнаженность, это неумение даже скрыть свой «гнев и пристрастие»—также чрезвычайно характерны для нашего времени. Время идиллий прошло: формулы «внеклассовости» и «общечеловеческих интересов» никого удовлетворить не могут, никого обмануть не в состоянии. Даже те, которые эти формулы твердят, произносят их уже без прежнего пафоса: слишком бросается в глаза подлинный смысл этих заклинаний. Сами авторы заклинаний не верят в их действительность. Но они еще шепчут их, в ужасе отступая перед реально надвигающейся опасностью, в лице утверждающего свою диктатуру пролетариата. Спасут ли представителей уходящего в прошлое

---

[1]) См. Louis Hautecoeur „L'Expedition al' Egypt et l'Art Français" („Napoléon", № 1, 1925 г.).

[2]) Alfred Hacheth—„La Journie du retour des Cendres („Napoléon", 1, 3 Mai—Juin).

класса их заклинания? Нет. Пролетариат не только над ними посмеется, он заставит их служить себе: он отбросит внешнюю оболочку их исследований, то, что называется идеологией, возьмет груды материалов и фактов, которые подготовили буржуазные историки своей кропотливой работой (за эту работу пролетариат не поскупится на спасибо) и использует все это для создания подлинной исторической науки, которая, действительно, послужит на пользу всему человечеству.

Музыка и классовая борьба.

И. Орлов.

I.

Из всех родов исторических сочинений существующие сочинения по истории музыки являются всего менее удовлетворительными с точки зрения социологии и причинного об'яснения явлений. На-ряду с богатством фактического материала, раскрытым преимущественно за последние пятьдесят лет, мы находим только примитивные и зачастую наивные попытки социологических обобщений. Историки-музыканты в результате кропотливых исследований хорошо ознакомились с музыкой предшествующих эпох, столь непохожей на современную музыку; поэтому самый факт эволюции музыки для них ясен и бесспорен. Но по вопросу о том, чем же обусловлена эта эволюция, одни из историков предпочтают отделываться молчанием и обходить вопрос, другие же выдвигают идею развития музыки по внутренним имманентным законам этого искусства.

Мы не будем вовсе говорить о мистических представлениях (весьма распространенных), согласно которым в музыке выявляются неизменные надмировые ценности, стоящие вне и выше какой бы то ни было эволюции. Но и попытки историков с социологическим уклоном, свободных от мистицизма, желающих дать историю музыки в связи с общим развитием культуры, в конце концов, все-таки являются мало удовлетворительными.

Дело в том, что буржуазные историки органически не могут поставить факты музыкального развития в связь с классовой борьбой. Для них является непонятной и странной самая мысль о том, что музыкальное произведение является продуктом психологии определенного класса, и что именно в этом заключается единственно возможное об'яснение развития музыки в классовом обществе. Они совершенно не могут находить того, что Плеханов назвал «социологическим эквивалентом» художественного произведения. Поскольку социологическое причинное об'яснение оказывается недоступным, историки вынуждены рассматривать развитие музыки, как процесс, протекающий по внутренним, имманентным законам, т.-е. вынуждены, вопреки своим собственным устремлениям, отрывать его от связи с общественным развитием и рассматривать изолированно. Проводя эту фикцию развития музыки по законам внутренней, имманентной логики, историки вынуждены вместе с тем отрицать разрывы, скачки, революции

в процессе развития [1]) и искать повсюду незаметных переходов постепенного превращения одних форм в другие.

Все это фактически оказывается, конечно, совершенно не верным; вовсе нетрудно доказать, что музыка развивается диалектически, скачкообразно; однако импульсы для такого развития музыка получает не сама от себя, но извне, являясь лишь отражением развития общества. В силу своих внутренних законов музыка развивается только количественно в пределах какого-либо определенного стиля; переход в другое качество, в силу внутренних законов, оказывается невозможным. Только тогда, когда в строении общества происходит определенный сдвиг, прежнее качество подвергается отрицанию и заменяется новым качеством, новым стилем.

Для доказательства сказанного, необходимо произвести марксистский социологический анализ явлений развития музыки. При этом необходимо также принимать во внимание и те особенности, которые отличают музыку от других искусств. Эти особенности следующие: во-первых, консерватизм музыкальной формы, значительно резче выраженный, чем в каком-либо другом искусстве, во-вторых, некоторая неопределенность и неясность содержания, и, в-третьих, подчиненное, прислужническое положение музыкантов по отношению к господствующим классам. Прислужническое положение музыкантов значительно резче выражено по сравнению с положением поэтов и художников.

Технические приемы композиции, посредством которых музыкант стремится достигнуть нужных ему эффектов, в результате более или менее длительной коллективной работы, кристаллизуются в схемы; в этих же схемах закристаллизовывается понятие данной эпохи и данного класса о прекрасном. Такие сложившиеся в определенную эпоху схемы музыкально-прекрасного и носят название собственно музыкальных форм.

Музыкальные формы всего менее способны к «самодвижению», к имманентному развитию, и являются, наоборот, факторами традиции, консерватизма. Эти формы становятся, далее, фетишами; законченная, закристаллизовавшаяся форма рассматривается, как счастливо открытый вечный закон, которому при всех обстоятельствах должна подчиняться музыкальная композиция.

При всяком социально-политическим сдвиге в обществе перед музыкой выдвигаются новые задания; но эти задания музыканты прежде всего пытаются выполнить посредством старых, фетишизированных форм. Плеханов указывает, что в таких случаях развитие формы отстает от развития содержания. Но по отношению к музыке следовало бы выразиться более резко: форма не только отстает от содержания, но вступает с ним в противоречие, в более или менее острый конфликт. Указанное противоречие между содержанием и формой в музыке является, обычно, источником творчества новых форм; если же старые формы обладают некоторой эластичностью, то они эволюционируют.

Консерватизм формы бывает часто чрезвычайно сильным. И именно практические сторонники имманентного развития в музыке всегда оказываются резкими противниками новых форм. Поэтому

---

[1]) См., напр., К. Шторк, История музыки: «Развитие музыки, как и всех вообще искусств, не делает скачков»—258 стр. русск. пер.

всякому смелому новатору приходится выдерживать борьбу с профессионалами-академистами. Поэтому новые формы изобретаются иногда с большим запозданием; и, когда, наконец, передовые музыканты приведут форму в согласие с новым содержанием, то ученые критики остаются верны себе: гибель привычных форм они отождествляют с гибелью всей музыкальной культуры. Таким образом музыкальная форма имеет все признаки идеологической надстройки, при известных условиях тормозящей дальнейшее развитие и насильственным образом ниспровергаемой.

Новые технические приемы резко отгораживаются от старых и отрицают их; но в то же время они базируются на них и вбирают в себя все то, что в них было ценного. Таким образом развитие происходит диалектически; но это не есть, как уже сказано, внутренняя диалектика искусства; формальные элементы в музыке развиваются не сами из себя, но только под влиянием диалектического развития общества.

Плеханов говорит о содержании искусства, что всякое художественное произведение всегда что-нибудь рассказывает, потому что оно всегда что-нибудь выражает. Без сомнения, всегда что-то рассказывает, на свой лад, и музыка. Но то, что она рассказывает, менее ясно, нежели в поэзии и живописи, и может быть истолковано в различных смыслах. Известно, что одна и та же мелодия может служить выражением и радости и печали, подходить к различным текстам и т. д. Но это, конечно, не мешает музыкальным произведениям быть определенными сгустками классовой психологии.

Именно поэтому предпочтительнее говорить о функции музыки, об ее общественном предназначении. В самом деле, существует музыка церковная, придворно-танцовальная, буржуазно-сантиментальная и т. д.; всякий род музыки обращается к определенному кругу слушателей и несет определенные общественные функции. Эти функции накладывают на музыку совершенно специфический отпечаток, так, что один род музыки никак уже нельзя смешать с другим родом. Поэтому, поскольку вопрос ставится в плоскости социологии, возможно сказать, что общественное предназначение музыкального произведения и есть его содержание.

Наконец, третьим обстоятельством, отличающим музыку, является прислужническое положение музыкантов, которое выражается иногда в таких формах, как кастрация музыкантов-певцов для удовлетворения потребности буржуазно-аристократических кругов и церкви в голосах известного тембра. Вследствие такого положения музыкантов, в музыке сравнительно редко проявляются тенденции социального бунта, революционной борьбы. И положение смелых новаторов, отражающих в своих произведениях настроения передового класса, является более трагичным, нежели в других искусствах, так как часто, вследствие консерватизма музыкальной формы, они остаются не понятыми тем самым классом, идеологами которого они являются, и лишь с большим трудом завоевывают слушателей. Значительно чаще музыкант является простым слугой определенного господствующего класса, при чем вкусы господ диктуют ему как содержание, так и форму произведений. Впрочем, этот второй тип отражения классовой психологии в музыке иногда встречается

не в чистом, но в смешанном виде. Так, например, плебей-композитор привносит в придворное искусство буржуазное содержание, в церковную музыку светские мотивы и т. под.

Техника композиции в музыкальных сочинениях также определяется некоторым общественным соотношением, а именно отношением между автором музыки—композитором, исполнителями и слушателями.

Кто-то сказал, что музыка есть «искусство собраний». И действительно, музыка является наиболее коллегиальным из всех родов искусства, включая и драму. Как слушатели, так и исполнители представляют собою коллектив, имеющий свои вкусы, привычки и традиции. Техника композиции есть техника управления звуковыми массами, представленными в лице исполнителей. Соотношение между композитором, исполнителями и слушателями постоянно изменяется в процессе развития общества. В средневековом монастыре или соборе это соотношение не таково, как при дворе абсолютного государя, и опять-таки совершенно иное в буржуазной концертной зале XIX столетия. Но то или иное отношение между указанными тремя элементами требует особого способа ведения голосов в музыкальном сочинении, и всякое изменение этого отношения изменяет также приемы ведения голосов, т.-е. самые основы техники композиции.

В нашем кратком обзоре развития содержания и формы в музыке мы сможем остановиться несколько подробнее только на поворотных моментах в истории музыки. Таким поворотным моментом мы считаем: 1) возникновение многоголосной музыки, 2) возникновение одноголосной музыки, сопровождаемой аккомпанементом (гомофонный стиль), 3) революция в музыке, произведенная буржуазией, боровшейся за власть, 4) упадок музыки в конце XIX и в XX столетии и 5) перспективы дальнейшего развития музыки в связи с завоеванием власти пролетариатом.

Мы здесь не будем касаться вопросов материальной техники в музыке, т.-е. техники изготовления музыкальных инструментов. Хотя эта техника оказывает несомненное влияние на музыкальные формы, но это влияние имеет все же второстепенное значение, так как решающим фактором является классовая психология, классовая борьба. Почти во всех случаях именно наметившаяся в процессе развития общества новая потребность вызывает изобретение и усовершенствование тех или иных инструментов.

II.

Представление о внутренней, независимой логике развития музыки уже в вопросе о происхождении полифонии (многоголосия) встречается с непреодолимыми трудностями. Одноголосную и следующую за ней многоголосную музыку нельзя рассматривать, как единую линию развития; такое представление, во-первых, логически противоречиво. В самом деле, переход к полифонии в силу внутренней логики искусства предполагает понимание гармонии, а понимание гармонии может развиться только из практики полифонии. Во-вторых, указанное представление также исторически несостоятельно. Каким образом и почему прихотливо украшенная средневековая церковная мелодия IX—XI веков заменяется варварскими двухголосными последовательностями, невы-

носимыми для нашего слуха? Двухголосный «Organum» средневековья один историк (Кизеветтер) сравнивает с умерщвлением плоти, а между тем из этих двухголосных попыток выработалась в конце концов наша современная гармония. Однако безнадежной была бы попытка указать те «имманентные законы», согласно которым музыка должна была перейти от законченной мелодической одноголосной формы к Organum'у.

Поэтому, в результате всех исследований, первые шаги полифонического стиля представляются для музыкантов чем-то в высшей степени загадочным, почти чудесным. И многое другое удивляет музыкантов при обозрении той эпохи. Свободное творчество, как будто, вовсе отсутствует; музыка, казалось бы, наиболее живое искусство, является предметом схоластической учености.

Композитора вовсе нет, а есть теоретик—и певцы, которые непосредственно выполняют задания теоретика. Все это как нельзя более далеко от тех отношений, к которым мы привыкли.

Однако не следует упускать из вида, что современные отношения между композитором, исполнителями и слушателями возникли в результате определенных общественных условий (о которых будет сказано на своем месте), и что в другие эпохи и при других условиях эти отношения могли быть совершенно иными. Следует также остерегаться рассматривать ту гармонию, с которой свыкся наш слух, в качестве абсолютного критерия, применимого для оценки музыкальных явлений во всякую эпоху. А главное, необходимо вовсе отбросить метафизическое представление единой линии развития музыкального искусства, независимой от политики и экономики, стать на единственно плодотворный путь социологического об'яснения—и тогда все кажущиеся неразрешимыми проблемы сами собою отпадут.

Согласно нашим современным взглядам и привычкам, хоровое начало заключается в том, чтобы голоса хора «вторили» один другому, поддерживали друг друга, образуя гармонические созвучия. Совсем иначе обстояло дело в ранне-христианской коммунистической общине: здесь именно унисон был формой выражения хорового, коллегиального начала. Красота и мощь музыки понимались именно в том, чтобы все голоса слились, чтобы все члены общины пели, как один человек, одну мелодию на один голос. В этом унисонном пении выражалась тесная сплоченность членов христианской общины, единство их убеждений и энтузиазма, основанное на единстве образа жизни, на коллективном потреблении (общие трапезы) и коллективном владении имуществом. Для достижения указанной цели, т.-е. для вовлечения в хор всех членов общины, из еврейских и греко-римских мелодий были выбраны только простые образцы диатонического склада, доступные силам каждого отдельного члена. Эти напевы были приспособлены к текстам, в которых были выражены основы христианского исповедания.

Итак, в христанской общине нет разделения на певцов и слушателей, исполнение музыки является вместе с тем актом исповедания веры и актом демонстрации единства коллектива, сплоченности его сочленов.

Если у евреев и греков мелодии были связаны преимущественно с сольным исполнением, то в христианской общине, где

вначале отсутствовала какая-либо дифференциация, где все члены были равны, и одинаково растворялись в коллективе, унисон явился формой, вполне отвечающей хоровому началу. В этих древне-христианских гимнах и псалмодиях мы находим на-лицо полное единство содержания и формы.

Известна дальнейшая судьба христианской общины.

Христианство было бессильно уничтожить классовые противоречия; наоборот, христианство создало новое классовое противоречие, оно породило новый господствующий класс—духовенство. Во II веке христианская община расслоилась на духовенство и «мир», а в III веке духовенство уже образует замкнутую корпорацию, пополнявшуюся из собственной среды; духовенство держит общину в строгом подчинении и распоряжается имуществом общины.

По мере того, как церковь усиливается, обогащается, духовенство приобретает экономическое и политическое значение; при этом «мир» становится об'ектом эксплоатации.

Духовенство ведет борьбу с народом, оттесняя его от активного участия в жизни общины, от распоряжения имуществом, выбора епископов и т. д. В соответствии с этим, духовенство оттесняет народ также от активного участия в богослужении, выдвигая на место пения всей общины пение специально обученного хора. Пение всей общины уже противоречит интересам духовенства; последнее желает захватить отправление культа всецело в свои руки и таким образом усилить свое влияние. Под предлогом невежества народа, его неспособности к формально-правильному исполнению напевов, прихожанам было воспрещено присоединяться к пению профессиональных певцов. Народ, таким образом, превращается в пассивного слушателя. Но вместе с тем и унисон теряет свое значение об'единяющего хорового начала и становится простым усилением сольного пения, а, следовательно, изжитой формой, которая держится только потому, что нет ничего другого, что могло бы его заменить.

Уже Лаодикийский собор в IV веке запретил кому бы то ни было петь в церквах, кроме специально обученного хора. Но только в VI веке папа Григорий I окончательно вытеснил пение прихожан во всем католическом мире и вместе с тем канонизировал определенные напевы, уничтожив тем самым национальные особенности в церковном пении различных стран в интересах более совершенного проведения централизации.

К этому времени занятие науками и искусствами, а также и музыкальным искусством, сохранилось преимущественно в монастырях. Именно в монастырях протекает дальнейшая эволюция одноголосного пения и там же зарождается в IX—X веках многоголосная музыка [1]). Происхождение многоголосной музыки, поэтому, тесно связано с той эволюцией, которую пережили монастыри.

Первоначально монастыри представляли по своему хозяйственному строю нечто вроде производительных товариществ. Каждый монастырь представлял собою замкнутую, изолированную хозяйственную единицу; монашеская община покрывала все

[1]) Речь идет о вокальной музыке, так как духовенство боролось с народной инструментальной музыкой.

потребности физическим трудом своих сочленов. Монастыри основывались под руководством выходцев из образованных классов, вследствие чего они и могли приобрести значение очагов образованности в средние века. Но состав монастырей был плебейским, так как возможность поступления в монастырь была открытой для всех. В дальнейшем, в связи с общим ростом, усилением и обогащением католической церкви, богатели и феодализировались также монастыри. В результате в монастырях скопляются большие богатства. Монастыри получают большие земельные владения, часть которых обрабатывается монастырскими крепостными, а часть сдается в аренду за барщину свободным крестьянам. Таким образом монастыри из производительных товариществ превратились в товарищества эксплоататоров. Вместе с тем состав монашества становится дворянским. Неимущий люд уже не может поступать в монахи; монастыри становятся доступными только для богатых.

В VIII—IX веках монахи уже вовсе не работают и ограничиваются только надзором за барщиной сидящих на монастырских землях свободных крестьян и крепостных. Барщинный труд в изобилии снабжает монастырь всеми продуктами натурального хозяйства. Поэтому труд монаха, поскольку монах вообще желает трудиться, может быть теперь только религиозным упражнением; к таким религиозным упражнениям относятся и занятия музыкой.

Развитие музыки в средние века тесно связано с этим процессом феодализации монастырей. Церковное пение уже не является безыскусственным выражением чувств недифференцированной коммунистической общиной; оно приобретает черты изощренного профессионализма. Вместе с тем оно служит теперь интересам эксплоататорской организации, стоящей по своей культурности во главе господствующих классов. Церковное пение является существенной составной частью торжественного церемониала богослужения. Этот церемониал должен быть справлен со всей возможной пышностью, чтобы произвести наибольшее впечатление на массы, подавлять их величием церкви и тем самым подчинять влиянию духовенства. Для этой цели тщательно обучаются хоры певчих, ученые монахи разрабатывают теорию музыки.

Содержание музыки, таким образом, в корне изменилось; однако сохранилась старая форма—унисон, потерявшая свое идеологическое значение. В результате—острое противоречие между содержанием и формой, ведущее к поискам новых форм. Поиски ведутся первоначально в пределах старых форм; они направляются в сторону усложнения мелодической линии, в сторону украшения напевов. Однако все это не разрешает основного противоречия: исполнение украшенной мелодии хором ничего не прибавляет к сольному исполнению. Унисон решительно не дает хору возможности проявить себя, занять надлежащее место в торжественном церковном ритуале. Форма здесь отстает от содержания; характер музыки решительно не соответствует грандиозности церковных зданий, роскоши внутреннего убранства.

Такое положение привело в конце концов ученых монахов к попыткам многоголосия, имевшим в начале значение опытов почти акустического характера. Однако эти опыты были инте-

ресны; они производили сильное впечатление своей новизной, они открывали широкие горизонты дальнейшего развития, а главное, они давали, наконец, новую форму хорового начала, столь необходимую замену выродившегося унисона.

Указанные опыты многоголосия имеют исключительно важное значение в истории музыки, так как в дальнейшем они развиваются в контрапункт, т.-е. в одновременное соединение различных мелодий; а последняя музыкальная форма имеет важное значение и в настоящее время. Созвучие голосов, отличное от унисона и октавы, было известно некоторым северным народам ранее, нежели ее стали применять ученые монахи. Ввиду этого возник ученый спор, и до сих пор не решенный—о влиянии народного многоголосия на церковное. Без сомнения, народное творчество влияло на все этапы развития музыки, как одноголосной, так и многоголосной; но в то же время невозможно говорить о прямом перенесении народного многоголосия в церковь, так как мы имеем в том и другом случае существенно различные типы созвучий. Народные певцы «вторят» друг другу в терции, тогда как излюбленными интервалами теоретиков являются квинты и кварты.

Особенное недоумение исследователей возбуждает пение параллельными квинтами, применявшееся в IX—X веках фландрским монахом Гукбальдом. Для нашего слуха параллельные квинты совершенно невыносимы, тогда как Гукбальд и его современники говорят о них, как о весьма приятных созвучиях. Это показывает, как изменчивы формы эстетического восприятия. В настоящее время мы даже вовсе не можем воспринять интервал квинты, как таковой; указанный интервал воспринимается нами, как заместитель полного трезвучия, при чем отсутствие терции производит весьма неприятное впечатление сухости и пустоты; параллельное движение чистых квинт воспринимается нами как последование трезвучий, нарушающее понятие о ладе. Указанным эстетическим привычкам только еще предстояло сложиться в эпоху Гукбальда, почему наши современные воззрения и не применимы для оценки первых шагов полифонии. Параллельные квинты и кварты позволяют присоединение третьего голоса — октавы. Кроме параллельного движения голосов применяется противодвижение, когда голоса расходятся, образуя консонирующие интервалы, и затем снова сливаются в унисоне. Скоро в церковь проникает пение параллельными терциями (гиммель), к которым присоединяется третий голос—секста (фобурдон). Таковы были первые шаги нового хорового стиля.

III.

В результате мы видим, что предпосылок многоголосия следует искать не среди эстетических факторов, но среди факторов социально-экономического порядка.

Полная гегемония церкви—экономическая, политическая и идеологическая; полный отрыв клира от мирян и превращение его в эксплоататорскую общину; досуг духовенства для занятия искусством, как следствие его эксплоататорской функции; подчинение духовенства своей собственной иерархии и относительная независимость от вкусов и привычек мирян; необходимость орга-

низации торжественного церемониала, как внешнего выражения богатства и могущества церкви; организация хоров певчих для участия в церемониале богослужения и вытекающие отсюда поиски торжественного хорового стиля,—таковы предпосылки многоголосия в музыке.

Однако монастырь все же оказался мало подходящим местом для смелых новаторских попыток. Новый хоровой стиль возник при господстве натурального хозяйства; он мог развиться в монастырях лишь в тех пределах, в каких натуральное хозяйство допускает какие-либо идеологические новшества, т.-е. в пределах весьма узких; многоголосие не пошло в монастырях далее первых робких попыток. К тому же и эти попытки тормозились римской курией, невежество которой в ту эпоху граничило с полной безграмотностью. Идеология отношений натурального хозяйства отличается, как известно, максимальным консерватизмом; личность подавлена и подчинена строжайшей дисциплине, она вполне растворяется в целом; все поступки личности регламентированы, при чем предписания носят религиозный характер. Все эти черты мы находим в многоголосной музыке монастырей.

Прежде всего в пределах натурального хозяйства не могла выработаться самостоятельная мелодическая линия отдельного певца в хоре. Всеобщая регламентация и дисциплина выражается в музыке в виде канонизации определенных напевов, о замене которых какими-либо другими певец не может и думать. Подбирая сопровождение к хоральному напеву, певец только повторяет его на квинту или кварту, сексту или терцию выше, или же в крайнем случае делает попытки противодвижения, удаляясь и снова соединяясь с хоральным напевом, при чем слова текста произносятся одновременно во всех голосах. Таким образом здесь вовсе нет места для какой-либо возможности творчества со стороны композитора или певца; поэтому композитор совсем отсутствует, а певец обезличен; музыкальные опыты направляются схоластической ученостью.

Монастыри долго и упорно удерживали натурально-хозяйственный строй, и еще дольше его идеологию. Но начатки многоголосия проникли в города и развились там в искусство контрапункта, которое впоследствии обратно мало-по-малу завоевывало монастыри.

В XII веке центром умственной жизни был уже не монастырь, а город. В городах же такими центрами были сначала соборы, а затем университеты. При соборах существуют музыкальные школы, в университетах также изучают музыкальное искусство.

В городах, являвшихся центрами средневековой торговли, новые производственные отношения расшатывают мало-по-малу суровую дисциплину раннего средневековья; начинается процесс раскрепощения, освобождения личной, индивидуальной предприимчивости. Эта относительная свобода и предприимчивость, связанная с развитием денежного хозяйства, находит свое выражение также и в развитии музыки. Певцы с большим одушевлением, хотя и с малым искусством, начинают импровизировать самостоятельные партии, сопровождающие хоральный напев. Усложнение пения, введение третьего и четвертого самостоятельного голоса заставляет отказаться от импровизации; возникает необходимость предварительного расчета движения голосов; этот

расчет пока еще не является творчеством, но только решением своего рода математической задачи, которое выполняется ученым теоретиком. Однако в результате расчета каждый голос многоголосного сочинения получает некоторую самостоятельность, каждый певец может проявить свое искусство в самостоятельной мелодии. В результате получается как бы синтез личного и хорового начала. Изобретается мензуральная нотная запись, позволяющая фиксировать не только высоту, но и длительность звуков. Это позволяет писать пьесы, более разнообразные по ритму, в которых певцы произносят слова текста не одновременно и не «нота против ноты», но в разных голосах звуки могут иметь различную длительность.

Чем глубже внедряется торговый капитал в производственные отношения средневековья, чем быстрее идет разложение натурального хозяйства, тем менее церемонится горожанин с традиционной, священной, канонизированной формой—в музыке точно так же, как и во всяком другом роде деятельности.

Опыты многоголосия принимают все более смелый, все более рискованный, с точки зрения церкви, характер. Хоральный напев сопровождается народными мелодиями более оживленного ритма. Если тенор ведет канонизированный церковный напев, то другие голоса, вторящие ему, распевают светские мелодии вместе с текстом. Таким образом церковный и светский тексты звучат одновременно в различных голосах во время богослужения. Именно такое соединение в одно целое вполне самостоятельных мелодий рассматривается, как наиболее совершенный хоровой стиль. Это и есть контрапункт, выработавшийся из дисканта, т.-е. противодвижения голосов. Но это одновременное пение в церкви нескольких голосов на разные слова производит на консервативные умы впечатление весьма дерзкого новшества. Поэтому время от времени раздаются суровые окрики папской курии, протестующей против указанных новшеств; в общем и целом протесты эти остаются без результата.

На-ряду с церковной музыкой и параллельно ей идет развитие светской музыки. Впрочем, как церковная, так и светская музыка имеют один и тот же стиль, и если светские мелодии свободно проникают в церковь, то и, наоборот, хоральные напевы и приемы церковного контрапункта переносятся в светскую музыку. В описываемую эпоху вряд ли возможно противопоставлять друг другу светскую и церковную культуру. В XII веке светская культура является еще детищем церковной культуры. При дворах находятся ученые монахи и прелаты, в качестве представителей светской образованности. Церковь поощряет первые скромные шаги светской культуры. И в дальнейшем мы не видим решительного разрыва в среде господствующих классов. Церковь и торговый капитал никогда не были непримиримыми врагами; наоборот, церковь обзаводится огромными денежными капиталами и извлекает огромные выгоды из общих торговых оборотов Европы. Разбогатевшая буржуазия ценит церковь, как орудие подчинения народных масс и в своей оппозиции не переходит известного предела. В силу этого и в музыке церковной и светской мы находим, в общем, один и тот же стиль не только в XII и XIII веках, но также в XIV и XV.

К XII—XIII векам относится светское одноголосное пение рыцарей—трубадуров и миннезингеров, которое также находилось под влиянием церкви. Певцы, принадлежащие к феодальной касте, воспевали женщину и любовь; однако это была не личная и индивидуальная любовь к женщине, но любовь «платоническая», т.-е. обработанная в духе схоластического спиритуализма. Только такое «чувство» мог высказывать вассал к родственнице своего сеньора, которую он избирал «дамой сердца». Любовь, воспеваемая миннезингерами—это любовь, подчиненная тому же самому «закону фронтальности», который открывает Гаузенштейн в произведениях изобразительного искусства; лирика миннезингеров подчиняется требованиям условно-возвышенного стиля и не выходит из его рамок. «Любовь» здесь превращается в возвышенную позу, в непременную принадлежность классового церемониала феодализма, идеализирующего отношения между вассалами и сеньором. Лирическое выражение личных, индивидуальных переживаний вряд ли было возможно, оно показалось бы весьма тривиальным сюжетом для придворных празднеств.

Влияние церкви сказывалось также в представлениях поэтов о полной аналогии земных феодальных отношений и мистических небесных отношений; вследствие этого культ «дамы сердца» переходил в культ мадонны. Также и с формальной стороны мелодии миннезингеров ближе к церковным ладам, нежели к простонародному мажору и минору.

Расцвет музыки трубадуров и миннезингеров длился до тех пор, пока не пришли в упадок те феодальные отношения, которые она обслуживала. После того, как усилилась и выдвинулась на первый план монархия, а феодальные сеньоры утратили былое могущество, песни трубадуров и миннезингеров прекратились сами собой. В конце XIII века знатные люди уже презирают занятия музыкой; музыкальное искусство всецело переходит в руки профессиональных музыкантов, тесно связанных с церковью и культивирующих хоровое пение. Одни и те же профессионалы, организовавшиеся в особый цех, обслуживают как церковь, так и светских вельмож.

В результате прививается вкус к «ученой», культурной музыке; одноголосные рыцарские песни заменяются многоголосным мотетом, формой, до некоторой степени аналогичной современным дуэтам и трио.

В XIV веке на юге Европы светская культура получает решительный перевес над церковной; в Италии начинается эпоха ренессанса. Усиленно культивируется светская музыка, свободная от какой-либо связи с хоральным напевом. Излюбленной формой становится мадригал—хоровая композиция на текст любовного содержания в три, четыре, шесть, восемь и даже более голосов. Что касается выражения чувств в тексте и в музыке, то мы здесь не находим и следа того «закона фронтальности», которому подчинялись песни рыцарей. Богатеющий горожанин периода первоначального накопления капитала—торговец, промышленник или банкир—по натуре своей индивидуалист и кроме того не склонен видеть вещи иными, чем они есть на самом деле. Он стремится к свободному выражению индивидуальных переживаний и не склонен связывать себя с напыщенными условностями этикета. Поэтому в текстах мадригалов нет ничего мистического,

они имеют характер интеллектуализма, выражения индивидуальных побуждений, а иногда имеют весьма фривольное содержание.

Голосоведение приобретает черты известной зрелости, законченности; прежний теоретик, составлявший композиции при помощи сухого расчета по схоластическим правилам, сменяется композитором, который, хотя и не является творцом музыки в современном смысле слова, но все же проявляет не только техническую ловкость, но и изящный вкус. Из технических новшеств следует отметить появление хроматизмов, отличавших мадригалы от диатонической церковной музыки.

Усиливается также культура инструментализма. Пишутся контрапунктические сочинения для инструментов, распространяется сольное пение с инструментальным аккомпаниментом.

Однако здесь мы встречаемся с моментом консерватизма музыкальной формы. В силу этого консерватизма буржуазный ренессанс не может выработать своего собственного музыкального стиля и довольствуется тем, что деформирует церковный хоровой стиль, пытаясь приспособить его к своим потребностям. Идеалом музыкально-прекрасного как для церковных, так и для светских музыкантов одинаково является хор человеческих голосов, из которых каждый ведет самостоятельную линию. Инструменты являются только дополнением и поддержкой для человеческих голосов, или же суррогатом последних; инструментальный аккомпанемент—только суррогат пышной и торжественной гармонии хора. Поэтому на всех аккомпанирующих музыкальных инструментах, даже на таких, как лютня, стремятся проводить, поскольку это возможно, те же самые самостоятельные мелодические линии, как и в пении хора; эти мелодические линии на инструментах должны служить суррогатом хоровых партий. Ввиду такого взгляда на соотношение человеческого голоса и инструментов становится понятным, почему при дальнейшем развитии музыки в Нидерландах и во Франции снова получает преобладание хоровой стиль.

IV.

В XV столетии в Нидерландах—богатой торгово-промышленной стране, пользовавшейся относительным спокойствием среди военных бурь, кипевших вокруг по всей Европе — начинается классический век средневекового контрапункта. В конце XV столетия достижения нидерландских музыкантов прививаются также во Франции и Италии.

В настоящее время музыка нидерландцев известна под именем контрапункта строгого стиля. Строгим стилем эта музыка называется по сравнению с достижениями последующих столетий. Музыка нидерландских мастеров поражает наш современный слух исключительным стремлением к гладкости звучания, к полному благозвучию, понимаемому в самом узком смысле, к наиболее спокойным гармоническим комбинациям. Но наш современный вкус, как было уже указано, не может служить абсолютным критерием для музыки отдаленных эпох; здесь надо принять во внимание эволюцию в формах восприятия гармонии в течение столетий.

На своих современников музыка нидерландской школы вряд ли производила впечатление строгого стиля, так как она состояла

из весьма смелых по тому времени контрапунктических хитросплетений и отличалась высокой степенью технической виртуозности.

Нидерландские композиторы писали преимущественно мессы, но также и светские песни. Стиль как духовных, так и светских композиций был один и тот же; в качестве темы контрапунктического произведения (также и для мессы) выбиралась по большей части народная мелодия. Нидерландцы научились создавать музыкальное произведение из одной темы, которая проходила через все голоса, вступавшие не одновременно; такое ведение голосов называется имитацией, а музыкальная форма—каноном. При этом прибегали и к другим хитроумным приемам для достижения большего разнообразия. Например, тема проводилась в различных голосах в различных тактовых размерах звуками различной длительности и т. п. Вообще наиболее характерное отличие музыки нидерланцев заключается в стремлении к технической изощренности.

В мессах и других духовных композициях не было и следа экспрессии, религиозного чувства. Пытаясь об'яснить это обстоятельство, историки обычно выдвигают теорию стадий. Согласно этой теории, развитие музыки, в силу внутренней имманентной закономерности, должно пройти через неизбежный ряд стадий; и прежде чем достигнуть стадии, на которой становится возможной экспрессия, музыка должна пройти через стадию технического искуса. Нидерландская школа и является в глазах историков музыки такою «стадией технического искуса», а следующая за ней в XVI веке музыка римской школы—экспрессивной стадией. Однако мы знаем, что музыка развивается не в безвоздушном пространстве, но в определенной социально-политической обстановке; поэтому только рассмотрение классовой борьбы в указанную эпоху может сделать понятными особенности музыки как нидерландской, так и римской школы.

Музыка в Нидерландах развивается в эпоху монархической реакции, после того как господство демократии в лице ремесленных цехов было низвергнуто, и власть перешла в руки бургундских герцогов. Последние вступили в союз с городским патрициатом (т.-е. с богатой буржуазией), восстановили влияние буржуазии в городских делах и совместно с ней подавляли ремесленников.

Хоры певчих обслуживали интересы господствующих классов; но господствующие классы в Нидерландах, а также во Франции и Италии в ту эпоху держались далеко от христианского образа мыслей и были в сущности неверующими. Папство заключает союз с итальянской торговой и денежной буржуазией против феодалов, и папский престол в Риме становится центром «языческого» свободомыслия, а также распущенности. Однако неверующие господствующие классы весьма заботились о «спасении душ» низших, эксплоатируемых классов; поэтому торжественность, великолепие церковных обрядов всеми силами поддерживалось. Но это была лишь форма обрядности, импонировавшая народу своим великолепием. Революционные вспышки в форме ересей в разных местах потрясали здание церкви. Но духовенство было еще спокойно и не допускало проведения каких-либо церковных реформ. Поэтому и в музыке, обслуживающей церковь, господствовала бессодержательная форма. Не было на-лицо тех

«чувств», которые могла бы выразить музыка. Вполне ясно, что экспрессия, пафос одушевления создаются в процессе классовой борьбы и только по обстоятельствам времени могут принять религиозную окраску. Сам по себе факт религиозной веры не может еще породить религиозного одушевления. Последнее проявляется лишь тогда, когда религия становится знаменем борьбы, организационным центром какой-либо политической партии—революционной или контр-революционной. Когда революция, наконец, разразилась, то и характер музыки коренным образом изменился. На одной стороне зазвучал пропитанный чувством победы хорал «Ein feste Burg»...—марсельеза XVI века, по выражению Энгельса [1],—на другой стороне—глубоко эмоциональная музыка Палестрины. Отсюда понятно, что нидерландским церковным композиторам не оставалось ничего другого, как упражняться в разрешении технических трудностей, вносить в мессы плясовые, военные и даже скоморошьи мотивы.

Бросим теперь общий взгляд на технику средневекового контрапункта. Основным формообразующим принципом является то обстоятельство, что музыка понимается с точки зрения хора певцов, общественное значение которого заключается в усилении блеска и пышности феодального церемониала. Отсюда вытекают все особенности стиля, наиболее выпукло проявившиеся в музыке нидерландских мастеров.

Прежде всего отсюда вытекает принцип соединения одновременно звучащих самостоятельных мелодий. Средневековый хор певчих представляет собою своего рода цех мастеров; каждый член этого сообщества желает «концертировать», проявлять свое искусство в совершенно самостоятельной, мелодически осмысленной голосовой партии, бас в равной степени так же как и тенор или фальцетист. Таким образом центр тяжести композиции лежит в законченности и разработанности отдельных голосовых партий; гармония понимается при этом, как вторичный и производный эффект, вытекающий из сплетения голосов и имеющий до известной степени случайный характер. Кроме того, музыканты еще не имеют ясного понятия об аккордах; они принимали во внимание интервалы, которые образуются каждой парой голосов. Но доминирующее значение имеют не те интервалы, которые звучат одновременно, а те интервалы, которые берутся последовательно каждым певцом. Слушатели должны следить не только за отдельными и мелодическими линиями, но и за каждым отдельным мелодическим ходом голоса певца. Отдельный мелодический ход голоса отдельного исполнителя—вот тот основной элемент, из которого составляется музыка. Каждый голос поет «для себя», он не имеет целью вторить другому, или поддерживать другой. Музыка понимается, как одновременное действие совокупности самостоятельных, красиво льющихся голосов. Такая форма признается единственно возможной, единственно мыслимой; поэтому и на инструментах—органе, клавесине, лютне—звучат, поскольку возможно, те же самые самостоятельно льющиеся голоса. Композитор не стоит вне цеха певцов: он принадлежит к числу певчих какой-либо церковной или придворной капеллы.

[1] Ф. Энгельс, Старое введение к диалектике природы, «Архив Маркса и Энгельса», кн. II, 157 стр.

Он понимает музыку точно так же, как и певцы, и является выразителем их взглядов; у него нет особого угла зрения, отличного от точки зрения певца. Стремясь удовлетворить требованиям певцов, композитор все увеличивает число самостоятельных голосов хорового сочинения, доводя его в отдельных случаях до баснословной цифры. И слушатель был вынужден, равным образом, оценивая музыкальное сочинение, становиться на точку зрения певцов, тем более, что пение было культовым обрядом. Таким образом выработалась музыкальная форма, обладавшая огромным консерватизмом.

Из указанного понимания музыки вытекают и дальнейшие ее особенности, например, виртуозность музыки. Каждый певец должен был пройти весьма продолжительный искус и сделаться настоящим музыкальным ученым. Это вполне в духе средневекового цехового устройства, и имеет своею целью ограничение числа мастеров в цехе. Отсюда вытекает также взгляд на музыкальные инструменты, как на простую поддержку для певцов или же как на суррогат пения, нужный для замены недостающих голосов.

Этим же об'ясняется гладкость звучания, спокойствие и простота гармоний, в силу естественного закона свойственная хоровой культуре. Виртуозность отнюдь не направляется в сторону диссонирующих, беспокойных сочетаний, так как последнее характеризует культуру инструментализма.

Но результатом развития в указанном направлении был отрыв музыки от слушателей. Во-первых, слушатель совершенно не мог разобрать текста песнопений, так как певцы вступали не одновременно и слова, произносимые одним певцом, не совпадали во времени со словами другого. Во-вторых, слушатель, за исключением знатоков-специалистов, уже терял ключ к пониманию музыки вследствие ее возраставшей сложности. Для него полифонический стиль как бы переходил в свою противоположность. Рядовой слушатель уже не мог выделить и различить отдельных мелодий; он воспринимал только общее впечатление, т.-е. чередование аккордов. Не контрапункт, а только побочный результат его—гармонию—воспринимал слушатель; для него это была как бы гармония без мелодии. Его слух не мог распутать сплетений голосов, и они подавляли его, как подавляло вообще созерцание роскоши и могущества феодалов.

После победы реформации в Германии музыканты обеих борющихся партий вынуждены были приблизить музыку к слушателям.

Лютеранская церковная община возвратилась к древне-христианскому участию всего народа в пении хоралов. Но культура многоголосия пустила прочные корни, и гармония не могла быть изгнана из музыки. Поэтому возникает компромиссная форма. Хорал обрабатывается по обычным правилам контрапункта, но с возможной простотой, без искусственных ухищрений. В качестве музыкальной темы хорала берется простая, хорошо известная мелодия народной песни, которая поручается тенору, с таким расчетом, чтобы все слушатели легко узнали эту тему и могли к ней присоединить свои голоса в унисон. В этой форме было в дальнейшем сделано только одно видоизменение, а именно основная хоральная мелодия была перенесена из тенора в дискант, так

как в верхнем голосе мелодия выступала значительно отчетливее, и массам легче было к ней присоединиться. Протестантские хоралы в сильной степени проникнуты победным одушевлением; их форма определена стремлением привлечь всю массу слушателей к участию в одной из партий многоголосного по своей технике песнопения.

Под влиянием испуга перед революционными тенденциями реформации господствующие классы южных католических стран организуют широкое контр-реформационное движение, которое находит свое отражение в музыке римской школы во главе с знаменитым Палестриной.

Первой задачей контр-реформации является превращение католической церкви в боевую контр-революционную организацию. Для этой цели необходимо было устранить наиболее вопиющие церковные злоупотребления и провести целый ряд преобразований.

Тридентский собор, продолжавшийся с 1545 по 1563 год, проводит большую программу церковных реформ и превращает средневековую католическую организацию в католицизм нового времени. До сих пор католическое духовенство господствовало посредством методов светского управления; оно спокойно собирало и спокойно потребляло свои огромные доходы. Теперь же католицизм ставит на первый план демагогию и идеологическое завоевание масс. Среди прочих реформ собор обсуждает также вопрос о реформе церковной музыки. Светское виртуозное направление нидерландской школы получило решительное осуждение, хотя, вопреки утверждениям некоторых историков, собор вовсе не думал о полном изгнании полифонической музыки. Свой идеал комиссия собора нашла в мессах Палестрины, музыка которого отличалась отсутствием вычурности, простотой, доступностью для слушателей и в то же время была проникнута глубоким чувством как бы отрешенности от мира.

На примере Палестрины мы можем видеть, как разносторонний гений музыканта подчиняется влияниям среды и выполняет определенную служебную функцию в интересах господствующих классов.

Палестрина начинает, как композитор виртуозного направления, пишет мессы в стиле нидерландской школы, а также жизнерадостные мадригалы, среди которых есть даже написанные на неприличные тексты. В этом «грехе» он горько раскаивается позднее в годы своей религиозной деятельности. Палестрина находит своего мецената в лице папы Юлия III. Он получает место органиста собора Петра в Риме и затем принимается в певческую коллегию папской капеллы; последнее делается вопреки закону, так как Палестрина женат и не посвящен в духовный сан. Но в 1555 г. папой становится кардинал Караффа (Павел IV), один из вождей контр-реформационного движения, вовсе не расположенный быть меценатом светского направления в искусстве. В результате Палестрина лишается своих должностей. Лишение покровительства является тяжелым ударом для Палестрины, доводящим его до опасной болезни. Палестрина впадает в крайнюю бедность и удаляется из Рима в провинцию. Испытавши эти превратности, Палестрина стремится приспособиться к новым тенденциям господствующего класса, порывает с прежним направлением и создает

новый стиль, после чего опять водворяется в соборе Петра и в папской капелле.

Отношение Палестрины к хору певцов не таково, как отношение прежних композиторов. Сам Палестрина не певец; он стоит над хором, как выразитель религиозной идеи. Голосоведение в его композициях не позволяет певцам «концертировать» в виртуозно разработанных партиях, но требует самоограничения и дисциплины во имя запросов слушателей. Отсюда враждебность папских певчих к Палестрине, их протесты против «профана», который пишет музыку, не будучи певцом. Но протесты певцов не могут изменить созданного обстоятельствами политического момента отношения между ними и слушателями, и музыка Палестрины становится официальной, канонизированной музыкой католицизма.

V.

Культурная музыка эпохи феодализма не была приспособлена к целям развлечения или же к целям выражения индивидуальных чувств. Это было парадное искусство, как бы застывшее в своей торжественности. Даже беспритязательные монодии [1]) рыцарей выполняли не личную, но классовую функцию.

Совсем иначе относится к музыке народившаяся буржуазия, выдвинутая на политическую сцену развитием меновых отношений. При развитом товарном хозяйстве, как известно, каждый производитель противопоставляет свое частное хозяйство всем другим хозяйствам, как обособленное и независимое. Обособленность частных хозяйственных предприятий бросается в глаза, тогда как кооперация между товаропроизводителями и зависимость частного хозяйства от целого замаскирована фетишистскими представлениями. Результатом указанного положения дела является развитие индивидуализма в общественной психологии, который проявляется также и в музыке.

Начиная с «ars nova» (светский контрапункт) XIV столетия, наблюдается стремление лишить музыку ее «фронтальности», торжественности и ввести ее в частный, семейный быт. Горожанин видит в музыке приятное, культурное развлечение, а также средство для выражения именно индивидуальных побуждений и чувствований.

Возникший к началу XVI столетия и неокрепший еще княжеский абсолютизм находится под сильным влиянием буржуазии, а иногда является прямым порождением финансового капитала, подобно банкирскому дому Медичи. Поэтому придворное искусство проявляет в ту эпоху буржуазные тенденции. «Союз двора и биржи» определяет не только направление политики, но и направление искусства. В частности музыка становится не столько средством для выражения внешнего могущества государя, как было прежде, но средством для увеселения двора, принадлежностью комфорта.

Были также серьезные политические причины, которые заставляли княжеские и королевские дворы «веселиться»: устраивать концерты, прогулки, маскарады, вместо прежних торжественных шествий, турниров и проч. Суверены стремились привлечь

[1]) Монодия—одноголосное музыкальное сочинение.

феодалов к себе на постоянную службу и превратить их в придворных. Блеск и роскошь двора должны были при этом служить одной из приманок; удовольствия придворной жизни должны были привлекать феодалов ко двору и тем обезоруживать их. И, действительно, мы видим, что феодалы покидают свои замки и собираются вокруг королей. Этот процесс превращения феодального сословия в придворную аристократию оказал также большое влияние на развитие музыки. К придворным музыкантам были теперь пред'явлены требования давать музыку занимательную и драматически выразительную.

Существует полная аналогия между сменой стилей в музыке и в архитектуре. Торжественная готика аналогична полифоническому стилю и порождена теми же самыми историческими условиями. В эпоху ренессанса готические постройки были заменены другими, дающими более света и вообще более комфортабельными. Необходимость аналогичной смены остро чувствовалась и в музыке, но музыкальная форма оказалась более консервативной, нежели форма архитектурная, и преодолеть ее было значительно труднее, быть может, потому, что архитекторы могли заимствовать готовые формы у классической древности, а музыканты должны были брести наудачу. Переворот в музыке, соответствующий ренессансу, был произведен только в конце XVI столетия, почти на пороге XVII, т.-е. тогда, когда в других искусствах ренессанс уже был закончен.

Зажиточному горожанину с его скромными музыкальными рессурсами сравнительно легко было приспособить музыку к потребностям домашнего очага. Впрочем, как уже сказано, горожанам не удается создать самостоятельного стиля в музыке, и они довольствуются деформацией и упрощением церковной полифонии. Значительно труднее было положение больших придворных хоров и оркестров во главе с учеными композиторами. Они оказывались недостаточно гибкими. Многоголосные композиции, исполняемые во время придворных увеселений, звучали в прежнем стиле застывшей торжественности; самые искусные контрапунктические построения вызывали неудовольствие слушателей, так как идеал прекрасного в музыке коренным образом изменился. В течение всего XVI столетия продолжались настойчивые поиски выразительного стиля.

Иногда ставились музыкальные драмы или комедии, но речи действующих лиц передавались хором в стиле многоголосного мадригала. Например, в 1565 г. по случаю бракосочетания Франческо Медичи с Иоанной Австрийской была поставлена музыкальная комедия, в числе действующих лиц которой были Венера и Амур. Но действующим лицам была оставлена лишь мимика: от имени Венеры пел восьмиголосный хор, а слова Амура передавал пятиголосный хор.

В 1594 г. в Модене была поставлена музыкальная комедия «Amfiparnasso» Орацио Векки; в ней слова действующих лиц передавались пяти- и четырехголосными хорами басов, теноров или сопран. Невозможно найти примера более резкого противоречия между содержанием и формой. Самое лучшее, с точки зрения церковного хора, ведение голосов в партии Венеры могло производить на слушателей только впечатление напыщенности и скуки.

Переворот был произведен во Флоренции в кружке придворных музыкантов и поэтов, во главе которого стоял Джиованни Барди, граф Верньо, организатор увеселений при дворе великого герцога Тосканы. Музыканты, собиравшиеся у Барди, не были профессионалами старого типа, но принадлежали к типу гуманистов, т.-е. новому типу интеллигентов, порожденному потребностями торгового капитализма. Гуманисты, как известно, весьма охотно поступали в услужение к княжеским дворам и оказывали государям «идеологические» услуги. То, что бессильны были сделать ученые музыканты схоластического типа, то выполнили гуманисты. Сущность переворота в музыке, произведенного кружком Барди, можно выразить в немногих словах так: новаторы отбросили точку зрения хора певцов и ввели понимание музыки под углом зрения слушателей. Практически это означало следующее: композитор из всех голосов выделял один и давал слушателям монодию, т.-е. одноголосную вполне разработанную мелодию, а остальные голоса он лишал всякой самостоятельности и заставлял их только рисовать эмпирическими звуками тот гармонический фон, на котором слушатель должен представлять себе развертывание единственной мелодической линии. Второстепенные голоса уже не поют «для себя», они только переходят от одного аккорда к другому и тем поясняют слушателям гармонический смысл движения главного голоса. При этом гармония выступала вполне самостоятельно, а не как побочное следствие сплетения голосов. Такое голосоведение сперва было испробовано на лютне и других инструментах, а затем аналогичным образом стали трактовать также голоса хора и прежде всего бас. Это было как бы открытием законов музыкальной перспективы.

Конечно, сторонники старой формы могли смотреть на такое ведение голосов только как на варварские и абсурдные попытки дилетантов, нарушающие все правила контрапункта. Однако новый стиль сразу же имел большой успех. Он позволял композитору более свободно распоряжаться средствами оркестра и хора и пойти навстречу потребностям слушателей: давать им мелодию, не маскируемую сплетением с другими мелодиями и гармонию, также выступающую с полной отчетливостью.

Итак, должен был произойти ряд социально-политических сдвигов в обществе для того, чтобы музыканты покинули точку зрения церковного хора и научились сопровождать мелодию аккордами.

В протестантском хорале и в произведениях Палестрины мы находим только компромиссные попытки; основная концепция музыки здесь оставалась прежней. Изменить самую основу понимания музыки, взглянуть на нее в перспективе, под углом зрения слушателей могли не церковные, а только придворные музыканты.

VI.

Первые оперы флорентийцев, написанные в гомофоническом стиле, носят черты сильно запоздавшего ренессанса. Флорентинские музыканты-гуманисты, группирующиеся вокруг Джиованни Барди, одушевлены стремлением возродить музыкальную форму классической древности. Введенную ими форму dramma per musica

они рассматривают, как возрождение греческой трагедии. Но если литература и пластические искусства действительно много заимствовали у древних, то музыка фактически не могла заимствовать ровно ничего, так как самый характер музыки греков оставался совершенно неизвестным. Истолкование новых начинаний в смысле возрождения древних форм было, поэтому, вполне произвольным, и служило только в качестве боевого прикрытия, в качестве полемического приема для борьбы с традицией контрапункта.

Характерной чертой является реализм новой музыки; лирико-драматической выразительности стремятся достигнуть посредством натуралистических эффектов; певец стремится подражать интонациям выразительной разговорной речи; мелодия в значительной степени сведена к речитативу с аккордовым сопровождением; музыка служит как бы иллюстрацией для текста и отражает его оттенки [1]). Если первые попытки флорентинцев носили до некоторой степени примитивный характер, то в операх Монтверде, работавшего в Венеции, вышеуказанные черты выражены с большой силой и искусством. Монтверде усилил иллюстративную выразительность музыки введением неприготовленных диссонансов и изобрел ряд натуралистических оркестровых эффектов, как, напр., тремоло и пиччикато струнных, которые вошли впоследствии во всеобщее употребление; этим он углубил открытые законы музыкальной перспективы. Введенные им оркестровые приемы по своему значению аналогичны раккурсу в живописи. Сторонники старых полифонических форм не могли понять законности новых приемов и резко критиковали музыку Монтверде, высмеивая его эффекты; они воспринимали буквально те эффекты, которые следовало понимать в некоторой перспективе. Монтверде можно считать последним и наиболее запоздавшим выдающимся представителем ренессанса.

Увлечение гомофонической музыкой и в частности оперой быстро распространилось из Флоренции по другим городам Италии. В дворцах аристократов устраиваются частные театры. Оперные представления носят вначале характер закрытых княжеских спектаклей, на которых могут присутствовать только лица, имеющие доступ ко двору. Но затем купеческое общество Италии также использовало реформу флорентинцев; опера вскоре становится коммерческим предприятием, развлечением, доступным для зажиточных горожан.

Натуралистическое направление флорентинцев и Монтверде не могло удержаться и довольно быстро сменилось ариозным стилем в опере, зачатки которого мы находим также у флорентинцев (Каччини).

Стремление к натурализму в искусстве обычно связано с общим рационализмом мировоззрения. Такое направление было свойственно буржуазии в эпоху ренессанса, т.-е. в ту эпоху, когда буржуазия впервые выдвинулась, как крупная самостоятельная сила, когда она боролась с феодалами, стремясь выйти из-под их опеки. Но в XVII столетии буржуазия в каждой стране нуждается в союзе с феодальными силами, группирующи-

---

[1]) Так, флорентинский новатор Якопо Пери пишет в предисловии к изданию своей оперы «Евридика»: «Я отбросил все, что до сих пор мне было известно из пения, и стремился в музыке к подражанию речи, приличному драматическому выражению».

мися вокруг королей, для борьбы за рынки с конкурирующей буржуазией других стран. Вследствие необходимости такого союза для разрешения экономических задач в национальном масштабе, буржуазия утрачивает свое боевое рационалистическое мировоззрение эпохи ренессанса и охотно подчиняется идеологии абсолютизма. Равным образом и в области искусства буржуазия XVII столетия подчиняется влиянию придворных кругов, не склонных увлекаться натурализмом. Поэтому драматическое направление в опере вытесняется ариозным стилем.

Натуралистическая выразительность речитативов заменяется подчеркнутой, но по существу условной, аффектацией bel canto. Красивая условность театральных поз и музыкальных приемов становится традицией; в этой форме итальянская опера совершает триумфальное шествие по Европе, повсюду завоевывая аристократические и крупно-буржуазные круги.

Со стороны музыкальной формы итальянская опера может быть рассматриваема, как последовательно проведенное понимание музыки, с точки зрения слушателей, чем и об'ясняется пристрастие магнатов и буржуазии именно к этой музыкальной форме.

Подчеркнуто-выразительная, виртуозно разработанная мелодия, сопровождаемая простою гармонией в мажор-миноре и проводимая чувственно-приятным голосом певца—эта форма безраздельно господствует при княжеских и королевских дворах, за исключением тех моментов, когда музыка привлекается к обслуживанию придворной трагедии (Люлли, Рамо и позднее Глюк).

В связи с этим виртуоз-певец получает преобладающее значение и подчиняет себе не только аккомпанирующих музыкантов, но и композитора, задача которого сводится теперь к тому, чтобы дать возможность певцу блеснуть своим искусством. Но певец приобретает такое значение не в силу внутренней содержательности, а в силу угождения высокопоставленным слушателям, в силу того, что он проводит в музыке точку зрения слушателей. Певец-виртуоз XVII столетия — это преимущественно кастрат, соединяющий диапазон и тембр детского голоса с грудью и легкими взрослого мужчины.

В средневековом хоре также остро чувствовалась потребность в высоких голосах, так как дети не были в состоянии усвоить музыкальной премудрости, а женщины в силу традиции не могли участвовать в хоре. У ученика перелом голоса наступал раньше, нежели он мог усвоить все тонкости ремесла и участвовать в исполнении. Тем не менее цех певцов не мог и подумать о возможности прибегнуть к ножику с целью кастрации своих сочленов; тогда предпочитали, чтобы слишком трудные для учеников партии исполняли взрослые певцы фальцетом.

Обычай кастрировать мальчиков с целью предупредить перелом голоса явился приблизительно одновременно с возникновением ариозного стиля; при нравах того времени он был только логическим следствием перехода музыки на точку зрения слушателей и связанного с этим культивирования чувственной выразительности мелодии.

Голоса кастратов нравились слушателям более, нежели женские голоса, и потому с проникновением женщин на оперную сцену обычай кастрации только медленно вытеснялся.

Тот же ариозный оперный стиль был введен и в католической мессе. Католическое духовенство поспешило перейти в музыке на точку зрения слушателей и использовать выразительность нового стиля. В эпоху религиозных войн духовенство стремится фанатизировать массы, но в то же время охотно идет на второстепенные уступки, стараясь сделать обязанности культа для прихожан возможно более легкими и даже приятными. Для привлечения молящихся духовенство не останавливается перед тем, чтобы ввести в богослужение оперные арии и пение кастратов. Так с аффектацией и пафосом барокко тесно связана иезуитская дипломатия.

VII.

Развитие полифонической музыки продолжалось параллельно развитию гомофонной. Однако полифоническая музыка вскоре потеряла под собою в Италии и Франции какой бы то ни было социальный базис, вследствие чего она перекочевала в Германию, где и пустила прочные корни. Пуританский дух немецкого бюргерства был вовсе не благоприятен для развития светской музыки и в особенности для ариозного стиля. Немецкие владетельные князья увлекались итальянской оперой, бюргеры же относились с презрением к этим увлечениям, равно как и к светским увеселениям княжеских дворов вообще. Так как светский ариозный стиль был тесно связан с придворной роскошью, то протестантский горожанин вследствие духа противоречия, т.-е. вследствие классовой вражды к феодализму, покровительствует церковной музыке, при чем в последней также в силу вражды к придворной фривольности приобретает господство суровый, основательный «ученый» контрапункт. Главной задачей протестантской церковной музыки является контрапунктическая обработка хоральных мелодий, связанных с воспоминанием о революционной борьбе.

Но контрапункт немецких протестантских мастеров значительно отличается от более раннего стиля нидерландцев. Прежде всего он насыщен экспрессией и не гонится за разрешением чисто виртуозных задач. Церковный протестантский ритуал не является той пустой великолепной формой, каким был католицизм в период, предшествовавший реформации. Немецкий бюргер твердо держится за свою «буржуазную версию христианства», которая является столько же религиозной, сколько и политической доктриной. Поэтому и протестантские гимны проникнуты горячим одушевлением, поэтому и контрапункт немецких композиторов, обрабатывающих эти гимны, приобретает лирико-драматическую выразительность, что проявляется формально в более свободном употреблении хроматизмов и диссонансов.

Так как участвует в пении хорала вся община, то профессиональный хор певцов получает лишь второстепенное значение: он только сопровождает пение общины; но подобная функция может быть выполнена также и органом; и мы действительно видим, что на передний план выдвигается органист, который одновременно является композитором. Орган приобретает выдающееся значение в протестантском ритуале; профессиональный хор всецело подчиняется органисту. Хотя музыка понимается по-прежнему с точки зрения певцов, с точки зрения самостоятельно движущихся голосов, но эти голоса могут также само-

стоятельно двигаться и под пальцами органиста. Поэтому протестантский композитор приобретает такую свободу в трактовании голосов, которой не мог иметь нидерландский композитор, принадлежавший к цеху певцов. Кроме простых хоралов, в пении которых принимает участие вся община, постепенно приобретает значение художественно обработанный хорал, исполняемый только профессионалами. К этому следует добавить, что старый нидерландский контрапунктист не подозревал о возможности гомофонического стиля, тогда как протестантские музыканты знакомятся с ним и умеют использовать в подходящих случаях законы музыкальной перспективы.

Итак, немецкий композитор, свободный, в силу сложившихся обстоятельств, от необходимости непосредственного угождения певцам и слушателям, защищенный пуританизмом горожан от духа придворной фривольности, должен углубиться в разработку выразительного контрапунктического стиля.

Немецкий контрапунктический стиль и итальянский ариозный, развиваясь параллельно, оказывают влияние друг на друга.

К началу XVIII века бюргер уже не был тем свободным членом независимой городской общины, которая вынесла на своих плечах реформацию, но был бесправным и беззащитным подданным мелких абсолютных государей раздробленной Германии. Точно также и протестантское духовенство успело превратиться к тому времени в простых прислужников тех же абсолютных государей. Поэтому городская буржуазия уже не могла, как прежде, демонстративно противопоставлять пуританскую культуру придворной.

В то же время в Италии и Франции возникает стремление отразить в музыке богатую интеллектуальную и эмоциональную жизнь третьего сословия, а не обслуживать исключительно придворные вкусы. Таким образом все более настоятельной становилась потребность в синтезе двух стилей, в некотором компромиссе.

Однако немецкая буржуазия была в политическом отношении настолько бессильной и бесправной, что на немецкой почве даже компромисс в музыке не мог привиться сразу. Под давлением княжеского деспотизма бюргер уходит в себя, замыкается в свои личные переживания. Индивидуалистический пиэтизм бюргера был формой робкого, бессильного политического протеста.

Поэтому и величайшего музыканта эпохи — Себастиана Баха — мы видим абсолютно оторванным от общественной жизни, замкнутым в узко-профессиональной среде, наиболее склонным к излиянию личных благочестиво-лирических настроений. Поэтому Бах был мало популярен за пределами узкого круга немецких профессиональных музыкантов.

Бахом, как колоссальным музыкальным явлением, заинтересовались только столетием позднее, и преимущественно с той точки зрения, что сочинения Баха являют пример идеального приспособления музыкального мышления к полифонической форме, достигнутого, конечно, колоссальным трудом и чисто научной основательностью.

Энергичный современник Баха Гендель, представитель компромисса протестантских и светско-аристократических тенденций в музыке, нашел почву для своей деятельности не в Германии, но только в Англии.

Вначале Гендель писал оперы в итальянском стиле, имевшие успех, и стоял во главе оперного предприятия. Своими попытками к введению некоторых новшеств он восстановил против себя влиятельную часть аристократии; кроме того, ему не удавалось подчинить своим планам певцов-виртуозов. После ссоры с знаменитостью того времени—кастратом Фаринелли—Гендель вынужден был бросить оперную деятельность. После этого он обратился к кадру буржуазных слушателей и нашел ту музыкальную форму, которая отвечала запросам этого класса. Такою формою явилась оратория—хоровое и органное музыкально-драматическое сочинение с участием оркестра и солистов, написанное на библейский или же евангельский сюжет.—Своего рода музыкальная драма, поставленная без костюмов и декораций. Библейские сюжеты как нельзя более соответствовали настроению английской буржуазии; библейский героический эпос в представлении слушателей имел прямое отношение к перипетиям классовой борьбы в Англии.

Маркс сказал, что революции иногда берут на прокат наиболее для себя подходящие исторические костюмы и что английская революция выступала в библейском одеянии. Библия—эта книга мелких собственников с ее уравнительной частно-владельческой идеологией—пришлась значительно более по вкусу революционной мелкой буржуазии, нежели евангелие [1]). Поэтому Гендель разрабатывает библейские сюжеты преимущественно перед евангельскими. В противоположность лирику Баху, Гендель сильнее в эпосе (речитативы), но наибольшего под'ема достигает в выражении драматизма (хоры, арии). Однако Гендель вносит начало компромисса и подчеркивает не революционную, а пиэтистскую сторону библейских сюжетов. Точно также и музыка его соединяет формы протестантского хорала с формами итальянской оперы. С формальной стороны компромисс проявляется в том, что Гендель начинает свои музыкальные номера в полифоническом стиле; но продолжает их в гомофонном стиле, идя навстречу слушателю и оставаясь повсюду вполне доступным. Оратории Генделя имели огромный успех как в Англии, так и на континенте; однако не Гендель дал окончательную форму компромиссу в европейском масштабе. Компромисс был заключен не на буржуазной, а на аристократической основе, и состоял в том, что новым буржуазным содержанием заполнялись формы, образовавшиеся из придворных танцев. Благозвучие!—вот лозунг этого компромисса. Плебей-композитор мог оживлять музыку выявлением буржуазных стремлений, но основной принцип благозвучия не позволял ему забывать, что главная цель и предназначение музыки—служить развлечением для аристократических ушей. Требование полного благозвучия в музыке является основным формообразующим принципом в течение всей второй половины XVIII века. Под влиянием этого требования окончательно складываются формы классической симфонии и сонаты. Возникновение указанных музыкальных форм вызвано развитием публичных концертов, переходом инструментальной музыки из дворцов королей и магнатов на концертную эстраду к широкому кругу буржуазных слушателей, что было вызвано, в свою очередь, экономическим усилением третьего

[1]) См. Луначарский, История западно-европейск. литературы, ч. I.

сословия. Полифоническая музыка не могла выдержать этого перехода на платную публичную эстраду. Чисто полифоническая музыка могла развиваться только под покровом культа; то пристальное, напряженное внимание, которого она требовала от массового слушателя, возможно было только в церкви, и лишь постольку, поскольку слушатель видел в музыке священный обряд и относился к слушанию музыки, как к религиозной обязанности. Невозможно было бы найти массовых ценителей, желающих за плату слушать в концерте фуги и фугированные хоралы. Наоборот, придворному инструментальному искусству было сравнительно легко приспособиться к платным публичным выступлениям. Придворная инструментальная музыка оркестровая и клавесинная отличалась виртуозностью, благозвучием и была почти исключительно связана с танцем. Музыканты соединяли танцы в серии с чередованием быстрых и медленных темпов (танцовальная сюита), из этой формы впоследствии развилась соната.

Приспособляя указанные формы к платным, публичным исполнениям, музыканты должны были позаботиться о большой длительности композиций. Пьеса должна заполнять некоторый определенный минимум времени для того, чтобы удовлетворить слушателя, заплатившего деньги. С целью увеличения длительности музыкальных номеров в композицию стали вводить также вторую мелодическую тему. Отсюда возникает обычай строить музыкальное произведение на разработке двух контрастирующих мелодий, выступающих попеременно. Симметричное «архитектоническое» построение танца с постоянными повторениями и кадансами [1]) удержалось также и в тех формах, которые были приспособлены для публичной эстрады. Симметричная архитектоника входила как существенная составная часть в общее требование благозвучия. Конечным результатом приспособления придворных танцовальных и песенных форм к платному публичному исполнению явилась форма сонатного allegro, положенная в основу как сонаты, так и оркестровой симфонии.

«Внешний характер сонаты,—говорит Рихард Вагнер,—был ей придан тенденцией ее практического применения: с сонатой пианист представлялся публике, которую он, как таковой, должен был услаждать своею техническою законченностью и, вместе с тем, приятно занимать, как музыкант» [2]).

Таким образом в области музыкальной формы буржуазия вполне подчинилась влиянию аристократического вкуса. В то же время в музыке все настойчивее звучат настроения и чувства, мало свойственные собственно аристократическим кругам и являющиеся отражением идейной жизни буржуазии: сентиментальная задушевность, юмор, ликующий оптимизм, стремление к психологической глубине. Эти настроения характеризуют именно психологию буржуазии, еще не ставшей революционной, но идущей быстрыми шагами к под'ему.

Два замечательных музыканта Гайдн и Моцарт отразили в своей музыке указанные настроения и сделали все, что возможно сделать в рамках аристократического благозвучия.

---

[1]) Благозвучное заключение музыкальной фразы.
[2]) Рихард Вагнер, Бетховен.

Однако не следует думать, что музыканты XVIII столетия бунтовали против рамок благозвучия; этого не позволяло зависимое положение музыканта. Музыканты вполне сжились с этими рамками и не представляли себе возможности художественной музыки иного склада. Так, например, Моцарт пишет: «Страсти не должны быть выражены так сильно, чтобы возбуждать отвращение. Даже при самых ужасных ситуациях музыка никогда не должна оскорблять слуха, а доставлять ему наслаждение, следовательно, оставаться музыкой». Примером такой ситуации может служить хотя бы гибель Дон-Жуана. Характерно, что в опере Моцарта «Дон-Жуан», поставленной в первый раз на сцене в 1787 году, т.-е. за два года до взятия Бастилии, музыка последнего акта гениально представляет гибель феодального рока под ударами исторической необходимости. Содержание сцены заключается в том, что тяжелые, зловещие шаги каменной статуи командора приближаются к пирующим феодалам. Статуя появляется и увлекает феодального героя в бездну. Но и эта «ужасная ситуация» с формальной стороны проведена в рамках полного благозвучия.

VIII.

К концу XVIII столетия буржуазия, ставшая революционной, производит натиск на старый режим, натиск, оканчивающийся во Франции расправой третьего сословия с аристократией, а в Германии ограничивающийся борьбою в области философии, литературы и искусства. Музыка также отразила этот рост классового самосознания и боевого настроения в лагере буржуазии. Маркс указывал на то, что рост и развитие искусства не всегда стоит в прямом отношении с ростом и развитием экономики. Так и в музыке на рубеже XIX века революционная стихия гораздо ярче проявилась в отсталой Германии, нежели в передовой Франции. Дело в том, что во Франции энергия буржуазии имела естественный выход в борьбе за власть, за уничтожение старого режима; между тем германская буржуазия была оторвана от политичеческой деятельности и могла лишь мечтать о политическом перевороте. Философия, литература и искусство были для немцев тою отдушиной, куда устремлялась нараставшая энергия, и где она единственно могла находить себе применение. Поэтому именно на немецкой почве появилась музыка совершенно нового, неслыханного до сих пор типа, проникнутая титанизмом и энергией борьбы, одних приводящая в ужас полным разрывом с традициями, другими воспринимаемая с энтузиазмом—музыка Бетховена.

Что собственно случилось? Музыкальные темы в произведениях Бетховена зазвучали более сурово, более напряженно и страстно, нежели было прилично для красивого, галантного искусства, каким все считали музыку. Но это означало, что немецкий бюргер более не мирится с компромиссом благозвучия, что он презирает эстетические «лакомства» аристократов [1]) и выдвигает свою собственную более суровую и возвышенную эстетику. Немецкий бюргер в лице Бетховена выступает в музыке, как пред-

[1]) Бетховен протестует против стремления искать «лакомства» в музыке.

-ставитель класса, сознавшего свое значение и готового к борьбе за свои интересы. Бетховен, как и большинство немецкой интеллигенции, был восторженным наблюдателем драмы французской революции; это однако не дает права видеть в его музыке отражение французской революции; музыка Бетховена всецело является порождением немецких социально-политических условий. В германской литературе Бетховен имеет своего прототипа, на которого он поразительно походит социальными корнями и основными мотивами творчества. Этот литературный прототип Бетховена—Клопшток.

Клопшток и Бетховен—оба в равной степени отличались гордым, независимым характером, чувством собственного достоинства, упорством в отстаивании убеждений; они оба горячие республиканцы, ненавидящие тиранов, оба горячо приветствовали французскую революцию.

В поэзии Клопштока, весьма распространенной в Германии XVIII века и с энтузиазмом воспринимаемой, отразился важный момент развития классового сознания немецкой буржуазии. Угнетенная и раздробленная буржуазия Германии начинает сознавать свое национальное и классовое единство, мечтать о лучшем политическом будущем для себя и страны.

Традиционный немецкий пиэтизм перестает быть уединенным спасением, уходом личности от неприглядной действительности, но проникается гуманитарным, общеклассовым духом, становится формой буржуазной общественности.

Клопшток выдвигает в своих произведениях идеи национального патриотизма и космополитизма и защищает их с величайшим захватом. Его экзальтированная поэзия проникнута классовым пафосом; в ней чувствуется, что немецкий бюргер осознает себя уже не в качестве жалкого подданного мелких тиранических княжеств, но как член класса, имеющего большое будущее.

Тот же захват, тот же классовый пафос, те же идеи космополитизма, братства и классовой солидарности выражены и в музыке Бетховена, и то же самое основное настроение—суровый, возвышенный оптимизм.

Сходство между Бетховеном и Клопштоком можно проследить до мелочей. Так, Клопшток писал пасторали, как и Бетховен. Когда Бетховен посвящает 3-ю симфонию Наполеону, а затем уничтожает это посвящение—он только повторяет жест Клопштока. Клопшток сперва видит героя в прусском короле Фридрихе II и пишет для него героическую «Военную песню». Но он разочаровывается в политике Фридриха, и после этого относит свою «Военную песню» уже не к Фридриху, а к... Генриху Птицелову.

Несомненно также влияние поэзии Клопштока на Бетховена, о котором свидетельствует и Рихард Вагнер.

«Бетховен примыкал к тому оптимизму, который был привит всему вообще религиозно-бюргерскому миру мечтательными гуманитарными тенденциями прошлого столетия...

«...У наших поэтов искренне нравились ему только те вещи, где в повышенном тоне трактованы эти догмы; и если «Фауст» всегда так властно чаровал его, то все же Клопшток и какой-

нибудь плоский певец гуманизма казались ему в особенности почтенными. Его мораль отличалась строжайшей бюргерской исключительностью: фривольный дух выводил его из себя»[1]).

Нет сомнения, что увлечение «гуманитарными догмами, трактуемыми в повышенном тоне», о котором как бы с некоторым недоумением говорит Вагнер, есть не что иное, как процесс оформления классового сознания бюргерства, и что музыка Бетховена является отражением того же процесса.

Указанная аналогия между Клопштоком и Бетховеном и влияние первого на второго показывают ничтожество антиобщественной традиции буржуазных искусствоведов, согласно которой влияние литературы на изобразительные искусства и музыку якобы может приводить только к нехудожественным произведениям.

Но, конечно, различие между Клопштоком и Бетховеном, как между талантом и гением, огромно. Бетховен поднимался до такой титанической мощи, до такого напряжения воли, до какого Клопштоку было далеко.

Бетховен отличался изобретательностью фантазии, неисчерпаемым богатством музыкальных образов, тогда как Клопшток вращается в сфере туманных и абстрактных представлений. Кроме того Бетховен является представителем более развитого буржуазного сознания. В то время, как Клопшток выражает классовые идеи еще в формах пиэтизма, Бетховен в значительной степени освобождается от пиэтизма. Но все-таки у Бетховена, как и у Клопштока, нет и следа рационализма, сознательного искания новых форм в искусстве; его протест только стихиен, эмоционален; в этом он также является продуктом отсталости германских экономических отношений.

Рационализм—продукт развития передовой буржуазии; поэтому он не возникает самостоятельно на немецкой почве, но импортируется в Германию из Франции. В философии рационализм переходит от Декарта к Лейбницу и Канту. Лессинг в своей рациональной критике французской придворной драмы и стиля рококо опирается на Дидро. Точно также немецкие новаторы XIX столетия в области музыкальной формы, Лист и Вагнер, получают импульс от Берлиоза.

Бетховен не был и не мог быть рационалистом, он не критиковал установленных музыкальных форм и не искал новых; он взял гайдновские формы сонаты и симфонии, которые несомненно сильно его стесняли, раздвинул их рамки и наполнил их новым содержанием. Но и в рамках традиционных форм Бетховен совершает революцию стиля, которая имеет не меньшее значение, нежели произведенный флорентинцами переход от полифонического к гомофонному стилю.

Бетховен дает синтез гомофонного и полифонического стиля: он упраздняет как точку зрения исполнителя-певца в музыке, так и точку зрения слушателя, и трактует музыку с своей собственной точки зрения—с точки зрения мастера.

Поскольку композитор становится выразителем в музыке передовой общественной идеологии, он стремится уже не к тому, чтобы развлекать слушателей, но к тому, чтобы оторвать их от

[1]) **Вагнер**, Бетховен.

индивидуалистической обыденности, об'единить в чувстве классового под'ема. Поэтому композитор становится центром внимания; слушатель должен усвоить теперь новое трактование музыки и стремиться возможно лучше понять намерения композитора. Композитор получает, таким образом, простор для творчества; он более не склонен подчиняться стеснительным традиционным правилам и отдается свободному течению музыкальных мыслей. Свободный полет воображения в музыке!— вот, что становится основным формообразующим принципом со времени Бетховена. Но этот принцип требует совершенно новых приемов ведения голосов в музыкальных композициях.

До сих пор композитор старался взглянуть как бы со стороны на свое произведение и заботился прежде всего о том, чтобы оно изящно и корректно звучало. Он заботился о том, чтобы слушатель получил вполне благозвучное построение с неизбежными кадансами, с преобладанием закругленной, симметричной мелодии, построение, произошедшее от танца и песни, и так их напоминающее, как махровый культурный цветок напоминает полевой.

Бетховенская концепция музыки совершенно иная; задача музыкальной композиции заключается в том, чтобы эмпирическими звуками воспроизвести полет музыкального воображения. Если прежде композитор писал «для голосов» в том смысле, что он насиловал свое воображение, приспособляясь к исполнителям и слушателям, то теперь, наоборот, «голоса» должны только воспроизводить естественное течение музыкальных мыслей. Бетховен дал законченно буржуазную концепцию музыки, которая являлась господствующей в течение всего XIX столетия.

Ввиду новых грандиозных задач, выдвинутых перед музыкой, отдельные шероховатости эмпирических звучаний (параллелизмы и проч.), которые ранее считались ужасными преступлениями против благозвучия, теперь стали вполне допустимыми. Вместе с тем произошло углубление гармонического созерцания звуков: приобретают важное значение те созвучия, которые ранее признавались диссонирующими и применялись с крайней осторожностью. Свободный полет воображения, как было сказано, естественно примиряет гомофонную и полифоническую формы. Полифонизм, встречающийся у Бетховена, имеет совершенно иную природу, нежели полифонизм Баха. Полифонизм Бетховена не есть трактование музыки с точки зрения «голосов», но экстатическое начало в музыке—тот же порыв воображения, принявший полифоническую форму; именно так он воспринимается и слушателем. В музыке XIX столетия находит применение только этот полифонизм нового типа. Контрапункты старого типа, написанные в подражание мастерам полифонического стиля, хотя и ценятся специалистами, но, в сущности, не производят никакого впечатления.

Бетховен представляет собою сложное явление. Мы находим у него музыку не одного типа, но трех различных типов. Музыку раннего периода деятельности Бетховена можно характеризовать как музыку домашнего очага. Это музыка также вполне буржуазного склада, проникнутая задушевной выразительностью, имеющая прямое отношение к сентиментальному направлению в искусстве. Именно этого типа произведения наиболее

охотно воспринимались современниками и создали Бетховену известность.

Главный период деятельности Бетховена, где он достигает титанической мощи, мы характеризовали выше, как отражение классовых идеалов революционной буржуазии. Произведения этого склада только с трудом понимались слушателями, привыкшими к формам благозвучия в музыке. Критика судила о Бетховене с точки зрения благозвучия и единодушно ставила ему в упрек «необузданность воображения», «резкости и странности» и т. п., не будучи в состоянии понять правомерности нового стиля. Тот же горожанин, который ценит Клопштока, а также литературу «бури и натиска», вовсе не убежден в том, что его классовые стремления должны быть отражены также и в музыке. Поэтому он предпочитает сантиментально-идиллические произведения первого периода Бетховена его позднейшим произведениям. И наоборот, некоторые аристократы из чувства снобизма оказывают довольно существенную поддержку Бетховену, не понятому буржуазией.

Но если симфонии Бетховена все же постепенно находили дорогу к буржуазным слушателям, то произведения последнего периода его деятельности остались вовсе не понятыми современниками. В самом конце своей деятельности под влиянием личных несчастий (глухота), а также политической реакции Бетховен замыкается в собственное «я» и дает музыку индивидуалистического склада (преимущественно последние квартеты). Здесь принцип свободного течения музыкальной мысли становится средством индивидуального выражения, средством превращения музыки как бы в звуковую грезу. Такое превращение музыки в «грезу» характерно для романтиков XIX столетия, для которых поэтому именно последние произведения Бетховена послужили в качестве отправного пункта.

IX.

И в дальнейшем музыка первой половины XIX столетия носит двойственный характер: в ней ярко выражена как буржуазная общественность, так и буржуазный индивидуализм. Мировым музыкальным центром становится Париж, где понимают и культивируют симфоническую музыку Бетховена, позабытую немцами, где работают Берлиоз и Лист и где проходит свой ученический стаж Вагнер.

Париж в эпоху реставрации, а также и после июльской революции, является ареной романтического движения в литературе и искусстве. То романтическое течение, о котором идет речь, выступает в качестве передового общественного течения с мечтами о всенародном искусстве. Плеханов указывает, что «движение тридцатых годов в литературе и искусстве далеко не имело характера народной революции»—и это безусловно справедливо; и, конечно, музыка романтиков была недоступна широким массам. Однако общественный пафос музыкантов-романтиков поддерживался иллюзией единства третьего сословия, и именно эта иллюзия позволяла мечтать о всенародном искусстве.

Романтики примыкали к происходившему в то время движению крупной и средней буржуазии во Франции против реставрированной дворянской монархии. Городская буржуазия была единодушна в борьбе против остатков феодализма, которые угрожали всем ее завоеваниям в предшествовавшую революционную эпоху. Она стремилась опереться в своей борьбе также на рабочий класс. так как в последнем она еще не видит антагониста. Идея единства третьего сословия, не разделенного на классовых врагов—буржуазию и пролетариат,—была возможна постольку, поскольку рабочий класс был подавлен безработицей и совершенно не организован.

Идеологом промышленной и финансовой буржуазии в описываемую эпоху был Сен-Симон. Именно потому, что рабочий класс в эпоху реставрации был неорганизован и политически индифферентен; Сен-Симон мог говорить о промышленном сословии, как о некотором целом, включающем в себя буржуазию и пролетариат, и противопоставлять его интересы интересам дворянства. Буржуазия, таким образом, желала выступать не только от своего имени, но и от имени пролетариата.

Идеалом Сен-Симона является благоустроенное промышленное общество, в котором начисто устранены пережитки феодализма, и в котором буржуазия совместно с технической интеллигенцией «разумно» эксплоатирует пролетариат. Артисты также находят свое место в промышленном обществе Сен-Симона. Находят свое место артисты и в движении за буржуазный идеал. Согласно построениям утописта Сен-Симона, новый строй может быть достигнут не посредством революционной борьбы, но посредством филантропической деятельности. Все «благородные люди» должны пропагандировать «возвышенные чувства» для пересоздания общества—вот мысль Сен-Симона. Музыка также была призвана к участию в этом движении, к этой пропаганде «возвышенных чувств». Известно, что Лист и некоторые другие музыканты были увлечены теориями Сен-Симона.

Франц Лист, артист с огромным общественным темпераментом, выступал, как пианист-виртуоз; однако при помощи своего инструмента он выражал не индивидуалистические настроения, но призыв к общественному под'ему; с этим призывом он обращался к слушателям, которые также считали себя представителями единого третьего сословия. В этом лежал корень концертных восторгов того времени. В том же направлении работал и Берлиоз, который создавал монументальные оркестровые произведения общественно-героического склада; однако, музыка Берлиоза только с трудом понималась буржуазией.

Это героическое направление в музыке продолжалось вплоть до роковой даты 1848 года, когда раз-на-всегда была разбита иллюзия единства третьего сословия, когда для всех очевидной стали роль буржуазии, как эксплоататора и палача, и роль пролетариата, как будущего могильщика буржуазного общества. Индивидуалистическое направление в музыке представлено Шубертом, Шопеном и Шуманом. В особенности последний является ярким представителем романтической «грезы». Музыка Шумана является выражением протеста немецкой интеллигенции против затхлости немецкого провинциального быта, против тупости и филистерства буржуазного обывателя.

К романтикам-индивидуалистам примыкает отчасти Мендельсон, который, однако, в большинстве своих произведений является представителем чистого искусства и отражает в своей музыке спокойный эпикуреизм крупно-буржуазных кругов, к которым принадлежал и сам Мендельсон. По специфически-музыкальной одаренности Мендельсон вряд ли уступает Шуману и Вагнеру; но в то время, как названные музыканты производят музыку, полную глубокого идейного содержания, отражающую общественные волнения своего времени, Мендельсон с его «убежденным безразличием ко всему окружающему»—по выражению Гейне—представлял собою не обще-культурное, но чисто музыкальное явление. Поэтому музыка Мендельсона производила впечатление значительно менее яркое, нежели произведения Шумана и Вагнера, и в настоящее время совершенно устарела, тогда как произведения названных композиторов и в настоящее время производят огромное впечатление.

После 1848 года музыка романтиков все более проникается разочарованием, пессимизмом. Музыканты чувствуют себя чуждыми торжествующей буржуазии, хотя они не могут в то же время порвать с буржуазией и продолжают ее обслуживать; в музыке они ищут теперь как бы спасения от неприглядной действительности.

Как бы ни относился музыкант к побежденному пролетариату—враждебно, как Берлиоз, или с платоническим сочувствием, как Вагнер,—прежние отношения между артистом-романтиком и буржуазной публикой стали невозможными. Чуткий к переменам общественного настроения Лист это сразу понял и навсегда отказался от публичных выступлений в качестве виртуоза. После этого Лист всецело переходит к композиторской деятельности; но в его монументальных оркестровых произведениях чувствуется индивидуалистическая «греза» романтиков, окрашенная в тона пессимизма. В конце своей деятельности он определенно склоняется к мистике и клерикализму.

Рихард Вагнер до революции пытается в дрезденском придворном театре проводить свои идеи романтической музыкальной драмы. При этом он встречает тупое упорное противодействие бюрократов и, наконец, находит выход, примкнувши к революционному движению 1848 г.

После поражения революции он скитается в изгнании, обвиняемый не только в активном участии в вооруженном восстании, но даже «в поджоге дворца саксонского короля»[1]).

Совершенно не понимая политической обстановки, он со дня на день ожидает всеобщего революционного взрыва. Наконец, переворот Луи Бонапарта, произошедший как раз в тот момент, к которому Вагнер приурочивал свои ожидания революционного взрыва, приводит к решительному перелому в его мировоззрении.

«Известие о государственном перевороте 2 декабря в Париже,—пишет Вагнер,—в первую минуту показалось мне совершенно невероятным. Но когда это известие подтвердилось, когда, повидимому, надолго упрочилось то, что раньше казалось совершенно невозможным, я, словно от тайны, разгадка которой по-

[1]) Р. Вагнер, «Мемуары».

теряла в моих глазах всякую ценность, равнодушно отказался от желания понять весь этот загадочный мир»[1]).

С этого момента Вагнер все более склоняется к пессимизму, увлекается философией Шопенгауэра. В произведениях последнего периода, особенно в «Тристане» и «Парсифале», ярко отразился этот пессимизм. Музыка здесь становится изнеженно-декадентской, она проникается надрывом, нервозностью. Вагнер отдает себе полный отчет в том, что его опера, превратившаяся, согласно его же собственным словам, в «аллегорический сон», стремящаяся погрузить слушателя «в состояние, которое имеет существенное сходство с сомнамбулическим сновидением»—представляет только форму бегства от жизни, спасения от буржуазной действительности.

В своей брошюре «Представление мистерии «Парсифаль» в Байрейте в 1882 г.» Вагнер пишет:

«Да, моему дальнему бегству от мира «Парсифаль» обязан своим возникновением и ростом. Какой человек в состоянии в течение целой жизни с веселым сердцем и спокойным умом погружать свой взгляд в недра этого мира организованного убийства и грабежа, узаконенного ложью, обманом и лицемерием, и не бывает принужден порой отворачиваться с дрожью отвращения?»[2]).

Романтики были слишком тесно связаны с буржуазией; буржуазия была для них всем; после того как буржуазия стала откровенно реакционной, для романтиков не осталось ничего другого, кроме безысходного пессимизма.

X.

Основным формообразующим принципом в музыке XIX столетия является, как было уже сказано, понимание музыки с точки зрения композитора и связанное с этим свободное изложение музыкальных мыслей. Свободный полет воображения—характернейшая черта бетховенских композиций. Однако у Бетховена полет воображения приводит не к уничтожению стеснительной сонатной формы, но только к ее деформации. Бетховен раздвигает рамки сонатного allegro, наполняет их новым содержанием. Музыканты-романтики не могли ограничиться этим; они противопоставили кристаллизованным формам старых мастеров факт точного воспроизведения звуковой «грезы» в эмпирических звуках. Они показали, что музыкальное воображение может нарушать и даже вовсе упразднять музыкальные законы, установленные опытом многих поколений. Оно может игнорировать сложившиеся формы музыкально-прекрасного, может допускать запрещенные обычной теорией последовательности и созвучия,—и при этом все же музыкальное произведение по своему остается формально правильным, так как вместе с новым содержанием свободно создается воображением и новая форма. Новая, созданная воображением форма, также может закристаллизоваться в ряде определенных приемов, как закристаллизовались, например, лейтмотивы Вагнера. Не следует сказанного понимать в том смысле, что

[1]) «Мемуары».
[2]) Цит. по книге Ромэн Роллана: «Музыканты наших дней».

звуковая «греза» воспроизводится музыкантом с буквальной точностью. Она также подлежит мастерской обработке, но обработке в своем собственном стиле, а не в стиле танцовально-песенных форм прошлого.

У романтиков большое значение приобретает программная музыка. Название программности, живописности в музыке покрывает, собственно, не один стиль, но два совершенно различных стиля, имеющих различный «социологический эквивалент». В буквальном смысле программа, живопись звуками—это стиль буржуазной обывательщины, которая ожидает от искусства плоского безыдейного натурализма, а также развлечения посредством искусных звукоподражательных трюков. Но программная музыка романтиков носила совершенно другой характер. Программа здесь является выражением того, что музыкант не может ограничиваться областью чистых звуков; он ищет в звуках выражения всего того, что волнует общественного человека. Программа в этом смысле является только формой свободного течения музыкальных мыслей.

Новая точка зрения на музыку выдвинула в начале XIX века весьма важную проблему полного подчинения музыкантов исполнителей намерениям композитора. Такое подчинение непосредственно оказалось возможным только в инструментальной, но отнюдь не в вокальной музыке. Но это обстоятельство сразу же перенесло центр тяжести музыкального развития именно в музыку инструментальную. Инструментальная музыка, которая до тех пор имела значение только суррогата вокальной (итальянской оперы), экономически доступной лишь верхнему слою буржуазии, теперь получает преобладающее художественное значение. Наиболее гениальные произведения пишутся именно для оркестра.

Бетховен в своих произведениях трактует человеческий голос совершенно так же, как оркестровый инструмент, но в то же время он мало интересуется вокальной музыкой вследствие ее неподатливости порывам воображения. Наоборот, оркестр является вполне податливым аппаратом. Поэтому появляются заботы об усилении оркестра, об инструментальном колорите, об наилучшем использовании средств каждого инструмента.

Таким образом оркестр Бетховена, Берлиоза и Листа становится идеальным орудием для воспроизведения красочных музыкальных образов.

Точно также орган с его резким подчеркиванием диссонансов и вообще эмпирических шероховатостей звука оказался мало подходящим инструментом для музыки нового стиля. Поэтому орган немедленно же становится музейным инструментом (для светской музыки). Небывалое прежде значение в художественной музыке приобретает фортепиано, на котором акустическая резкость диссонансов скрадывается быстрым затуханием звуков. Фортепиано становится инструментом для выражения буржуазного индивидуализма. Стиль фортепьянной музыки определяется тем, что музыкант, не нуждаясь ни в чьем содействии, наедине с собою, может непосредственно воспроизводить звуковую «грезу».

Задачу подчинения вокальной музыки новому стилю, которая до тех пор была решена только в миниатюрных формах романса, в полной мере разрешает Рихард Вагнер, расширивший вместе с тем выразительные средства оркестра. Вагнер выступает

с теорией соединения искусств в музыкальной драме. Согласно этой теории, музыка является только средством выражения, а отнюдь не выражаемым предметом; вследствие этого композитор должен вполне подчиниться драматургу и стремиться только к тому, чтобы выражать музыкой перипетии драмы. Однако практика Вагнера не находится в согласии с его теорией, так как в его операх центр тяжести заключается в развертывании грандиозных музыкальных картин, для которых развитие драмы служит только иллюстрацией, имеющей второстепенное значение. Фактически реформа Вагнера сводится к подчинению не только оркестра, но и всего аппарата сцены «с ее капельмейстерами, тенорами и певицами» задаче воспроизведения грандиозной звуковой «грезы», которая в представлении Вагнера была неотделима от «грезы» поэтической. Композитор становится диктатором сцены. Артист-исполнитель должен был всецело подчиниться указаниям дирижерской палочки. Не только его голос трактован, как один из инструментов оркестра, но его жесты, мимика должны служить в качестве иллюстрации к музыке и для мотивировки музыкальных намерений композитора. Вагнер представляет собою вершину развития музыки капиталистической эпохи; после него начинается период упадка, отражающий собою распад буржуазной общественности под влиянием новейших форм развития капитализма.

XI.

Буржуазия во второй половине XIX столетия становится классом, достигшим вершины своего развития, но лишенным каких-либо перспектив и ожидающим в будущем только затруднений и полного крушения. Напуганная ростом сознательности и активности пролетариата, буржуазия спешит заключить союз с остатками аристократии, с которой она только что боролась и которую победила.

Эти консервативные тенденции, это отсутствие перспектив отражается и в музыке. Старые музыкальные формы получают неожиданную устойчивость. Музыка выразительная, идейно-содержательная становится антипатичной для буржуазных кругов. Все внимание переносится на форму, на стройность симметричных построений, на тончайшую отделку деталей. Возрождается культ старых музыкально-архитектурных построений; возникает мода на музыку нарочито архаизированную. Но это только одно из господствующих направлений в музыке.

В процессе капиталистического развития, на-ряду с промышленниками, банкирами, купцами, создаются кадры буржуа, вовсе оторванных от какой-либо хозяйственной деятельности и занятых исключительно вопросами потребления. Эти элементы быстро становятся пресыщенными, вырождающимися; между тем они «покровительствуют» искусству и оказывают на искусство значительное влияние, диктуя свои вкусы. Эти круги буржуазии, с их неустойчивой психологией, не удовлетворяются архитектоническими формами: здесь опять культивируют звуковую «грезу», которая окончательно становится чем-то бескровным и бестелесным. Композитор порывает с какими бы то ни было правилами построения музыкального произведения, даже с тематизмом; его

отдельное переживание, мимолетный каприз становятся для него законом. В результате получается как бы стиль звукового пуантелизма (Дебюсси). Титанизм, эмоциональность в музыке решительно отвергается, как демократическая грубость; идеалом становится упадочный «эстетизм». Все резкое тщательно изгоняется из музыки, как непереносимое для «утонченного» слуха; звук становится интимно-заглушенным; острота гармоний допускается в такой завуалированной, заглушенной форме. Главным достоинством музыки признается ее специальный характер, который делает ее доступной только для узкого круга эстетов.

Ход капиталистического развития весьма больно бьет мелкую буржуазию, а также аристократию, разоряя их, выбивая из привычной экономической колеи. Экономически погибающие классы и слои преисполнены, конечно, ненависти к капиталистическому развитию и к современности вообще. На этой почве возникает шумливый анархо-индивидуалистический бунт Рихарда Штрауса против капиталистической современности. Однако, музыка героического склада не под силу Рихарду Штраусу; он дает лишь псевдо-героизм, подточенный пессимизмом. Безысходный пессимизм является также настроением, характерным для слоев, разоряемых капиталистической конкуренцией.

Одновременно в музыке идет процесс «преодоления» пессимизма. Этот процесс сводится к тому, что музыкант стремится уйти в свою раковину, зарыться в свои личные переживания: занятия искусством становятся средством уйти от жизни, забыть о том, что существует неприятная капиталистическая действительность. Другое средство к «спасению» артист находит в мистицизме. Покуда жизнь еще тревожит артиста, его творчество проникнуто пессимизмом; только когда удается совершенно уйти в себя и в свои мистические переживания; когда удается найти в искусстве прочную скорлупу, хорошо защищающую от жизненных волнений—только тогда ноты пессимизма «преодолеваются». Тогда в музыке раздаются импульсивные мистические «призывы» (Скрябин), которые звучат, однако, откуда-то из глубины индивидуалистической раковины.

Такой род искусства также оказывается вполне приемлемым для меценатствующих кругов буржуазии. Музыканты-мистики, погружаясь в мир острых гармоний и судорожных ритмов, превращают музыку в наркоз, в опиум, который охотно гутируют эстетствующие «сливки» буржуазии.

Какое же из рассмотренных направлений в музыке является преобладающим?

В ходе развития музыки мистические «призывы» Скрябина являются только блестящим исключением; господствует же стремление к музыке технически-совершенной, но абсолютно бессодержательной в идейном смысле. Задачей музыканта по отношению к слушателям снова становится «приятно занимать технической законченностью». Сущность музыкального произведения сводится к игре звуками, к занимательной, но пустой игре гармониями, ритмами, красками оркестра, к игре, переходящей в трюки, посредством которых композитор демонстрирует свою виртуозность. Синтезом художественных достижений в данном направлении является гротеск, который и культивируется многими выдающимися музыкантами.

Психология современного «высоко-квалифицированного» музыканта определена этим спросом буржуазных кругов на «гротескную» музыку, а также бешеной конкуренцией, царящей как в промышленной жизни, так и в искусстве. Каждый автор стремится к внешней эффектности во что бы то ни стало; каждый автор стремится заострять гармонию на свой особый лад, кричать иначе, нежели другие, чем-то выделяться.

В общем и целом, в музыке происходит движение, обратное тому, которое происходило в ней, когда буржуазия не была еще откровенно реакционной. Мы знаем, что Бетховен, Шуман, Берлиоз, Лист, Вагнер боролись за приобщение музыки к общественному движению; теперь же музыканты стремятся уйти в специальную область звуков, подальше от идейного содержания.

Если гениальные мастера прошлого относились с пренебрежением к тому музыканту, который только музыкант, если они считали, что техническое мастерство тогда лишь вполне достигает своей цели, когда слушатель может о нем совершенно забыть, то в настоящее время техническое мастерство становится лозунгом, целью; слушатель, по мнению музыкантов, должен оценивать музыку именно с точки зрения технического мастерства. Это несомненно антиобщественная, реакционная тенденция в музыке.

Принято думать, что в области чисто технического совершенства, в особенности в области гармонических новшеств, музыка достигла за последний период огромных успехов. Однако и с этим мы не можем согласиться, потому что вне связи с идейным содержанием все эти успехи повисают в воздухе, потому что они могут быть интересными только для узкого круга специалистов. Это «музыка для музыкантов», а не музыка, имеющая общекультурное значение. Все такие чисто технические успехи в конечном счете являются мнимыми, так как они весьма быстро выходят в тираж, перестают производить впечатление, становятся устаревшими. В действительности справедливо лишь то, что развитие музыки приняло экстенсивный характер. Новоизобретенная область «звучаний» не разрабатывается сколько-нибудь обстоятельно и быстро бросается, так как конкуренция заставляет переходить к новым гармоническим «достижениям». К этому в полной мере применимы слова Плеханова, относящиеся к чисто техническому новаторству в живописи: «Тут с полной силой сказывается действие того психофизического закона, который гласит, что ощущение есть логарифм раздражения: чтобы усиливать эффекты,—а усиливать их художники вынуждаются взаимной конкуренцией,—необходимо все более увеличивать дозу парадоксальности и незаметно для себя вдаваться в карикатуру»[1]).

Этим и об'ясняется столь огорчающая музыкантов малая долговечность современных произведений. Нужно еще кое-что, кроме технического совершенства и специфически музыкальных «красот» для того, чтобы музыкальное произведение оказалось устойчивым и не устарело весьма быстро—оно должно быть сгустком общественной психологии, а не «музыкой для музыкантов». Новый и смелый гармонический оборот тогда только является жизненным, когда он психологически мотивирован, когда он найден, как

[1]) Плеханов, Пролетарское движение и буржуазное искусство.

средство для выражения некоторого острого жизненного импульса, т.-е. когда музыкальное новаторство является тем языком, посредством которого выражается новое идейное содержание.

Итак, несмотря на высокое мастерство, на изобилие блестящих по технике произведений, в музыке на-лицо острый кризис, обусловленный гниением буржуазного общества.

XII.

Завоевание власти пролетариатом неизбежно полагает предел только что рассмотренному направлению в музыке—бессодержательному буржуазно-аристократическому эстетизму—и выдвигает проблему создания музыки, понятной для миллионов. Пролетарская революция выбивает экономический базис из-под меценатствующих кругов, тем самым лишая их возможности оказывать влияние на развитие музыки, в то же время революция дает музыке нового массового слушателя. Между этими двумя моментами прямая причинная зависимость:—гибель эксплоататоров является условием культурного под'ема эксплоатируемых.

Культурная музыка, которая на всех этапах своего развития была достоянием привилегированного меньшинства, теперь должна будет заговорить языком, понятным для масс; тип буржуазного музыканта, срывающего аплодисменты в концертных залах и салонах, будет заменен культурным деятелем, увлекающим широкие народные аудитории, прорабатывающим вместе с массами область звуков.

Мы видели, что разложение буржуазного общества завело музыку в тупик. Только приход нового массового слушателя. только тяга широких пролетарских масс к культурной музыке могут вывести музыку из этого тупика. До сих пор композитор был вынужден писать с оглядкой на скучающего, пресыщенного эстета—большее несчастие для развития музыки трудно придумать. Между тем новый массовый слушатель с полною свежестью впечатления будет воспринимать те звуковые эффекты и гармонии, которые ничего кроме зевка и гримасы не вызовут у пресыщенных эстетов. Массовая народная аудитория—в первую очередь городская, пролетарская—проникнутая революционным энтузиазмом, с полной наивностью и непосредственностью реагирующая на новые для нее звуковые краски, будет значительно более интересной и для профессионального музыканта, нежели буржуазная «публика». Работать в контакте с массой для музыканта вовсе не значит идти в хвосте массы, потакать ее предрассудкам, но вести ее за собой к культурному под'ему, в то же время не отрываясь от массы, говоря понятным для нее языком.

Несомненно, образование массовой народной аудитории откроет в музыке новую эру, для которой все прежнее развитие музыки было только прологом. Но создание такой аудитории не может быть непосредственным результатом революции. Массовая тяга к художественной музыке явится только частным проявлением массовой тяги к овладению культурой; но культурный под'ем масс есть процесс более или менее длительный, и темп этого процесса определится степенью быстроты и успешности, с какой рабочая революция разрешит стоящие перед ней хозяйственно-экономические проблемы.

Поскольку рабочие уже сейчас знакомятся с художественной музыкой, интересуются ею, постольку опять возникает противоречие между содержанием и формой, которое должно будет привести к созданию новой формы.

К музыкальным произведениям рабочий подходит совсем не так, как подходит к ним буржуазный слушатель. Его не интересуют ни симметричные архитектонические построения, ни романтические «грезы».

Пролетарий хочет знаний, впечатлений. Его подход к музыке не только эмоционален, но познавательно-эмоционален. Он невольно задается вопросом—о чем говорит музыка, что хочет передать композитор. Рабочий слушатель невольно для себя драматизирует музыку: в звуках оркестра ему слышатся шествия, борьба, массовые сцены и т. п. Такова «манера слушать» пролетариата.

«Высоко-квалифицированный» профессионал скажет, что такой подход наивен. Он действительно наивен по отношению к таким произведениям, вся суть которых заключается в абсолютной беспредметности, которые представляют собою только технические достижения в области гармонических комплексов или архаизированных форм. Но наивно также воображать, что подобные произведения искусства являются вечными образцами. Нет основания думать, что характеризованный выше подход к музыке об'ясняется неопытностью слушателя, его малым развитием; нет основания думать, что, ближе познакомившись с музыкой, рабочий изменит свою «манеру слушать». Совершенно наоборот, по нашему глубокому убеждению, указанная черта в психологии массового слушателя и явится тем рычагом, который рано или поздно пересоздаст музыку как со стороны ее содержания, так и со стороны формы, поставит музыку на новые рельсы.

«Высоко-квалифицированные» профессионалы найдут, конечно, такое убеждение абсурдным, но мы можем напомнить, что те же «высоко-квалифицированные» профессионалы в свое время считали абсурдной музыкальную реформу флорентинцев-гомофонистов, а также Бетховена.

Во всяком случае сонатная и тому подобные архитектонические формы ничего не скажут воображению массового слушателя. Столь же чужда для масс звуковая «греза» буржуазного индивидуализма. По нашему убеждению, основным формообразующим принципом музыки для миллионов будет принцип жизненной правды в музыке, тот принцип, начатки проведения которого мы находим в музыке Мусоргского. При этом важнейшее приобретение капиталистической эпохи—форма создается воображением—сохраняется.

Программная музыка, освобожденная от суб'ективно-индивидуалистического характера, и являющаяся музыкальным выражением ярких жизненных впечатлений и социальных импульсов—таков, по нашему убеждению, тот стиль, который будет создан в процессе овладения пролетариата музыкальной культурой. Только такой стиль может обеспечить полное взаимное понимание между музыкантами и пролетарской аудиторией.

В результате указанного основного сдвига в музыке произойдут несомненно и многочисленные частные изменения, которые

можно предвидеть только в самых общих чертах. Так, можно с некоторою уверенностью сказать, что фортепьяно, как инструмент, наиболее приспособленный для выражения буржуазного индивидуализма, потеряет свое значение и будет сведен до роли простого педагогического пособия. Превосходная фортепьянная литература разделит судьбу превосходной органной литературы, т.-е. будет сдана в музей истории. В оркестровом исполнении исчезнет исключительное господство дирижерской палочки и получит преобладающее значение коллегиальность и т. п.

Несомненно, что через посредство радиоустановок и различных других способов крестьянство также будет знакомиться с городской музыкой. На этой почве возможен культурный блок пролетариата и крестьянства, как следствие их политического союза. Такой культурный блок явится уже некоторой ступенью к будущему бесклассовому обществу, и в этом смысле возможно говорить о всенародной музыке.

По поводу одной рецензии.

(Ответ т. Ленцнеру).

На рецензии не принято отвечать. Я вынужден отступить от этого обычая; и не только потому, что в своей заметке на мою книгу «Очерки по новейшей истории Германии» т. Ленцнер выдвинул против автора одно весьма серьезное и в то же время совершенно необоснованное обвинение. Разбор рецензии т. Ленцнера имеет общественно-политический интерес. Что это действительно так, я постараюсь сейчас показать.

Должен признать, что некоторые частные замечания тов. Ленцнера (вроде, напр., того, что следовало указать районы наибольшего влияния левого крыла германской социал-демократии) вполне справедливы, и за них можно быть только благодарными рецензенту. Некоторые другие основаны на чистейшем недоразумении. Так, тов. Ленцнер пишет: «Безусловно спорным является замечание т. Лукина о затишье в теоретической дискуссии после Дрезденского с'езда, которое якобы об'ясняется тем, что ревизионисты послушались совета Ауэра: «так делают, но не говорят». А дальше идет раз'яснение т. Ленцнера, что «затишья собственно не было. Дискуссия лишь перешла с общих вопросов на частные», что, выступая по вопросу о всеобщей стачке или бюджете, ревизионисты вовсе не прекращали своего идейного подкопа, что, чем ближе *к 1914 г.* (курсив мой. *Н. Л.*). тем тверже звучит их ревизионистский голос».

Во-первых, т. Ленцнер, если уже приводить чужое мнение, то надо приводить его т о ч н о, а не кастрировать по собственному усмотрению. Это—основное правило всякой научной критики, знакомство с которым, как будто, должно быть для будущего красного профессора обязательным. Что т. Ленцнер упростил и исказил мою мысль, с очевидностью явствует из соответствующего места книги. «После Дрезденского партейтага т е о р е т и ч е с к а я (курсив мой. *Н. Л.*) дискуссия между ревизионистами и ортодоксами в р е м е н н о (курсив мой. *Н. Л.*) замирает. Это об'ясняется ч а с т ь ю (курсив мой. *Н. Л.*) тем, что ревизионисты предпочли последовать совету Игнатия Ауэра, который писал как-то Бернштейну: «Дорогой Эди, ты—осел. Так д е л а ю т, но об этом не говорят». Они сделали из теории Бернштейна надлежащие практические выводы и руководились ими в своей повседневной работе, проводя, вопреки всем грозным резолюциям, новую тактику в жизнь там, где они были достаточно сильны. С д р у г о й с т о р о н ы (курсив мой. *Н. Л.*), как увидим ниже, с начала 900-х годов партия в целом, оставаясь

теоретически на прежних позициях, фактически все более и более переходила на рельсы оппортунизма, так что ревизионистам не было смысла снова заострять разногласия» (стр. 308).

Итак, вопреки т. Ленцнеру, я вовсе не утверждаю, что после Дрезденского с'езда споры ортодоксов с ревизионистами прекратились совсем, а прекратились лишь «временно». В дальнейшем я подробно останавливаюсь на новом идеологическом натиске ревизионистов, начавшемся в последние годы перед войной (статьи Фишера, Квесселя, Ротера, Кальвера; работа Гильдебранда о «Социалистической внешней политике» и т. д.) (см. стр. 308—314). Во-вторых, я говорил о временном затишье теоретической дискуссии, что отнюдь не опровергается наличием полемики по некоторым «частным», тактическим вопросам, о которых вспоминает т. Ленцнер. Кстати, в дальнейшем рецензент лишь повторяет на иной лад мое положение, когда пишет: «Бернштейн, который в первое пятилетие нового века был совершенно дискредитирован, стал быстро завоевывать авторитет на переваде от второго к третьему пятилетию».

В-третьих, из приведенного места моей книги видно, что временное затишье теоретической дискуссии я об'ясняю не только тем, что «ревизионисты послушались совета Ауэра», как это изображает мой критик. Как видит читатель, критические замечания т. Ленцнера направлены здесь просто не по адресу, а потому бьют мимо цели.

Не меньший конфуз получается с другим критическим замечанием т. Ленцнера. «История вопросов разногласий (? *Н. Л.*) о всеобщей стачке,—пишет он,—страдает некоторой неполнотой. По изложению т. Лукина можно понять, что Люксембург явилась первым теоритиком этого вопроса». И далее тов. Ленцнер любезно раз'ясняет мне, что вопрос о массовой стачке дебатировался уже летом 1905 г., что первой крупной работой по этому вопросу была книжка Роланд-Гольст (кстати сказать, члена голландской партии).

Что же в действительности сказано на этот счет у Лукина? На стр. 320 я говорю: «Опыт русской революции раньше всего был учтен левым крылом германской социал-демократии. Роза Люксембург явилась виднейшим теоретиком массовой стачки». А на стр. 347 говорится: «Идея массовой политической стачки нашла себе талантливого защитника в лице Розы Люксембург, которая и т. д.». Откуда же следует, что я считаю Р. Люксембург «первым» теоретиком этого вопроса, т. Ленцнер? Ясно, что ниоткуда.

Перехожу теперь к более существенным пунктам. «Книга,—пишет т. Ленцнер,—представляет очерки не только тем (почему? *Н. Л.*), что она охватывает не все стороны истории Германии, но и тем, что некоторые из них представляют компиляцию из общих работ. «Это утверждение, ставящее под сомнение научную ценность всей работы, в дальнейшем ровно ничем не обосновывается; рецензент не счел нужным даже указать, какие именно отделы книги являются «компиляцией общих работ».

Автору приходится поэтому прибегнуть к так называемому «методу остатков». Но прежде условимся, что такое компиляция. Под компилятивной обычно разумеют несамостоятельную работу,

представляющую простую сводку или популярный пересказ материала, имеющегося в литературе данного вопроса, без всякой самостоятельной обработки и без нового освещения. К какому же из шести очерков, на которые распадается книга, применима подобная характеристика? Надеюсь, не к очерку истории рабочего движения. Ведь не станет же т. Ленцнер отрицать, что до появления моей книги никакого марксистски выдержанного и основанного на изучении источников очерка истории германской социал-демократии (за последние 25 лет перед войной) попросту не было. То же относится и к отделам, трактующим о политической борьбе и внешней политике Германии. Если исключить очерк, посвященный характеристике государственного строя и политических партий, действительно, не содержащий какихлибо новых и оригинальных точек зрения и введенный лишь для лучшей ориентировки малоподготовленного читателя,—остаются два последних: «Общественный строй» и «Экономическое развитие Германии в конце XIX и начале XX в.».

Всякий читатель, знакомый хоть несколько с литературой вопроса, легко может убедиться, что очерк общественного строя составлен на основании самостоятельного изучения автором статистики германских переписей (Statistik des Deutschen Reichs); что путем известной группировки данных социальной, профессиональной и поимущественной статистики автору удалось установить приблизительную численность различных классов германского общества и их, так сказать, удельный вес в общей массе населения; что принятый автором метод совершенно иной, чем метод примененный Зомбартом в его «Экономическом развитии Германии в XIX веке» и т. д. и т. д.

Наконец, при составлении отдела, посвященного новейшему экономическому развитию Германии мною были использованы не только «общие работы» (Зомбарта, Лампрехта, Вальтерсгаузена, Гельфериха), но и ряд специальных, как, напр., Saitzew'a (Die Motorenstatisik), статьи в Weltwirtschaftliches Archiw, монографии Hausen'a и Hesse по вопросу о крупном землевладении в Пруссии и т. д. Если бы т. Ленцнер дал себе труд внимательно просмотреть этот первый очерк моей книги, он нашел бы в нем не мало цифрового материала, которого как раз не встретишь в общих работах по истории германского народного хозяйства. Излишне, наконец, отмечать, что взятые у буржуазных экономистов фактические данные сгруппированы мною совсем по иной, чем у Зомбарта или Вальтерсгаузена схеме, получили марксистское освещение и т. д. и т. д.

Или, быть может, мой строгий критик считает «компиляцией» вообще всякую работу, не основанную на самостоятельном изучении первоисточников? Но такое употребление термина было бы совершенно произвольно. По существу же замечу, что было бы, конечно, очень неплохо написать новейшую историю Германии исключительно на основании первоисточников, до архивных материалов включительно. Но для выполнения такой работы потребовалось бы не 6—7 месяцев, в течение которых была написана настоящая книга, а, по крайней мере, несколько лет. Думается, что т. Ленцнеру, специально занимающемуся историей германской социал-демократии, это должно быть понятно и без дальнейших раз'яснений.

Остается самый, что называется, «гвоздь» рецензии, где т. Ленцнер полемизирует с моим об'яснением социальных корней оппортунизма. Здесь автор обвиняется в двух смертных грехах: 1) недооценке влияния мелко-буржуазных элементов в партийной организации германской социал-демократии и 2) в умалении влияния академиков-оппортунистов.

Т. Ленцнер оспаривает мое **основное** положение, что по своему социальному составу германская социал-демократия была партией пролетарской, рабочей по преимуществу. «Нельзя,—пишет он,—признать методологически правильным рассуждение о степени влияния этих (мелко-буржуазных. *Н. Л.*) элементов в с.-д. путем анализа состава (? *Н. Л.*) **нескольких крупных городов**. Общеизвестно ведь, что **южно-немецкий оппортунизм** непосредственно об'ясняется социально-разжиженным составом южных организаций. Если бы автор проанализировал состав отдельных областей, то картина получилась бы далеко не везде такая, как в Лейпциге и Франкфурте с их 90% рабочих. Даже крупнейший город юга—Мюнхен (приводимый самим автором)—дает уже 1/4 непролетарских элементов. Во всей южной организации этот процент был еще выше».

Во-первых, т. Ленцнер, я привожу социальный состав партийной организации не просто «нескольких крупных городов», а городов нескольких **основных типов**. Так, у меня фигурируют четыре высоко-развитых промышленных центра—Лейпциг, одно из предместий Берлина и два фабричных города южной Германии (Нюрнберг и Оффенбах), где наемные рабочие составляли 91,8; 92,3; 87,8 и 92% всех членов партии; затем идет крупный **торговый** центр, но с слабо представленной индустрией (Франкфурт-на-Майне) с 94% рабочего элемента в организации; мелкобуржуазный Мюнхен с преобладанием ремесленной и мелкой промышленности вообще (77,4%) и, наконец, университетский, в промышленном отношении мертвый, городок Марбург, где рабочие элементы составляли 94,7% местной организации. Эти красноречивые цифры говорят сами за себя.

Употребленный здесь методологический прием я считаю правильным, потому что германская социал-демократия была партией не только **рабочей**, но и **городской** по преимуществу. Известно, что даже среди социал-демократических избирателей горожане составляли подавляющее большинство. Так, в 1912 году на города пришлось 74% всех подавших за с.-д. голосов, на деревню всего 7,7% и на поселки смешанного типа — 18,8%. Больший оппортунизм южан об'ясняется, главным образом, неразвитостью классовых отношений в южно-немецких государствах и погоней южных с.-д. за крестьянскими голосами на выборах. Однако хорошо известно, что южане так и не сумели завербовать сколько-нибудь значительные крестьянские массы хотя бы в качестве избирателей, не говоря уже о членах партии. Деревенские голоса, полученные с.-д. партией на выборах, приходятся, главным образом, на северо-восточные области с крупным землевладением и крупным хозяйством, где рабочую партию поддерживали батраки и деревенская беднота вообще. Конечно, было бы очень интересно проанализировать «состав отдельных областей» (грамотнее было бы сказать: «состав с.-д. организаций по отдельным областям»), как это любезно советует мне т. Ленц-

нер. Но все горе в том, что таких данных не было и нет ни в моем распоряжении, ни в распоряжении моего строгого критика. «По всей южной организации этот процент (мелко-буржуазных элементов. *Н. Л.*) был еще выше» (чем в Мюнхене), авторитетно заявляет т. Ленцнер.—Весьма возможно, но на каком основании вы это утверждаете? где цифры? Их у вас нет, т. Ленцнер, как не было и у т. Зиновьева, который впервые поставил со всею остротою вопрос о социальных корнях оппортунизма.

Теперь об «академиках». «Кому не известно,—пишет т. Ленцнер,—что на рубеже XX века, в связи с «кризисом в марксизме» остро стал вопрос об «академиках», как социальном слое, проводящем буржуазное влияние на пролетариат?» Да, было время, т. Ленцнер, когда даже левое крыло международной социал-демократии недооценивало рабочей аристократии и бюрократии, как источников оппортунизма, а потому, несомненно, переоценивало роль академиков-ревизионистов. Только в эпоху мировой войны и революции русские большевики (Ленин, Зиновьев, Бухарин) поставили здесь точки над і и не побоялись открыто заявить, что главного корня оппортунизма надо искать именно в рабочей аристократии и бюрократии (не только в Англии, но и в других передовых странах) [1]).

Т. Ленцнер говорит об академиках-ревизионистах, как о «социальном слое, непосредственно отражавшем и проводившем влияние мелко-буржуазных попутчиков». Социальный слой! Это слишком громко сказано, т. Ленцнер. Сухая, но неумолимая статистика красноречиво говорит, что «академики» были в германской партии одиночками, «белыми воронами»: % «академиков» (интеллигенции) и крупно-буржуазных элементов в организациях колебался от 0,3 до 1%. В Мюнхене на 6.784 членов местной организации «академиков» и крупно-буржуазных элементов насчитывалось всего 63; в Лейпциге на 1.679 членов—всего 15 человек. В университетском городе Марбурге в организацию входил всего один интеллигент!

В-третьих, т. Ленцнер думает убить меня окончательно ссылкой на то, что при расколе, «который произошел после войны в немецкой социал-демократии, в рядах компартии «академиков» из с.-д. партии можно было пересчитать по пальцам, ибо все они остались в рядах националистической с.-д.». Ну, а много ли перешло в компартию из рабочих вождей, из рабочей партийной и профессиональной бюрократии, т. Ленцнер? Пожалуй, еще меньше, чем из «академиков». «Указанные замечания ни в малой мере, конечно, не отрицают того, что основным источником оппортунизма была рабочая аристократия и бюрократия», спешит оговорится рецензент. Это—правильно, т. Ленцнер. Имен-

---

[1]) Особенно подробно вопрос о социальных корнях оппортунизма был рассмотрен в книге тов. Зиновьева «Война и кризис социализма». Тов. Зиновьев здесь очень далек от того, чтобы искать бацилл оппортунизма преимущественно в мелко-буржуазных и академических элементах партии. Все же влияние мелко-буржуазных элементов в партии им, как нам кажется, преувеличено. В этом я расхожусь с тов. Зиновьевым, о чем и говорил в предисловии. Повторять то же самое в соответствующей главе я считал излишним: тот, кто читал и Зиновьева, и мою книгу, легко сообразит, в чем мы расходимся.

но-это я и старался обосновать в своей книге. Но разве не ясно, что своими критическими замечаниями вы подрываете (хотя и неудачно) этот тезис?

Строгая критика—вещь хорошая, но строгое отношение к авторам еще не избавляет рецензентов от еще более строгого отношения к самим себе, от обязанности не искажать мысли противника, не бросать серьезных обвинений без всяких доказательств, не отделываться от трудных проблем легковесными аргументами.

Пора же, наконец, понять,—а будущим красным профессорам, да еще выступающим в научном марксистском органе, особенно,—что писание рецензий—не просто упражнение в хлесткости стиля, а серьезное и ответственное общественное дело.

Н. Лукин-Антонов.

БИБЛИОГРАФИЯ.

II. Библиография о Гегеле и Марксе[1]).

(Содержание: I. Алфавитный Указатель: а) Маркс и Энгельс, б) Ленин, в) Плеханов, г) Другие авторы. II. Предметный указатель).

Материал второй библиографической сводки, посвященной вопросу о взаимоотношении между идеалистической и материалистической диалектикой, сведен в два указателя: алфавитный и предметный.

В алфавитном указателе мы сочли полезным на первое место выделить произведения Маркса, Энгельса, Ленина и Плеханова ввиду того исключительного значения, какое они имеют в деле разработки, истолкования и применения материалистической диалектики.

Ввиду обилия различных переизданий названных четырех авторов[2]), дабы не загромождать настоящую работу излишними библиографическими данными, ссылки делаются либо по собранию сочинений, либо по тому или иному одному отдельному изданию—в том случае, когда данное произведение не вошло еще в состав собрания сочинений.

1. Алфавитный указатель.

а) Маркс и Энгельс.

1. Маркс, К. К критике гегелевской философии права. Маркс и Энгельс. Сочинения. Под редакцией Д. Рязанова. Гиз. 1923, т. I, стр. 365—381.

2. Маркс, К. Замечания на постановления 3-х министров цензуры от 21 января 1843 г. касательно «Рейнской цензуры». Гиз., см. стр. 459.
См. Примечания Рязанова. Там же, стр. 543—545.

3. Маркс, К. Святое семейство, или Критика критической критики.
См. Маркс и Энгельс. Литературное наследство пер. под. редакцией Л. Аксельрод, В. Засулич и Д. Кольцова. Изд. «Освобождение труда» 1908, т. II, стр. 185, 207, 212, 215—216, 329, 345.

4. Маркс, К. Нищета философии. Перевод В. Засулич. Гиз. 1922. См. стр. 102—111.

---

[1]) См. «Под Знаменем Марксизма» 1925 г., № 8—9.

[2]) Библиография изданий соч. Маркса и Энгельса дана в работе: Б. Шнеерсона. Опыт библиографии произведений Маркса и Энгельса в русских переводах изд. «Красная Новь». М. 1924. Стр. 186.—Сводка произведений Ленина, посвященных диалектическому материализму, дана в ст. Я. Розанова: «Ленин как теоретик исторического материализма». Жур. «Коммунар». Киев 1924. № 7, стр. 34—38.—Библиографию о Плеханове см. В. Ваганян. Опыт библиографии Г. В. Плеханова. М. Гиз. 1923. Стр. 116 и его же: Дополнение к «Опыту библиографии Г. В. Плеханова». «Под Знаменем Марксизма». 1923. № 6, Стр. 267—270. Я. Розанов. Систематическая библиография о Плеханове. см. Плехановская хрестоматия. Под редакцией Г. Маренко. Госуд. изд-во Украины. К. 1925. Стр. 515—528. То же отд. оттиск. К. 1925. Стр. 16.

5. Маркс, К. К критике политической экономии. 4-е изд., дополненное статьей К. Маркса: «Введение к критике политической экономии». Изд. «Московский Рабочий». М. 1922, см. стр. 24—25, 38.

6. Маркс, К. Капитал, т. I. Пер. под общей редакцией Д. Рязанова и И. Степанова. Гиз. 1923. (Институт К. Маркса и Ф. Энгельса). См. стр. XVII—XVIII. (Предисловие написано в 1873 г.).

7. Маркс, К. Письма.

См. Маркс и Энгельс. Письма, пер. под ред. В. Адоратского. Изд. «Московский Рабочий». М. 1923.

См. следующие письма:

Энгельсу от 14 января 1858 г., стр. 70—71.

Энгельсу от 1 февраля 1858 г., стр. 95—97.

Лассалю от 22 февраля 1858 г., стр. 70.

Энгельсу от 9 декабря 1861 г., стр. 101.

Энгельсу от 11 января 1868 г., стр. 183.

Энгельсу от 7 июля 1866 г., стр. 203.

Энгельсу от 22 июня 1867 г., стр. 142—144.

Энгельсу от 4 октября 1868 г., стр. 167.

Энгельсу от 7 ноября 1868 г., стр. 168.

Энгельсу от 15 апреля 1869 г., стр. 190—191.

8. Маркс, К. и Энгельс, Ф. Святой Макс (Критика учения Штирнера), пер. с нем. под. ред. и вступит. ст. «Социальная философия Штирнера» Б. Гимельфарба. М. Гиз. 1920, см. стр. 118, 138—150, 155, 172, 222.

9. Маркс, К. и Энгельс, Ф. Л. Фейербах (Идеалистическая точка зрения). (Из «Немецкой идеологии»). «Архив К. Маркса и Ф. Энгельса». Под редакцией Д. Рязанова. Книга первая. Гиз. М. 1924, см. стр. 212—214, 228.

10. Энгельс, Ф. Статьи 1839—1844 г.г.

Маркс и Энгельс. Сочинения. Под редакцией Д. Рязанова, т. II. Гиз. 1923.

См. ст.: Ретроградные знамения времени, стр. 58—63.

Эрнст Мориц Арндт, стр. 95—98.

Шеллинг о Гегеле, стр. 116—125.

Шеллинг и откровение, стр. 126—188.

Дневник вольнослушателя, стр. 222—224.

Александр Юнг и «Молодая Германия», стр. 233—243.

Германия и Швейцария, стр. 298—300.

Письмо Вильгельму Греберу (13 ноября 1839 г.), стр. 488—489.

Письмо Фридриху Греберу (9 декабря 1839 г.), стр. 492—493.

Библии чудесное избавление от дерзкого покушения, стр. 508—512, 516, 534—537.

См. в этом же томе: Примечания Рязанова к перечисленным статьям, стр. 556—557, 560, 561—576.

11. Энгельс, Ф. Карл Маркс. Критика политической экономии. «Под Знаменем Марксизма» 1923 г., № 2—3, см. стр. 52—56.

12. Энгельс, Ф. Крестьянская война в Германии, пер. с нем. Г. Котляра, под ред. А. Финна-Енотаевского. П. Гиз. 1921.

См. Предисловие.

13. Энгельс, Ф. Диалектика природы. Под редакцией и с предисловием Д. Рязанова. «Архив К. Маркса и Ф. Энгельса». Книга вторая. Гиз. 1925 г., стр. 5—389 (немецкий и русский текст. Впервые публикуется). О Гегеле см. Указатель имен. См. рец. П. Сапожникова. «Большевик». 1925 г., № 16, стр. 83—99. М. Яблонский. «Коммунистический Интернационал». 1925, № 9, стр. 207—210.

14. Энгельс, Ф. Анти-Дюринг. (Переворот в науке, произведенный г. Евгением Дюрингом.) Пер. с нем., 3-е изд., исправленное М. Е. Ландау. Изд. «Московский Рабочий». М. 1923. См. предисловие к трем изданиям. Введение и отдел первый. Философия, 13—166 стр. Особенно стр. 19—21, 28—34, 40, 44—45, 55—57, 62—63, 70, 79, 137—166.

Отрывок (стр. 28—35) под названием: «Диалектика и метафизика», напеч. в «Научном Обозрении». 1897. V.

15. Энгельс, Ф. Людвиг Фейербах. (От классического идеализма к диалектическому материализму.) Перевод с предисловием и примечаниями Г. В. Плеханова. Изд. «Красная Новь». М. 1923 г., см. стр. 29—71.

16. Энгельс, Ф. Письма.

См. Маркс и Энгельс. Письма, пер. под ред. В. Адоратского. Изд. «Московский Рабочий». М. 1923.

См. след. письма:

Марксу от 14 июля 1858 г., стр. 72—73.

Ланге от 29 марта 1866 г., стр. 120.

Марксу от 16 июня 1867 г., стр. 141—142.

К. Шмидту от 1 ноября 1891 г., стр. 293—295.

Марксу от 6 ноября 1868 г., стр. 167.

Марксу от 30 мая 1873 г., стр. 229—230.

б) Ленин и диалектика.

17. Ленин, Н. Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов. (Ответ на статьи «Русского Богатства» против марксистов.) Собр. соч. Гиз. 1924, т. I, стр. 91—101.

18. Ленин, Н. Фридрих Энгельс, см. сборник его статей: «Маркс. Энгельс. Марксизм». Гиз. Л. Изд. Института Ленина при ЦК РКП (б). 1925 г., стр. 34—35.

19. Ленин, Н. Шаг вперед, два шага назад. Собр. соч. 1923 г., т. V. «Нечто о диалектике», стр. 478—483.

20. Ленин, Н. Две тактики социал-демократии в демократической революции. Собр. соч. Гиз. 1924 г., т. VI, стр. 324.

21. Ленин, Н. Предисловие ко 2-му изданию: «Развития капитализма в России». Собр. соч., т. III. Гиз. 1923 г., стр. 10. (Против Плехановского растворения конкретных особенностей в абстрактных формулах.)

22. Ленин, Н. Марксизм и ревизионизм. Собр. соч. Гиз. 1924 г., т. XI, ч. 1, стр. 55.

23. Ленин, Н. Материализм и эмпириокритицизм. Критические заметки об одной реакционной теории. Собр. соч., т. X. 1923 г., стр. 54, 77, 78, 101, 110, 157, 188—189, 193, 285—286, 207, 219, 222, 260—261.

24. Ленин, Н. Об отношении рабочей партии к религии. Собр. соч. Гиз. 1923, т. XI, ч. 1, стр. 254.

25. Ленин, Н. Три источника и три составные части марксизма. Собр. соч. Гиз. 1924, т. XII, ч. 2, стр. 55—56.

26. Ленин, Н. Карл Маркс. Собр. соч. Гиз. 1924 г., т. XII, ч. 2, стр. 321—323.

27. Ленин, Н. Крах II Интернационала. Собр. соч. Гиз. 1924, т. XIII, стр. 143. (Софистика Плеханова, вместо диалектики.)

28. Ленин, Н. Еще раз о профсоюзах, о текущем моменте и об ошибках т.т. Троцкого и Бухарина. Собр. соч., т. XVIII, ч. 1, стр. 50—60.

29. Ленин, Н. О значении воинствующего материализма. «Под Знаменем Марксизма» 1922, № 3, стр. 10.

30. Ленин, Н. О нашей революции. Собр. соч. Гиз. 1923 г., т. XVIII, ч. 2, стр. 117.

31. Ленин, Н. Конспект «Науки логики» Гегеля. «Под Знаменем Марксизма» 1925, № 1—2, стр. 7—33.

32. Ленин, Н. К вопросу о диалектике. «Большевик» 1925, № 5—6, стр. 101—105. Тоже перепечат. в «Под Знаменем Марксизма» 1925, № 5—6, стр. 14—18. (Там же предисловие А. Деборина, стр. 5—13.)

33. Теория и практика диалектического материализма в избранных отрывках из произведений В. И. Ленина.

Составил и снабдил примечаниями Гр. Баммель. Изд. Коммунистической Академии. М. 1924, стр. 658. См. в предметном указателе (стр. 628). «Диалектика» и в именном (стр. 635) «Гегель».

34. Ленин, Н. О диалектическом методе. С предисловием и обзором литературы К. Грасиса. ГИУ. 1925 г. (Собр. отрывков из Ленина). См. рец. И. Луппола «Под Знам. Марксизма». 1925. № 7, стр. 222—226.

в) Плеханов о диалектике.

35. Плеханов, Г. В. Новый защитник самодержавия или горе г. Л. Тихомирова. Сочинения, под ред. Д. Рязанова, т. III. Гиз. 1923, см. стр. 47—55.

36. Плеханов, Г. В. К шестидесятой годовщине смерти Гегеля. Сочинения, под ред. Д. Рязанова. Гиз. 1923, т. VII, см. стр. 33—59.

37. Плеханов, Г. В. Примечания к русскому переводу «Л. Фейербаха» Ф. Энгельса. Сочинения, под ред. Д. Рязанова. Гиз. 1923 г., т. VIII, стр. 360—378.

38. Плеханов, Г. В. К вопросу о развитии монистического взгляда на историю. Сочинения, под ред. Д. Рязанова. Гиз. 1923, т. VII, см. стр. 116—155, 249—256, 285—291, 297—313 (гл. IV. Идеалистическая немецкая философия, гл. V. Современный материализм. Заключение. Приложение I. Еще раз Михайловский, еще раз «триада». Приложение II. Ответ критикам).

39. Плеханов, Г. В. Очерки по истории материализма. Сочинения, под ред. Д. Рязанова. Гиз. 1923, т. VII, см. «Маркс», стр. 125—146, 160.

40. Плеханов, Г. В. Судьбы русской критики. (Волынский «Русские критики».) Сочинения, под ред. Д. Рязанова. Гиз. 1924, см. стр. 165—197.

41. Плеханов, Г. В. Белинский и разумная действительность. «Новое Слово». 1897. VI. VIII.

42. Плеханов, Г. В. Литературные взгляды Белинского. «Новое Слово». 1897. X. XI.

43. Плеханов, Г. В. В. Г. Белинский (речь). «Работник». 1899. V, VI.

44. Плеханов, Г. В. Cant против Канта или Духовное завещание г. Бернштейна. (Э. Бернштейн. Исторический материализм, пер. Л. Канцель, 2-е изд. СПБ. 1901.)

Сочинения. Под ред. Д. Рязанова. Гиз. 1923, т. XI, стр. 36—44.

45. Плеханов, Г. В. О книге Масарика «Философские и социологические основания марксизма». Пер. с нем. П. Николаева. М. 1900. Сочинения. Под ред. Д. Рязанова. Гиз. 1923, т. XI, стр. 370—378.

46. Плеханов, Г. В. Г-н П. Струве в роли критика марксовой теории общественного развития. Сочинения, под ред. Д. Рязанова. Гиз. 1923, т. XI. Статья первая, стр. 166, 179—182. Статья третья, стр. 241—253, 269—270.

47. Плеханов, Г. В. Предисловие к переводу «Развитие научного социализма» Ф. Энгельса. Сочинения, под ред. Д. Рязанова. Гиз. 1923, т. XI, стр. 78—80.

48. Плеханов, Г. В. Предисловие ко 2-му изданию брошюры Ф. Энгельса: «Людвиг Фейербах». Сочинения, под ред. Д. Рязанова. Гиз. 1925, т. XVIII, стр. 261—273.

49. Плеханов, Г. В. Философская эволюция Маркса. Посмертная рукопись. С предисловием Л. Аксельрод (Ортодокс). Сборник № 2. Группа «Освобождение труда». Гиз. 1924, см. стр. 8—21. Тоже вошла в XVIII т. Собр. соч. Плеханова, под ред. Д. Рязанова. Гиз. 1925, стр. 323—334.

50. Плеханов, Г. В. Иосиф Дицген. Сочинения, под ред. Д. Рязанова. Гиз. 1925, т. XVIII, стр. 274—292. (По поводу книги Э. Унтерман, А. Лабриола и И. Дицген, пер. с немецкого П. Дауге, СПБ. 1907. И. Дицген. Завоевание (Аквизит) философии и письма о логике; специально демократическая логика; пер. с нем. СПБ. 1906 г.)

51. Плеханов, Г. В. Основные вопросы марксизма. Сочинения, под ред. Д. Рязанова. Гиз. 1925, т. XVIII, стр. 182—191, 199—203, 240—242.

52. Плеханов, Г. В. Идеология мещанина нашего времени. Сочинения, под ред. Д. Рязанова. Гиз. 1925, т. XIV, стр. 286—288, 303—304, 311—313, 338—339. (По поводу «Истории русской общественной мысли» Иванова-Разумника.)

53. Плеханов, Г. В. В. Г. Белинский «История русской литературы XIX в.», т. II. Изд. «Мир». 1909.

54. Плеханов, Г. В. О Белинском. «Соврем. Мир». 1910. V. VI.

55. Плеханов, Г. В. Н. Г. Чернышевский. Сочинения. Под ред. Д. Рязанова. Гиз. 1924, т. V, стр. 15—19, 28—29, 53—55, 91—93, 150—151, 190—191, 225—232, 332—334; т. VI, стр. 260, 271—276, 293—300, 339, 401—403.

56. Плеханов, Г. В. В. Белинский и В. Майков. «Современный Мир». 1911. V.

Статьи вышли отдельным сборником: Г. В. Плеханов. В. Г. Белинский, под ред. В. Ваганяна. Гиз. 1923, стр. 1—323.

Кроме того статьи вошли в X т. Сочинений, под ред. Д. Рязанова. Гиз. 1924.

57. Плеханов, Г. В. Скептицизм в философии. (Р. Рихтер). Скептицизм в философии, т. I, пер. с нем. В. Базарова и Б. Столпнера. СПБ. 1910. Сочинения, под ред. Д. Рязанова. Гиз. 1925, т. XVII, стр. 167—168.

58. Плеханов, Г. В. Философские взгляды А. И. Герцена. См. сборник статей Плеханова: «А. И. Герцен». С предисловием В. Ваганяна. Гиз. М. 1924, стр. 138—207. (Вперв. в «Современ. Мире». 1912. №№ 3 и 4.)

59. Плеханов, Г. В. От идеализма к материализму. (Гегель и левые гегельянцы. Давид-Фридрих Штраус.—Братья Бруно и Эдгар Бауэры, Фейербах.)

Сочинения, под ред. Д. Рязанова. Гиз. 1925, т. XVIII, стр. 133—181.

60. Плеханов, Г. В. Плохая диалектика. «Современный Мир». 1917, II—III, стр. 240—247.

61. Плеханов, Г. В. «Буки-Аз-Ба». Газета «Наше единство». 11 января 1918 г., № 11. То же перепечатано в его сборнике: «Год на родине». Париж 1920, т. II.

Об этой ст. см. у Ваганяна в его рецензии на этот сборник. «Красная Новь». 1921 г., № 3, стр. 350.

62. Плехановская хрестоматия. Пособие к изучению исторического материализма, под ред. Г. Маренко. ГИУ. Киев 1925, См. гл. «Диалектика», стр. 35—47. «Диалектический идеализм», стр. 99—150.

г) Другие авторы.

63. Адлер, М. Маркс как мыслитель. Перев. со 2-го переработанного нем. изд. В. Н. Розанова, с предисловием проф. М. В. Серебрякова. Изд. «Книга». Л.—М. 1924.

См. гл. III. Истинное в Гегелевской философии.

IV. Маркс и Гегель, стр. 36—59. См. рец. Н. Карева «Под Знаменем Марксизма». 1924, № 8—9, стр. 238—385.

64. Адлер, М. Энгельс как мыслитель, пер. с немецк. С. И. Цедербаума. С предисловием проф. М. В. Серебрякова. Изд. «Книга». Л.—М. 1924. См. стр. 27—41, 55—90.

См. рец. Н. Карева: «Под Знаменем Марксизма» 1924, № 10—11, стр. 251—253.

65. Адлер, М. Марксизм как пролетарское мировоззрение. Пер. с нем. ГИУ. 1923. То же изд. «Книга» М.—П. 1923.

См. гл. V. Диалектика и классовая борьба, стр. 33—39.

См. рец. Ст. Кривцова: «Под Знаменем Марксизма» 1923, X, стр. 258—260.

66. Адлер, Фридрих. Диалектический материализм и эмпириокритицизм. (Ф. Энгельс и естествознание.) См. «Исторический материализм». Сборник статей, составленный С. Ю. Семковским. 1-е изд. СПБ. 1908, стр. 351—377 и 5-е изд. Гиз. 1924.

67. Адоратский, В. Марксистская диалектика в произведениях Ленина, «Печ. и Рев.» 1922, № 2.

То же перепеч. в его книжке: «О теории и практике ленинизма». Изд. «Красная Новь» 1924, стр. 7—24.

68. Адоратский, В. Метод диалектического материализма. См. Маркс и Энгельс. Письма. Изд. «Московский Рабочий». М. 1923, стр. XVIII—XI.

69. Адоратский, В. Научный коммунизм Карла Маркса. Изд. «Красная Новь». М. 1923.

См. гл. III. Метод диалектического материализма, стр. 41—77.

70. Айнзафт, С. Диалектика в марксизме и теория равновесия т. Бухарина. «Октябрь мысли». 1924, III—IV, V—VI.

71. Аксельрод, Л. (Ортодокс). Теория стоимости и диалектический материализм. (К 40-летию «Капитала» 1867—1907.)

См. ее сборник: «Против идеализма». Гиз. 2-е изд. 1924, стр. 130—144. Впервые напеч. в «Соврем. Мире» 1908, № 1.

72. Аксельрод, Л. (Ортодокс). К. Маркс и немецкая классическая философия.

См. сборник ее статей: «Против идеализма». 2-е изд. Гиз. 1924, стр. 92—104. (Впервые напеч. в сб. «На очереди». СПБ. 1908.)

73. Аксельрод, Л. (Ортодокс). Действенность и диалектика в философии К. Маркса. «Вестник Социалист. Академии». 1923, № 4.

Названные статьи перепечатаны также в сборн. ее статей: «Маркс как философ». Изд. «Путь Просвещения». Харьков 1924.

74. Аксельрод, Л. (Ортодокс). Предисловие к посмертной рукописи Г. В. Плеханова: «Философская эволюция Маркса». Сборник № 2. Группа «Освобождение Труда». Гиз. 1924, стр. 5—8.

75. Аксельрод, Л. И. (Ортодокс). Критика основ буржуазного эствоведения и исторический материализм. Изд. «Основа», 1925, Ива--Вознесенск. См. стр. 25—27. (Впервые в «Красной Нови» за 1923 г.)
76. Асмус, В. Ф. Диалектический материализм и логика. Очерк итня диалектического метода в новейшей философии от Канта до иил. Изд. «Сорабкоп». Киев 1924, стр. 225.
См. особенно гл. VI. Гегель, стр. 121—173. VII. Диалектический ›д Маркса и Энгельса, стр. 174—217. См. рец. Н. Карева. «Под Знам Марксизма» 1925, № 3, стр. 247—252. Гр. Баммеля. «Печ. и › 1925, № 6, стр. 439—441.
77. Алексеев, Н. Н. Науки общественные и естественные во моотношении их методов. Очерки по истории и методологии общеиных наук. Ч. I. Механическая теория общества. Исторический мазлизм. М. 1912, стр. 270. То же в «Ученых Записках Московского верситета» за 1912 г., см. Гегель, стр. 112—135. «Разложение филоии Гегеля», стр. 139—160. «Различные направления в среде левых лианцев», стр. 161—213.
«Исторический материализм и немецкий идеализм», стр. 263—270.
78. Баммель, Гр. У истоков марксизма. «Печать и Революция». I, III, стр. 48—65. (По поводу I т. «Сочинений Маркса и Энгельса», ред. Д. Рязанова, изд. Института Маркса и Энгельса.)
79. Баммель, Гр. Философский метод Ленина и некоторые черты)еменного ревизионизма.
«Воинствующий материалист» 1925, № 2, стр. 226—261. (Против ача и др.)
80. Баскин, М. и Чудиовцев, М. Систематическая хрестоматия марксизму, т. I. Предшественники марксизма. Изд. «Пролетарий». 5, см. «Гегель», стр. 101—114.
«Фейербах и Гегель», стр. 117—121. (Отрывки из Плеханова, Денина, Аксельрод и др.).
81. Бер, М. Карл Маркс, его жизнь и учение, перев. с 4-го нем. М. Е. Ландау. Гиз. 1923, см. гл. 2. Научная заслуга Гегеля, стр. 10—31, гл. 3. Значение младо-гегельянцев, 32—35.
82. Бердяев, Н. Катехизис марксизма. «Вопросы Жизни», 1905, II. То же перепечатано в его сборн.: «Sub specie aeternitatis. Опыты ософские, социальные и литературные 1900—1906». СПБ. 1907, изд. Пирожкова. (По поводу «Анти-Дюринга» Ф. Энгельса.)
83. Берлин, П. К вопросу о значении философии Гегеля для овных положений марксизма. «Жизнь» 1900, № 8, стр. 121—143.
84. Берлин, П. К генезису материалистического понимания истории.)разование» 1904, XI, см. стр. 32—37.
85. Берлин, П. А. Очерки общественной жизни и мысли в Герии. 2-е пересмотренное изд. «Буревестник». Ростов на-Дону. Екатерновар. 1924, см. стр. 194—202.
То же, под названием: «Германия накануне революции». СПБ. 1906, . Г. Львовича.
То же, впервые в «Образовании». 1905, под назв. «Очерки по исто› немецкой интеллигенции».
86. Берлин, П. А. Карл Маркс и его время. Предисловие Н. Н. пова. Изд. «Красная Новь». М. 1923, стр. 37—45, 55—60.
То же, изд. «Польза». 1908 г.
То же, изд. «Книга». 1918 г.
То же, впервые в «Образовании». 1907 г.

87. Берман, Я. Диалектика в свете современной теории познания. М. «Московское Книгоиздательство». 1908, стр. 236.

Содержание:

I. Диалектика у Маркса, Энгельса и Дицгена.

II. Диалектика у Гегеля.

III. Исходные пункты Гегелевской и современной философии.

IV. Диалектические схемы.

V. Диалектика и эволюция.

Критику см. у А. Деборина: «Введение в философию диалектического материализма». Гиз. 3-е изд. 1924, стр. 241—250.

Отрывок из этой работы под заглавием: «Диалектика» напеч. в сборнике: «Очерки по философии марксизма», изд. «Зерно». СПБ. 1908.

88. Бернштейн, Э. Исторический материализм, пер. Л. Канцель. СПБ. 1901, изд. «Знание», см. гл. II. Марксизм и Гегелевская диалектика, стр. 35—64.

См. критику у:

1) Плеханова: Cant против Канта или Духовное завещание г. Бернштейна, т. XI.

2) Меринга: «О теории и практике марксизма». Изд. «Основа». 1924,

3) Каутский. Анти-Бернштейн. Гиз. 1923.

89. Б—ий, Н. Нечто о диалектическом методе. «Русское Богатство». 1895, № 4. (По поводу «Анти-Дюринга» Ф. Энгельса.)

90. Блонский, П. П. Современная философия, ч. I. М. 1918, изд. «Русск. Книжник». См. гл. II. Диалектический материализм, стр. 3—19.

91. Богданов, А. Философия живого опыта. Гиз. М. 1920, см. гл. V. Диалектический материализм, стр. 168—207.

То же, изд. Семенова. СПБ. 1912.

То же, изд. «Книга». М. 1923, см. рец. Ольгина «Современный Мир». 1913, IX.

92. Бухарин, Н. Теория исторического материализма. М. Гиз. 1924 г.

См. рец. и статьи:

1) Сарабьянова: «Диалектика и формальная логика». «Под Знаменем Марксизма» 1922, III.

2) Плехановец. Заметки читателя. «Под Знам. Маркс.» 1922, XI—XII.

3) С. Гоникмана. Диалектика т. Бухарина. «Под Знам. Марк.» 1922, III.

4) Айнзафт, С. Диалектика в марксизме и теория равновесия т. Бухарина. «Октябрь мысли» 1924, №№ 3—4, 5—6.

См. отв. Бухарина: «По скучной дороге». «Красная Новь» 1923, I.

93. Быстрянский, В. Ленин как материалист диалектик. Изд. «Прибой». Л. 1925, стр. 294. См. гл. VI. Диалектика, стр. 134—184.

94. Быховский, Б. Материализм и диалектика в творчестве В. И. Ленина. «Под Знам. Маркс.» 1924, № 2, стр. 240—255.

95. В. В. Очерки современных направлений. Экономический материализм на русской почве. «Новое Слово» 1895, № 2 (ноябрь), стр. 100—135. (По поводу «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю» Н. Бельтова (Плеханова).

96. Вайнштейн, И. Диалектика как революционная логика. «Под Знаменем Марксизма» 1925, № 7, стр. 31—45.

97. Вайнштейн, И. Организационный опыт, или «преодоление философии». «Вестник Коммунист. Академии». 1925, № 12, стр. 174—207.

98. Варьяш, А. Формальная и диалектическая логика. «Под Знаменем Марксизма» 1923, VI—VII, стр. 207—227. (См. критику у Н. Ка-

рева: «О том, с чем не следует соединять марксизм». «Под Знаменем Марксизма» 1924, XII.)

99. Варьяш, А. История философии и марксистская философия истории. (Доклад в Коммунист. Академии 10/VI, 1924.)

«Вестник Коммунистической Академии» 1924, № 9, стр. 253—342.

См. критику у К. Милонова: «Об одном новейшем перевороте». «Воинствующий материалист» 1924. Сборник № 1.

100. Варьяш, А. По поводу одного «новейшего переворота». «Воинствующий материалист» 1925, № 3, стр. 297—316.

(Ответ на ст. К. Милонова: «Об одном новейшем перевороте».) См. новый ответ К. Милонова: «О неудаче, о производительных силах, о «лагере», обскурантах и о законах, а также о Канте, Гегеле и Варьяше». Там же, стр. 317—322.

101. Варьяш, А. О том, как не надо писать критику. «Под Знаменем Марксизма» 1925, № 5—6, стр. 215—237.

(Ответ на ст. Н. Карева: «О том, с чем не следует соединять марксизм». «Под Знаменем Марксизма» 1924 г., № 12).

102. Виппер, Р. Последняя философия прогресса единого человечества. См. его книгу: «Общественные учения и исторические теории в XIX в.». СПБ. 1900. Тоже 2-е изд. 1908, стр. 174—193.

102a. Вишневский, А. В защиту материалистической диалектики. «Под Знаменем Марксизма» 1925, № 8—9.

103. Вольтман, Л. Исторический материализм. Изложение и критика марксистского миросозерцания, пер. с нем. под ред. М. Филиппова. Изд. Зябицкого и Пятина. СПБ. 1901.

См. ч. I, гл. IV. Абсолютный идеализм Гегеля, стр. 85—93. Ч. II, гл. 1. Расчеты с Гегелем и Фейербахом, стр. 105—123.

104. Вольфсон, С. Я. Диалектический материализм. Изд. 3-е. «Белтрестпечать». Минск 1923. См. с. II, гл. IV. Диалектика, стр. 102—114.

105. Вышинский, А. Очерки по истории коммунизма. Гиз. 1925, ч. II-я—см. стр. 37—47.

106. Гельфонд, И. Философия Дицгена и современный позитивизм. См. «Философский Сборник. Очерки по философии марксизма». М. Изд. «Звено». 1910, стр. 243—290.

107. Гоникман, С. Учение Гегеля о «действительности». «Под Знаменем Марксизма» 1924, № 1, стр. 81—91, № 3, стр. 24—36.

(См. возражение Карева: «О действительном и недействительном изучении Гегеля», ответ Гоникмана в ст. «Ревизор». «Под Знаменем Марксизма» 1924, № 10—11, стр. 213—221, и новое возражение Карева в ст.« О «новой эре» в философской критике». Там же, стр. 222—229.)

108. Горев, Б. Материализм—философия пролетариата. 4-е доп. изд. «Московский Рабочий». М. 1924 г., см. Приложение: «Диалектика и наука», стр. 123—131. (Впервые напеч. в «Молодой Гвардии» 1923, № 1, стр. 80—86.)

109. Горев, Б. Очерки исторического материализма. Лекции, читанные на курсах секретарей уездных комитетов РКП весною 1924 года. Изд. «Пролетарий» 1925 г.

См. Лекция 3-я: «Диалектика и диалектический метод», стр. 58—83.

110. Гурев, Г. А. Дарвинизм и марксизм. Изд. «Гомельский Рабочий». Гомель 1924, см. гл. VI. Диалектика—учение о развитии, стр. 231—261.

111. Деборин, А. Введение в философию диалектического материализма. С предисловием Г. В. Плеханова. 3-е изд. Гиз. 1924.

См. гл. VII. Диалектический метод и диалектический материализм, стр. 206—240. (Вперв. в сборн. «На Рубеже». СПБ. 1909). Гл. VIII. Еще о диалектике, стр. 241—250 (против «Диалектики в свете современной теории познания» Я. Бермана). Вперв. в «Совр. Мире» 1910, № 7. Гл. XI. Диалектический материализм и эмпириосимволизм, стр. 320—335 (против книги П. Юшкевича: «Материализм и критический реализм». Впервые печ. в «Совр. Мире» 1908, № 10.)

112. Деборин, А. Людвиг Фейербах. Личность и мировоззрение. Изд. «Материалист». М. 1923, см. гл. I. Фейербах, как человек и мыслитель, стр. 3—86.

(То же в виде предисловия к I т. Сочинений Л. Фейербаха. Гиз. 1923.) Гл. II. Критика идеализма. Стр. 86—112.

(То же в виде предисловия к «Принципам материалистической теории познания». М. Изд. «Материалист», 1923. То же «Под Знаменем Марксизма 1922, № 7—8.)

113. Деборин, А. Ленин как мыслитель, 2-е дополненное изд. Гиз. 1925.

I. Ленин—воинствующий материалист (впервые печ. в «Под Знаменем Марксизма» 1924, стр. 22—31.)

II. Ленин—революционный диалектик (впервые печ. в сборнике № 2 «Воинствующий материалист». Фрагмент: «Тождество противоположностей» в «Под Знаменем Марксизма» 1925. № 5—6, под названием «Ленин о сущности диалектики»), см. стр. 52—93.

III. Ленин и современная эпоха, см. стр. 95—98, 103—105. (Впервые в «Под Знам. Марксизма» 1924, № 6—7.)

114. Деборин, А. Маркс и Гегель. «Под Знаменем Марксизма». 1923, № 8—9, стр. 5—20, № 10, стр. 5—17, 1924, № 3, стр. 6—23.

115. Деборин, А. Очерки по истории диалектики. Очерк первый. Диалектика у Канта. Архив К. Маркса и Ф. Энгельса. Под редакцией Д. Рязанова. Книга первая. Гиз. М. 1924, стр. 13—75.

116. Деборин, А. Диалектика в системе Фихте. «Вестник Социалистической Академии». 1923, № 3, стр. 28—57.

117. Деборин, А. Г. Лукач и его критика марксизма. «Под Знаменем Марксизма» 1924, № 6—7, стр. 49—69.

То же отд. изд. «Материалист». М. 1924, стр. 45.

118. Деборин, А. Вступительные замечания к конспекту «Науки логики» Н. Ленина. «Под Знам. Маркс.» 1925, № 2, стр. 3—5.

119. Деборин, А. О статье Лассаля. «Под Знаменем Марксизма» 1925, № 4, стр. 5—10 (по поводу ст. Ф. Лассаля «Логика Гегеля и логика Розенкранца и систематическое основание Гегелевской философии истории»).

120. Дейч, Л. Письмо (шестое) В. И. Засулич. Группа «Освобождение Труда». Сборник № 2. Гиз. 1924, стр. 246—247.

121. Делевский, Ю. Диалектика и математика. «Русское Богатство» 1902, VI. То же отд. изд. «Труд и Борьба». СПБ. 1906.

122. Дингельштедт, Ф. Диалектический материализм. Под ред. В. Юринца. Изд. «Буревестник» 1925 г., см. стр. 7—18, 23—24, 27—29.

123. Дитякин, В. Диалектический метод в работах Ленина по экономике. «Вестник Социалистической Академии» 1923, № 6, стр. 76—106.

124. Дицген, И. Философия социал-демократии. Сборник мелких философских статей, перев. с немецк., под ред. П. Когана, изд. С. Скирмунта. М. 1907.

См. «Границы познания», стр. 145—155. «Экскурсия социалиста в область теории познания». IV. Дарвин и Гегель, стр. 217—243 (послед-

ний отрывок перепечатан в сборнике: «Дарвинизм и марксизм», под ред. Равич-Черкасского. ГИУ. 1925). Вторая статья в целом вышла двумя отд. изд.: 1) П. Дауге. СПБ. 1907, 2) «Правда». Киев 1907.

125. Дицген, И. Сущность головной работы человека, пер. с нем., под ред. П. Дауге. М. Изд. П. Дауге, 1907.

126. Житловский, X. Материализм и диалектическая наука. Москва 1907.

127. Жуковский, Ю. Карл Маркс и его книга о капитале. «Вестник Европы» 1877, IX. См. стр. 67—70. Критику см. у Н. Зибера в «Отечественных Записках» 1877, XI.

128. Звенигородцев, Н. Учение Маркса о понятии. «Под Знам. Марксизма» 1922, XI—XII, стр. 43—60.

129. Звенигородцев, Н. Ленин и диалектика. «Под Знаменем Марксизма» 1924, № 8—9, стр. 32—50.

130. Зелигман, Э. Экономическое понимание истории. Перев. с англ. Б. Смирнова. СПБ. Изд. «Просвещение» 1907, стр. 8—10.

131. Зибер, Н. Несколько замечаний по поводу статьи г. Ю. Жуковского: «Карл Маркс и его книга о капитале». «Отечественные Записки» 1877, XI. См. отд. «Современное Обозрение», стр. 8—11.

132. Зибер, Н. Диалектика в ее применении к науке. «Слово» 1879, XI. (То же перепеч. под назван.: «К характеристике Е. Дюринга» во II т. Собр. его соч. «Право и политическая экономия». СПБ. 1900, гл. X, стр. 718—778). (Представляет изложение «Анти-Дюринга» Энгельса.)

133. Зомбарт, В. Ф. Энгельс, Харьков. ГИУ. 1923, стр. 15—23. То же, изд. Петросовета, 1918. То же изд. «Колокол» 1908 г.

134. К. Рецензия на «Философию и марксизм» К. Корша. «Большевик» 1924, № 7—8, стр. 117—119.

135 Карев, Н. Маркс и Гегель. Библиография.

«Архив К. Маркса и Ф. Энгельса». Под ред. Д. Рязанова. Книга первая. Гиз. М. 1924, стр. 455—461.

136. Карев, Н. О действительном и недействительном изучении Гегеля. «Под Знаменем Марксизма» 1924, № 4—5, стр. 239—255. (По поводу ст. С. Гоникмана: «Учение Гегеля о действительности»).

137. Карев, Н. О «новой эре» в философской критике. «Под Знаменем Марксизма» 1924, № 10—11, стр. 222—229. (Ответ на ст. Гоникмана: «Ревизор», представляющую ответ на первую ст. Карева: «О действительном и недействительном изучении Гегеля».)

138. Карев, Н. Рецеиз. на книжку: «Маркс как мыслитель» М. Адлера. Изд. «Книга» 1924. «Под Знам. Маркс.» 1924, № 8—9, стр. 283—285.

139. Карев, Н. Рец. на книжку: «Энгельс как мыслитель» М. Адлера. Изд. «Книга» 1924. «Под Зн. Маркс.» 1924, № 10—11, стр. 251—253.

140. Карев, Н. О том, с чем не следует соединять марксизм. «Под Знаменем Марксизма» 1924, № 12. См. гл. III. «Математика и диалектика», стр. 59—71.

(О ст. Варьяша: «Формальная и диалектическая логика»).

141. Карев, Н. Рец. на книгу В. Ф. Асмуса: «Диалектический материализм и логика». Киев 1924 г. «Под Знаменем Марксизма» 1925, № 3, стр. 247—252.

142. Карев, Н. Хождение по мукам философской критики. «Под Знаменем Марксизма» 1925, № 5—6, стр. 238—264.

(Отв. на ст. Варьяша: «О том, как не надо писать критику». Там же, стр. 215—237).

142а. Карев, Н. Проблема философии в марксизме. П. з. м., № 8—9, 1925, стр. 5—43.

143. Кареев, Н. И. Критика экономического материализма. (Старые и новые этюды.) СПБ. 1913. Изд. «Прометей».

См. III. Происхождение и содержание экономического материализма, как исторической теории.

IV. Исторические воззрения Маркса и Энгельса, стр. 15—55.

IX. Экономический материализм в «Монистическом взгляде на историю» г. Бельтова, стр. 150—153.

X. Отношение к эконом. материализму критиков г.г. Струве и Бельтова, стр. 168—182, 186—188.

144. Каутский, К. К критике теории и практики марксизма («Анти-Бернштейн»), пер. с немецк. С. А. Алексеева. Гиз. 1923 и ряд друг. изд. 1905, см. гл. «Диалектика», стр. 54—74.

145. Ковалевский, М. Две жизни. (Маркс и Спенсер). «Вестник Европы» 1909, № 7. (Окончание см. стр. 21—22.)

То же повторено в его ст.: «Мое научное и литературное скитальчество» «Русская Мысль» 1895, № 1, стр. 72. Об этом см. у Д. Рязанова: «Очерки по истории марксизма», стр. 42.

146. Коган, П. Очерки по истории западно-европейских литератур. М. Изд. 5-е, 1912, стр. 274—278.

147. Корнилов, К. Диалектический метод в психологии. «Под Знаменем Марксизма» 1924, № 1, стр. 107—113. (Вошла в его сборник: «Современная психология и марксизм». 2-е изд. ГИЗ. 1925 г.).

148. Корш, К. Марксизм и философия. Пер. с нем., под ред. и с предисл. Гр. Баммеля, изд. «Октябрь Мысли». М. 1924, стр. 89.

Тоже пер. К. И. Цедербаум. Изд. «Книга» 1924, стр. 91.

См. критические отзывы: 1) А. Т. в «Под Знам. Маркс.» 1924, № 4—5. 2) Фогарази: «Вестник Соц. Академии» 1923, стр. 412—416. 3) К. «Большевик» 1924, № 7—8.

149. Кунов, Г. Философия истории и государства Гегеля. (Из его: «Die Marxsche Geschichts-, Gesellschafts- und Staatstheorie»). См. «История философии в марксистском освещении», сост. Б. Столпнер и П. Юшкевич. М. Изд. «Мир». 1924, т. II, стр. 169—188.

150. Лабриола, Антонио. Исторический материализм и философия. (Письма к Сорелю). Пер. с франц. СПБ. Изд. Зябицкого и Пятина. 1900. См. стр. 28—35, 53—54, 59—63.

151. Лассаль, Ф. Философия Фихте и значение немецкого народного духа. Сочинения. М. т. III. Изд. «Круг». 1925, стр. 5—32.

То же. Изд. Н. Глаголева. СПБ. 1906 г.

152. Лассаль, Ф. Система приобретенных прав. (В изложении и извлечениях Э. Бернштейна.) Сочинения. Изд. «Круг». М. 1925, т. III, см. стр. 231—234, 348—360. То же изд. Н. Глаголева. СПБ. 1905.

153. Лассаль, Ф. Логика Гегеля и логика Розенкранца и систематическое основание Гегелевой философии истории, пер. И. Румера. «Под Знаменем Марксизма» 1925, № 4, стр. 11—37. (О ней см. А. Деборина: «О статье Лассаля», там же, стр. 5—10.)

154. Луппол, И. Кант или Маркс. (K. Vorländer. Kant und Marx. 1911. K. Vorländer. Kant, Fichte, Hegel und der Sozialismus. 1920. K. Vorländer. Marx, Engels und Lassalle als Philosophen. 1921).

«Архив К. Маркса и Ф. Энгельса». Под редакцией Д. Рязанова. Книга первая. Гиз. М. 1924, стр. 462—469.

155. Луппол, И. Диалектика диалектики, или казус, приключившийся с философией марксизма в СССР в лето от Октябрьской революции восьмое.

«Воинствующий материалист» 1925, № 4, стр. 39—47.

(По поводу предисловия С. Ю. Семковского к его: «Этюдам по философии марксизма». Гиз. 1924).

156. Луппол, И. На всякого мудреца довольно простоты. (По поводу «Письма в редакции» И. Разумовского.) «Под Знаменем Марксизма» 1925, № 4, стр. 220—225.

157. Луппол, И. Рец. на книжку: «Н. Ленин». О диалектическом методе, составл. К. Грасисом. «Под Знаменем Марксизма» 1925, № 7, стр. 222—226.

158. Лукач, Г. Материализация и пролетарское сознание. «Вестник Социал. Академии» 1923, № 5, стр. 110—120. № 6, стр. 116—185.

159. Лукач, Г. Литературное наследие Лассаля. (F. Lassalle. Nachgelassene Schriften und Briefe. Bd. I—IV, 1921—1923.)

«Вестник Коммунистической Академии» 1924, № 7, стр. 402—412. № 8, стр. 366—372.

160. Майер, Густав. Молодые годы Фридриха Энгельса (1820—1851). В сокращенном изложении Л. И. Раевского. Гиз. 1924, см. гл. III. Среди младогегельянцев в Берлине, стр. 26—39.

161. Масарик, Т. Философские и социологические основания марксизма, пер. с немецкого П. Николаева. М. Изд. К. Солдатенкова. 1900, стр. 535.

См. А. Научное и философское развитие Маркса, стр. 17—41.

В. Историзм Маркса — материалистическая диалектика, стр. 41—49.

С. Позитивный материализм Маркса. 50—82, а также стр. 142—150.

Критику см.: 1) Г. В. Плеханова. О книге Масарика. Сочинения, т. XI, стр. 370—378.

162. Меринг, Ф. История германской социал-демократии, пер. с нем. М. Е. Ландау. С предисл. И. Степанова. 2-е издание. Гиз. 1923, т. I. См. стр. 66—72, 113—124, 148—160; т. II, стр. 234—241, 249—251, 219—226. (О влиянии Гегеля на Лассаля.)

163. Меринг, Ф. Об историческом материализме. Изд. «Красная Новь». М. 1923, см. стр. 15—18.

164. Меринг, Ф. Введение к «Литературному наследству» Маркса и Энгельса.

См. Маркс и Энгельс. Литературное наследство, пер. с нем. Е. Гурвич и М. Лунц, изд. «Мир». М. 1907, т. I, стр. 165—166, 168—171, 298—309.

165. Меринг, Ф. О теории и практике марксизма. Изд. «Основа». Иваново-Вознесенск 1924, см. стр. 20—33. (Против Бернштейна.)

166. Меринг, Ф. Карл Маркс. История его жизни, перев. З. Венгеровой. Гиз. П. 1920, см. стр. 8—58, 88—90, 101—105.

167. Меринг, Ф. К. Маркс и младогегельянцы. «Под Знам. Марксизма» 1923, № 2—3, стр. 63—68.

168. Механистическое естествознание и диалектический материализм. Дискуссионный сборник о книжке Степанова «Современное естествознание и исторический материализм». Изд. НИТ'а. Вологда. «Северный Печатник» 1925, стр 82.

(Речи Степанова, Тимирязева, Левина, Боричевского, Боссе, Перова, Тер-Оганесова, Понятского и Местергази.

169. Милонов, К. Об одном новейшем перевороте. «Воинствующий материалист». 1924. № 1, стр. 106—125 (по поводу доклада А. Варьяша: «История философии и марксистская философия истории»).

170. Милонов, К. Рец. на статью: «Marx als Mathematiker» Varias'a.

«Под Знаменем Марксизма» 1924, № 8—9, стр. 299—301, см. ответ Варьяша: «Ответ т. Милонову», «Под Знаменем Марксизма» 1924, № 12, стр. 283—291.

171. Милонов, К. Ответ на ответ. «Под Знаменем Марксизма» 1925, № 1—2, стр. 226—236. (Возражение на ст. А. Варьяша: «Ответ Милонову».)

172. Милонов, К. Конкретность истины. «Воинствующий материалист» 1925, № 3, стр. 31—53.

173. Милонов, К. Необходим ли нам Гегель. «Под Знаменем Марксизма» 1925. № 7, стр. 46—67.

174. Михайловский, Н. Карл Маркс перед судом г-на Ю. Жуковского.

Собр. соч. СПБ. 1897, т. IV, см. стр. 177—187. (Впервые в «Отечественных Записках» 1877, Октябрь.)

175. Михайловский, Н. К. Н. И. Зибер.—Письмо К. Маркса.— Собр. соч. СПБ. 1909, т. VII, см. стр. 321—328, 1892, VI.

176. Михайловский, Н. К. Гегелизм и гальванизм. О диалектическом развитии и тройственных формулах прогресса. (Впервые в «Русском Богатстве» 1894. II. Собр. соч. СПБ. 1909, т. VII, стр. 758—780).

177. Михайловский, Н. К. О г. П. Струве и его «Критических заметках по вопросу об экономическом развитии России». Собр. соч. СПБ. 1909, т. VII, стр. 885—924. (Впервые в «Русском Богатстве». 1894. X.)

178. Михайловский, Н. К. «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю» Н. Бельтова. Собр. соч. СПБ. 1914, т. VIII, см. стр. 17—36. (Впервые в «Русском Богатстве» 1895.)

179. Мякотин, В. Новые слова о старых деятелях. «Русское Богатство» 1897, XI. См. стр. 104—112 (По поводу ст. Плеханова (Н. Каменского): Судьбы русской критики.)

180. Н. Г. Материализм и деалектическая логика. «Русское Богатство» 1898, №№ 6 и 7 (см. ответ Н. Х. Опровергнута ли диалектика. «Научное Обозрение» 1898, XI. Плеханова в предисловии ко 2-му рус. изд. «Л. Фейербаха» Энгельса).

См. Плеханов. Сочинения, т. XVIII, стр. 263—272.

181. Н. Х. Опровергнута ли диалектика. «Научное Обозрение» 1898, XI.

«Критика ст. Г. Н. «Материализм и диалектическая логика»).

182. Нечкина, М. Гегельянская «окаменелость». (В связи с книгой Л. Троцкого: «1905 год».) («Казанский Библиофил» 1923, № 4, стр. 20—30.

183. Николаев, П. Одна из гипотез о сущности исторического процесса «Русская Мысль» 1891, V, VI, за подписью П. Ф. Н. (Перепечатана в его книге: «Активный прогресс и экономический материализм». М., изд. К. Солдатенкова. 1892, см. стр. 119—121).

184. Орлов, И. Логика формальная, естественно-научная и диалектика. «Под Знаменем Марксизма». 1924. № 6—7, стр. 69—90.

185. Орлов, И. Математика и марксизм. «Под Знаменем Марксизма» 1924, № 12, стр. 86—99.

186. Орлов, И. Диалектика эксперимента. «Вестник Социалистической Академии» 1925, № 6, стр. 107—115.

187. Паннекук, А. Роль и значение философских трудов И. Дицгена.

См. Дицген. Сущность головной работы человека, пер. с нем. под ред. П. Дауге. М., изд. П. Дауге. 1907. См. стр. 13—19.

188. Попов-Подольский, М. Пробный камень диалектики. «Коммунистическая мысль» 1923, XII, стр. 31—45.

189. Разумовский, И. Курс теории исторического материализма. Гиз. М. 1924 г.

См. гл. Материалистическая диалектика, стр. 58—62, 73—95.

См. гл. Очерк развития теории, стр. 236—240.

См. критич. отзыв у И. Луппола: «О новом учебнике по историческому материализму». «Под Знаменем Марксизма» 1924, № 12, стр. 103—107, ответ И. Разумовского в этом же жур. 1925, № 4, стр. 215—219 и там же контр-ответ Луппола, стр. 220—225.

190. Разумовский, И. Письмо в редакцию. «Под Знаменем Марксима» 1925, № 4, стр. 215—219. (Ответ на ст. И. Луппола: «О новом учебнике по историческому материализму».)

191. Раппопорт, Х. Философия истории в ее главнейших течениях. Изд. Ф. Павленкова. СПБ. 1898. См. стр. 38—39, 147—164.

192. Рейснер, М. А. Государство и общество. «Итоги Науки». Изд. «Мир». 1914, т. XI, стр. 185—190.

193. Рожицын, В. Гегель и Фейербах о религии. Гиз. 1925 стр. 99.

194. Рожицын, В. Людвиг Фейербах и христианство. Сборник «Памяти Людвига Фейербаха». Харьков, 2-е изд. ГИУ. 1922. См. «Преодоление философии Гегеля», стр. 116—122.

195. Рожков, Н. Основы научной философии. СПБ. 1911, стр. 32—36.

196. Рохкин, Г. Л. Фейербах и К. Маркс. Сборник «Памяти Людвига Фейербаха». Харьков. 2-е изд. ГИУ. 1922, см. стр. 41—74.

197. Рудаш, Л. Против новейшей ревизии марксизма. Сборник статей. Изд. «Коммунистической Академии». М. 1925. См. ст. «Коммунистическая» ревизия марксизма, стр. 44—176. Впервые печ. в «Вестнике Коммунистической Академии» 1925, №№ 8, 9 и 10.

198. Рудиянский, С. Беседы по философии материализма. Пер. с польского, под ред. и с примечаниями Л. И. Аксельрод (Ортодокс) с пред. С. Ю. Семковского. Гиз. 1924. См. Беседу пятую. — «Все движется», стр. 72—91.

199. Рязанов, Д. Маркс и Энгельс. Изд. «Московский Рабочий» М. 1923, стр. 62—66.

200. Рязанов, Д. Очерки по истории марксизма. Изд. «Московский Рабочий». М. 1923. См. гл. «От классической немецкой философии к коммунизму» (1844—1845), стр. 36—43, 46—48.

201. Рязанов, Д. Примечания к «Статьям 1839—1844» Ф. Энгельса.

См. Маркс и Энгельс. Сочинения. Под редакцией Д. Рязанова, т. I. 1923, стр. 556—557, 560—576.

202. Рязанов, Д. Примечания к «Критике гегелевской философии права» Маркса. Маркс и Энгельс. Сочинения. Под ред. Д. Рязанова, т. I. Гиз. 1923, стр. 543—545.

203. Рязанов, Д. Предисловие к «Диалектике природы» Ф. Энгельса.

Архив К. Маркса и Ф. Энгельса. Под редакцией Д. Рязанова. Книга вторая. Гиз. 1925, стр. IX—XXXII.

204. Самойлов, А. Детская болезнь «левизны» в материализме. Изд. «Прибой». Л. 1925, см. гл. IV. Философия и марксизм, стр. 58—7

205. Сапожников, П. Новая победа диалектического материализма (Архив К. Маркса и Ф. Энгельса под. ред. Д. Рязанова. Книга

вторая. Гиз. 1925, стр. 504 XXXII.) «Большевик» 1925 г. № 16, стр. 83—99.

206. Сарабьянов, В. Диалектика и формальная логика. «Под Знаменем Марксизма» 1922, № 3. (По поводу «Теории исторического материализма» Н. Бухарина).

См. отв. Н. Бухарина: «По скучной дороге». «Красная Новь» 1923, 1.

207. Сарабьянов, В. Диалектика. «Знамя Коммунизма» 1922, IX—X.

208. Сарабьянов, В. Исторический материализм. Изд. 5-е, изд. «Московский Рабочий». М. 1923, стр. 109—119, 145—162.

209. Сарабьянов, В. Плеханов-философ. «Спутник Коммуниста» 1923, № 24, см. стр. 162—171.

210. Сарабьянов, В. Основное в едином научном мировоззрении. Изд. «Пролетарий» 1925. См. гл. III. Диалектика, стр. 81—125.

211. Семковский, С. Марксистская хрестоматия. 4-е исправленное и значительно дополненное изд. ГИУ. Харьков 1924. См. отд. пятый: «Диалектика», стр. 515—592. (Отрывки из Маркса, Энгельса, Гегеля, Плеханова, Ленина и др.)

212. Семковский, С. Апостол воинствующего материализма. Сборник «Памяти Людвига Фейербаха» (1872—1922) ГИУ. Харьков. 2-е изд. 1922. См. «Гегель и Фейербах», стр. 16—23. То же в его «Этюдах по философии марксизма». Гиз. М. 1925.

213. Спарго, Джон. Карл Маркс. Жизнь и деятельность. Перевод И. Д. Маркусона. Предисловие проф. В. В. Святловского. Изд. «Мысль». Л. 1924, см. гл. III. Младогегельянцы, стр. 37—48.

214. Серебряков, М. В. Ранняя юность Фридриха Энгельса. «Записки научного общества марксистов». П. Гиз. 1922, № 2, см. стр. 28—30, № 3, см. стр. 24—26.

215. Серебряков, М. В. Фридрих Энгельс и младогегельянцы. «Записки научного общества марксистов». П. Гиз. 1923, № 1 (5), стр. 93—125. № 6 (2), стр. 3—58.

216. Сретенский, Н. Людвиг Фейербах (1872—1922). «Красная Новь» 1922, VI (ноябрь—декабрь), стр. 211—236.

217. Стеклов, Ю. Г. Чернышевский, его жизнь и деятельность. СПБ. 1909, см. стр. 45—71.

218. Степанов, И. Исторический материализм и современное естествознание. М. Гиз. 1924, стр. 82.

См. рец. А. Вишневский. «Под Знаменем Марксизма» 1924, № 12, стр. 307—314. Я. Стэн. «Большевик» 1924, № 11.

219. Степанов, И. Диалектическое понимание природы—механистическое понимание. «Под Знаменем Марксизма» 1925, № 3, стр. 205—238. (Ответ т.т. А. Вишневскому и Я. Стэну.)

219а. Степанов, И. Энгельс и механистическое понимание природы. «Под Знаменем Марксизма» 1925, № 8—9.

220. Столпнер, Б. и Юшкевич, П. История философии в марксистском освещении. (Хрестоматия). Изд. «Мир». М. 1924, ч. II. См. стр. 133—190 (Отрывки о Гегеле из Маркса, Энгельса, Плеханова и Кунова.)

220а. Струве, П. Марксова теория социального развития. Пер. с нем. Б. Яковенко. Киев. Изд. Б. Яковенко и М. Власенко. 1906. Стр. 62.

221. Стэн, Ян. Об ошибках Гортера и тов. Степанова. «Большевик» 1924, № 11, стр. 82—89. (По поводу 2-го изд. «Исторического материализма» Г. Гортера, под ред. и предисл. И. Степанова.)

222. Стэн, Ян. О том, как тов. Степанов заблудился среди нескольких цитат из Маркса и Энгельса. «Большевик» 1924, № 15—16, стр. 115—127.

223. Стэн, Ян. Наша партия и вопросы теории. «Большевик» 1924, № 12—13, стр. 10—16. (Против Лукача и др.)

224. Степанов, И. О моих ошибках, «открытых и исправленных» тов. Стэном. «Большевик» 1924, № 14, стр. 82—90.

225. Т. А. Марксизм и философия. «Под Знаменем Марксизма» 1924, IV—V, стр. 267—273. (По поводу нем. изд. К. Корша: «Марксизм и философия».)

226. Тальгеймер, А. О предмете диалектики. «Вестник Социалистической Академии». 1923 г. № 2, стр. 98—101.

227. Тальгеймер, А. Ленин как философ. «Под Знаменем Марксизма» 1924, VIII—IX, XII.

223. Тальгеймер, А. О некоторых основных понятиях теории относительности с точки зрения диалектического материализма. (По поводу немецкого изд. «Материализма и эмпириокритицизма» Н. Ленина.) «Под Знаменем Марксизма» 1925, № 1—2, см. гл. IV. «Гегелевская диалектика пространства, времени и движения, ее религиозное ядро», стр. 88—100.

229. Тер-Оганезян, В. Несколько мыслей о диалектике. «Под Знаменем Марксизма» 1922, IX, X, стр. 209—218.

230. Трахтенберг, О. Беседы с учителем по историческому материализму. Гиз. М. 1924, стр. 31—39. (Диалектика.)

231. Туган-Барановский, М. Теоретические основы марксизма. 4-е изд. М. 1918, гл. II. Психологические предпосылки материалистического понимания истории, см. Маркс и Гегель, стр. 30—35.

232. Унтерман, Э. Диалектические этюды, пер. с нем. И. Г. Наумова, под ред. П. Дауге. М. 1907. См. предисловие, стр. 3—16, гл. III. Марксизм, дарвинизм и диалектический монизм, стр. 59—77, гл. VI. Антонио Лабриола и Иосиф Дицген. Опыт сравнения исторического материализма и диалектического монизма, стр. 110—147.

233. Фейербах, Людвиг. Сочинения. Т. I. Перевод С. Бессонова, со вступ. статьей А. Деборина и с примечаниями Л. Аксельрод-Ортодокс. Гиз. 1923. Институт К. Маркса и Ф. Энгельса.

См. I. К критике гегелевской философии, стр. 1—42.

См. II. Необходимость реформы философии, стр. 52—58.

См IV. Предварительные тезисы к реформе философии, стр. 59—75.

См. V. Основы философии будущего. 101—140.

234. Филиппов, М. Современные русские экономисты. Критика диалектического метода. «Научное Обозрение». 1899. IX.

235. Фогараш, А. Марксизм и философия. «Вестник Социалистической Академии» 1923, № 6, стр. 412—416. (По поводу книжки К. Корша: «Марксизм и философия».)

236. Цейтлин, З. Физика Гегеля. «Под Знаменем Марксизма» 1925, № 5—6, стр. 73—88. № 7, стр. 134—151.

237. Штейн, Л. Социальный вопрос с философской точки зрения. Пер. с нем. П. Николаева. Изд. К. Солдатенкова. М. 1899, см. стр. 349—352, 357—358, 367—369, 462—465.

238. Шулятиков, В. Оправдание капитализма в западно-европейской философии. М. 1908. См. IX. Фихте, Шеллинг, Гегель, стр. 80—99.

239. Эссен, Э. Введение в изучение марксизма, вып. I. Л. Гиз. 1924. См. § 47. Диалектика, стр. 346—363.

240. Юшкевич, П. Материализм и критический реализм. (О философских направлениях в марксизме). СПБ. Изд. «Звено». 1908. См. критику у А. Деборина «Введение в философию диалектического материализма». Изд. 3-е. Гиз. 1924, стр. 320—335.

Предметный указатель.

Я. Розанов.

Новые атеистические памфлеты.

Жак Нэжон. Солдат-безбожник. Перев. с французского О. Румера со вступительной статьей И. Луппола. Изд. «Материалист». Москва 1925. Тираж 10.000 экз.

П. Гольбах. Карманный богословский словарь. Перев. под ред. и с предисловием И. Луппола. Кн-во «Материалист». Москва 1925. Тираж 10.000 экз.

Еще в 1905 г., в «Новой Жизни», возражая тем, кто считает религию частным делом по отношению к партии социалистического пролетариата, Ленин писал: «Наша программа вся построена на научном и, притом, именно материалистическом мировоззрении. Раз'яснение нашей программы необходимо включает поэтому и раз'яснение истинных исторических и экономических корней религиозного тумана. Наша пропаганда необходимо включает и пропаганду атеизма; издание соответственной научной ли-

тературы, которую строго запрещала и преследовала до сих пор самодержавная и крепостническая государственная власть, должно составить теперь одну из отраслей нашей партийной работы. Нам остается теперь, вероятно, последовать совету, который дал однажды Энгельс немецким социалистам: перевод и массовое распространение французской просветительной атеистической литературы XVIII века» (Собр. сочин., т. VII, ч. I, стр. 50).

Время для разрешения этой задачи наступило, однако, лишь через полтора десятка лет после того, как она была поставлена перед русскими коммунистами. Издание Обществом Воинствующих Материалистов «атеистических памфлетов» французских материалистов нужно горячо приветствовать, как почин в выполнении этого старого завета Ленина, повторенного им еще раз в 1922 г.

Рецензируемые книги представляют 5-й и 6-й выпуски серии, выходящей под редакцией А. М. Деборина. Первая из них снабжена интересной вступительной статьей т. И. К. Луппола, впервые знакомящей русского читателя с деятельностью Жака Нэжона, мало известного у нас ближайшего сподвижника Дидро. Она же дает очень любопытную картину техники изданий нелегальной материалистической и атеистической литературы эпохи подготовки буржуазной революции. Предисловие его же ко второй книжке рисует, между прочим, очень показательную картину различия в отношении к боевой литературе среди самих просветителей. Книжки, особенно вторая, будут с интересом прочтены всяким, даже тем, кого нечего уже убеждать во вреде религии, этой «духовной сивухи», по выражению Ленина. В памфлете Гольбаха не чувствуется его обычный, несколько утомительный для современного читателя; стиль. «Словарь» написан легко и остроумно. Когда же в определении богохульства Гольбах пишет—«чем богаче тот, у которого похищают, тем преступнее похититель. Следовательно, тот, кто украл у бога или его священников, заслуживает сожжения на костре; кто украл у богача, должен быть повешен; а кто обворовал бедняка, тому обычно бояться нечего»,—это звучит революционно не только для эпохи буржуазной революции, но и для эпохи буржуазного господства.

Хотелось бы, чтобы т.т., специально занимающиеся антирелигиозной пропагандой, шире, чем до сих пор, использовывали долю общего труда борьбы с религией, вносимую «философами». Не использовать в текущей антирелигиозной работе эту боевую и остроумную, хотя и отвлеченную, критику церкви и духовенства—значит не использовать одного из важнейших и готовых орудий в борьбе.

Вместе с тем хотелось бы поставить и другой вопрос. Еще Ленин писал о необходимости не только использовать атеистическую литературу XVIII века, но и о необходимости систематически следить за всем тем новым, что появляется в литературе и у нас и, особенно, на Западе, и что может быть привлечено для этой цели. Следует прямо признать, что дело это поставлено до сих пор слабо, в том числе и в «Под Знаменем Марксизма», и что им почти никто не занимается. Между тем это огромной важности задача. Необходимо привлечь и к этому участку идеологического фронта внимание т.т., работающих в области теории всех тех, кто хочет на деле приложить свои силы в борьбе с идеализмом и поповщиной.

Ник. Карев.

В. Л. Комаров. *Ламарк*. «Биографическая библиотека». Гиз. 1925 г. Стр. 143. Цена 1 руб.

Настоящая книжка первая, известная нам попытка изложить на русском языке, по первоисточникам, биографические сведения о Ламарке и данные о его научной работе, в частности о его эволюционной теории. Как тип ученого, Ламарк представляет большой интерес. Универсально образованный, работавший как в области зоологии, ботаники, эволюционной теории, палеонтологии, так и в области метеорологии, геологии и физической географии, не чуждый симпатии к Великой Французской Революции, участник известной «Энциклопедии» Дидро и Даламбера—он всю свою энергию отдал научной деятельности, как истинный рыцарь науки, оставшись верным своим научно-революционным воззрениям даже тогда, когда непризнанным, забытым, слепым 85-летним старцем он диктовал дочери свои последние научные труды. Располагая очень большим знанием *фактов* естествознания, являясь в этом отношении образованнейшим человеком своего времени, Ламарк, кроме этого, обладал широко-философским умом, умением синтезировать разрозненный научный материал в цельную систему философского мировоззрения. В этом отношении он может послужить образцом для многих современных естественников, упорно цепляющихся за голую примитивную индукцию и не понимающих роли философского мышления, как в *научной деятельности*, так и в создании научного мировоззрения.

Комаров сумел не длинно и достаточно полно изложить биографию Ламарка и охарактеризовать его как личность и научного работника, приведя в тексте ряд интересных документов, относящихся к деятельности ученого. Большая часть книжки посвящена разбору содержания научных работ Ламарка, в особенности в области биологических дисциплин. Автор останавливается на его общебиологических взглядах и характеризует их, как взгляды материалистические. Ламарк признавал возможность самозарождения жизни из неорганических энергий и веществ, жизнь считая *естественным* явлением, не находящимся в неразрешимом противоречии со всей природой. «Сила жизни,—писал он,—не имеет ни цели, ни намерений, ограничена в круге своих действий, и сама является лишь совокупностью действующих причин, а не особым существом. Я первый установил эту истину, в то время, когда жизнь рассматривали, как принцип, как архея, как какое-то самостоятельное существо». Эта действительно *материалистическая* установка сочеталась у Ламарка с особенно известной и важной стороной его биологических построений—с признанием изменяемости, эволюции органических существ. Начиная с 1801 года, он определенно ставит этот вопрос, отстаивая мысль о единстве жизни и о развитии всего животного на земле. Он решительно выступает против догмата о неизменности видов, как актов творения, считая их текучей, а не метафизически-застывшей категорией. «Виды,—говорил он,—понятие *относительное* и являются стойкими лишь *временно*». Как известно, Ламарк построил всю свою эволюционную гипотезу на *факторе* изменчивости, самой по себе создающей *приспособление*, *усовершенствование* организации живых существ. Об *отборе*, как *основной* причине усовершенствования безразлично изменяющихся организмов, впервые поставил вопрос Дарвин. Для растений и низших животных Ламарк, в качестве *причины* изменения, выдвигал *прямое* влияние внешней среды, а для высших животных, у которых сильно развита активность по отношению к среде, причиной он считал функциональные напряжения и ослабления, *упражнение* и *неупражнение органов*, приводящих к увеличению, раз-

витию или, наоборот, к уменьшению, атрофии соответствующих частей организма. Разработав эти вопросы, особенно в «Философии зоологии», Ламарк распространил свои эволюционые взгляды и на человека, развив гипотезу о происхождении человека от животного, близкого к обезьянам и, таким образом, предвосхитил соответствующую гипотезу Дарвина.

Обо всем этом Комаров в своей книжке говорит, не забыв упомянуть и о том, что Ламарк писал также о роли одомашнения в изменчивости организмов и учитывая роль гибридизации.

Но по какой-то странной случайности автором забыта очень важная сторона эволюционной гипотезы Ламарка, имеющая большое принципиальное значение. Мы имеем в виду телеологический момент учения Ламарка. Еще Дарвин отмечал, как недостаток его гипотезы,— «веру в прогрессивный закон развития организмов». Ламарк распределял всех животных в один сплошной ряд, с млекопитающими на одном конце и инфузориями на другом. Причина этой правильной градации—от простого к все более сложному—сверх'естественная. «Как для животных,— пишет Ламарк в «Философии зоологии»,—так и для растений существует один естественный порядок, насажденный верховным творцом всего сущего. Этот порядок—«закон прогрессивного усложнения» в процессе эволюции. Закон прогрессивного усложнения—основной момент эволюционной концепции Ламарка. Прямое влияние среды и функциональные изменения — есть частный ее момент. В следующей цитате из «Философии зоологии» это очень четко выражено: «Если бы причина, непрестанно стремящаяся к усложнению организации, была единственной, имеющей влияние на форму и органы животных, то это усложнение происходило бы всегда в совершенно правильной прогрессии. Но это далеко не так. Природе приходится подчинять свои действия влиянию внешних обстоятельств, каковые и вносят разнообразия в самые произведения. Вот та частная причина, что порождает здесь и там в ходе деградации сплошь и рядом странные уклонения» (разрядка наша. *В. С.*). Прямое и косвенное влияние среды играет у Ламарка роль частной причины в автогенетически совершающейся эволюции. Это же ограничение «ламаркизма» видно и в следующем заявлении:

«Прогрессия в усложнении организации представляет то здесь, то там в общем ряду животных неправильности, производимые влиянием условий местопребывания и влиянием усвоенных привычек» («Философия зоологии». Разрядка наша. *В. С.*).

Таким образом упражнение и неупражнение и прямое влияние среды вызывает только «неправильности» в гармоническом процессе телеологической эволюции; принципы ламаркизма урезаны самим Ламарком до последней степени. Характерно, что эта идалистическая точка зрения мирится у Ламарка с его материалистической установкой в вопросе о сущности жизни. Но это не случайность. В наше время такая же непоследовательность допускается видным российским телеологом-эволюционистом Бергом. Создавая безнадежно-идеалистическую, виталистическую концепцию эволюции («номогенез»)—он одновременно заявляет: «никаких других сил, кроме известных физике и химии, никогда в организмах не наблюдалось и, можно думать, не будет наблюдаться» («Номогенез»). У Берга, как и у Ламарка,—«жизненная сила», изгнанная в дверь, благополучно возвращается в окно: у первого в форме принципа номогенетического развития, у второго в форме—«прогрессии в усложнении организации». Комаров, почему-то, этого важного обстоятельства совершенно не осветил.

Точно так же, нам кажется совершенно неосновательным слишком снисходительное отношение автора к переоценке Ламарком психического фактора в эволюции. Сам Комаров заявляет, что крупная роль психического начала «составляет одну из выдающихся особенностей учения Ламарка». Редактор русского перевода Ламарка—Карпов заявляет, что Ламарк дает «психо-физиологическое об'яснение процессу изменения видов» (предисловие Карпова). Вообще в функциональных изменениях—этом наиболее «ламарковском» типе изменений—Ламарк отводит безусловно бóльшую роль моменту внутренней активности, чем внешней среде. Когда он говорит о фактах изменения видов, психические понятия занимают очень почтенное место. Тут есть «потребности», как причина действий, «привычка», обеспечивающая длительность деятельности, «внутренние усилия» организмов, «усилия внутреннего чувства», «желания», «воля» и пр. Психическая активность выступает, как необходимый элемент изменения. Не говоря о том, что представить себе изменения по такой схеме, с точки зрения современных научных знаний мы не считаем возможным, следует отметить, что переоценка Ламарком психического фактора послужила авторитетным основанием для целого неприятного направления в эволюционном учении—для психо-ламаркизма. Эти последние (Вагнер, Паули, Франсэ) считают Ламарка своим учителем, отстаивая очень туманную, с виталистическим привкусом, концепцию о руководящей роли сознания в эволюционном процессе. Так, Франсэ пишет: «Учение Ламарка считает мышление способным оказывать влияние на организмы», и в другом месте: «Основной пункт всего ламаркизма—психо-физическая причинность» и, наконец: «Ламаркизм не имеет смысла, если не признать души, направляющей приспособления». В результате Франсэ считает возможным заявить, что «ламаркизм отчасти тождественен с витализмом» (R. Francé. Der heutige Stand der Darvinischen Fragen). Конечно, не случайна эта интерпретация ламаркова учения, ибо у Ламарка есть положение, допускающее такое истолкование его идей, об'единение их со взглядами психо-ламаркистов.

Не дооценив отрицательных сторон ламаркизма, Комаров, в общем, переоценивает историческую роль Ламарка. Подводя итоги своим рассуждениям, он пишет: «Причинную связь явлений в процессе эволюции мира живых существ Ламарк понимал глубже, чем Дарвин, и даже, если он не прав, то самая постановка вопроса у него имеет для современной науки больше значения, чем та же постановка у Дарвина». Говорить это, забывая о том, что Ламарк по своей основной характеристике—автогенетик, что процесс изменчивости видов им затуманен психическим фактором, что, об'ясняя изменчивость, Ламарк не сумел об'яснить приспособительной эволюции, и, забывая о том, что всех этих недочетов у Дарвина нет, говорить это—значит, возвеличивая Ламарка, принижать Дарвина. Дарвин отбросил все и всякие телеологические принципы эволюции, он впитал в свое учение ламаркову идею функциональных изменений, придав ей более рациональный вид, введя принцип отбора, он об'яснил не только изменчивость, но и прогрессивную эволюцию, приспособительное усовершенствование органического мира. Он создал законченную эволюционную теорию, которая по стройности, глубине и широте охватываемого материала оставляет далеко позади начинания Ламарка. Ошибочная оценка Дарвина, по сравнению с Ламарком, коренится у Комарова, кроме вышеизложенного, еще в одной принципиальной неправильности, которую он допустил. Сравнивая основные положения ламаркизма и дарвинизма, он, в ряду других противоположностей в их взглядах, выдвигает следующее:

Дарвин	Ламарк
1859.	1809.
Исходным пунктом эволюции является прирожденная, индивидуальная изменчивость.	**Исходным пунктом эволюции является действие среды на организм.**

Изображение взгляда на изменчивость у Дарвина совершенно ошибочное. Дарвин не считал причиной изменчивости организмов внутренние, прирожденные тенденции. В качестве причины изменений он выдвигал, как и Ламарк (даже в большей степени, чем этот последний, отводивший большую роль внутренней активности организма), внешнюю среду. Он говорил об этом не часто, но очень определенно. Так, например, в известном письме в Гёксли, он категорически заявляет: «Если... внешние условия оказывают мало прямого влияния, что же, чорт возьми, определяет тогда каждое отдельное изменение?» («Из переписки Дарвина», т. VIII). Об'ясняя изменчивость, Дарвин является решительным противником «вмешательства в это дело какой бы то ни было внутренней силы» («Происхождение видов»), так что Комаров ошибается, когда говорит о «прирожденной» изменчивости, как исходном пункте дарвиновской эволюции.

Социологического анализа в работе Комарова нет совершенно. Когда же ему, по логике изложения, приходится на это натыкаться, он или обходит вопрос или говорит вещи, совершенно «неблагозвучные». Например: «Бывают рокобые ошибки, надолго тяготеющие над судьбами человека; учение Галлера было одной из таких ошибок, его «жизненная сила» прямо приостановила развитие биологии». Если учение о жизненной силе, окрасившее в определенный цвет столетнее развитие биологии, было «роковой ошибкой» по почину смелого Галлера,— тогда Комаров может быть уверен, что вся история человеческой мысли есть собрание роковых ошибок. Роковая ошибка (правда, без автора)— идея бога, роковая ошибка — догмат о неизменяемости видов, роковая ошибка—теория катастроф Кювье и пр. и пр. Автору непонятна закономерность общественного развития, в частности развития общественной мысли. Всю историю, вслед за другими многими естественниками, он мыслит как хаос случайностей, недоразумений, ошибок и удачных «попаданий в цель». Социологии, как науки, для него не существует. Вот почему в его книге нет, очень бы уместного, социологического анализа идеологии Ламарка.

В общем, все-таки, мы считаем, что книга может, не имея конкуренции, сослужить для читателя некоторую полезную службу.

Вас. Слепков.

А. Пригожин. Гракх Бабеф. Изд. Свердловск. У-ва. Москва 1925 г. Стр. 226.

Первый проповедник революционного коммунизма, провозвестник революционной диктатуры—Бабеф, безусловно, заслуживает более богатой литературы, чем та, которая имеется о нем на русском языке. В самом деле, книжечка Жбанкова, собрание документов и отрывков Альберта Тома да не так давно вышедшая книга Буонаротти, вышедшая, к сожалению, в урезанном, сравнительно с подлинником, виде, вот в сущности и все, за исключением глав в общих работах и весьма немногочисленных статей, все, чем располагает всякий, желающий ознакомиться с учением и деятельностью вождя «равных». Из марксистских

не работ мы имеем лишь главу в книге Волгина «Очерки по истории социализма»...

Поэтому каждое появление новой книги, да еще книги марксистской, посвященной рассмотрению деятельности и учения Бабефа, должно привлекать к себе сугубое внимание читателя. Привлечет таковое, несомненно, и книга т. Пригожина, почему и хотелось бы остановиться в ее разборе более подробно, тем более, что в одном из наших журналов уже появилась рецензия, дающая этой книге весьма блестящую оценку [1]).

Начав с очерка положения промышленности и рабочего класса в эпоху директории, тов. Пригожин переходит к рассмотрению раннего периода жизни Бабефа и к его воззрениям этого времени. Затем события жизни великого коммуниста излагаются параллельно с описанием эволюции его идей. Постепенно на протяжении глав 3—5 мы можем проследить, как Бабеф из приверженца идей черного передела становится проповедником полного обобществления собственности, из раздельщика—коммунистом. Глава 5 посвящена рассказу о заговоре равных и о его крахе, а глава 6—анализу идей Бабефа—бабувизму.

Во всем этом изложении наименее удачной можно назвать главу 4. При чтении ее у читателя неизбежно возникнет ряд недоуменных вопросов, и произойдет это потому, что, при написании указанной главы автор ее не отдавал себе ясного отчета во взаимоотношениях различных партий эпохи, непосредственно следующей за катастрофой 9 термидора. Между тем, понять позицию Бабефа в период издавания им журнала «Свободы Прессы», возможно только в свете этих взаимоотношений. На стр. 60 автор утверждает, что Бабеф «принадлежал к левым элементам противоробеспьеровской коалиции» и «был проникнут теми же (как и эти элементы) настроениями». Но левыми элементами противоробеспьеровской коалиции были левые якобинцы, якобинцы группы Билло Варэна, Колло Д'Эрбуа, Вадье и др. Они отстаивали необходимость усиления террора и сохранения во всей полноте режима революционного правительства, в то время, как Бабеф требовал восстановления демократии и, в частности, полного восстановления свободы прессы, самыми решительными противниками каковой являлись представители этих «левых элементов» противоробеспьеровской «коалиции». По этой причине и самое название главы «На левом фланге якобинцев» является неправильным. Если с какими-нибудь группами и солидаризировался в эту эпоху Бабеф, то это были остатки бешеных, которые, как известно, только по ошибке могут считаться за фракцию якобинцев.

На стр. 61 говорится, что эпиграфом к № 1 своего журнала Бабеф избрал слова Фрерона, а на стр. 62 упоминается о «термидорианских симпатиях Бабефа». Но термидорианцами у нас принято называть ту реакционную клику, которая после 9 термидора, вопреки «левым элементам противоробеспьеровской коалиции», захватила власть. Что же касается Фрерона, то он был вождем этой реакционной клики. И вот, при чтении вышеуказанных сообщений и утверждений малоосведомленный читатель может подумать, что Бабеф в эту эпоху вполне солидаризируется с реакционерами. На самом же деле этого, конечно, не было.

Как и почему создавалось положение, вследствие которого истинный демократ Бабеф выступал за одно с термидорианцами против яко-

---

[1]) «Красная Новь», № 6, рецензия Браславского.

бищев, этого нам т. Пригожин не раз'ясняет. Мало того, в процессе дальнейшего изложения все эти неясности не только не исчезают, а, напротив, усиливаются. Так, на 67 стр. говорится, что Бабеф, под влиянием усилившейся реакции, примкнул к левым якобинцам, что он выступал против Билло Варэнна, защищая гебертистов, и брал под свое покровительство антиякобинских патриотов. Во всей этой путанице названий различных группировок разобраться довольно трудно; остается непонятным, как Бабеф примкнув к якобинцам (хотя бы и левым), защищал «антиякобинских патриотов».

А, между тем, вокруг Бабефа в это время группировались действительно враждебные якобинцам элементы. Но в большинстве своем они состояли из бывших бешеных, давнишних противников якобинцев. Эти остатки бешеных выдвигали, наравне с требованием восстановления полной демократии, требования о проведении каких-то экономических мероприятий. Именно против этих групп были направлены тирады одного конвентского адреса этой эпохи: «Собственность должна быть священной, нам чужды эти системы... снисходительные к грабежу и возводящие его в систему...»[1]).

В свете этих обстоятельств союз электоральцев, т.-е. элементов, группирующихся вокруг избирательного клуба, с будущим вождем заговора «равных» вполне понятен. К сожалению, обстоятельства эти ускользнули от автора нашей книги. Напротив, он полагает, что «экономическая программа Бабефа этого времени была чисто якобинской», что у Бабефа «нет никаких требований, направленных к урегулированию экономической жизни» (стр. 69). Если это так, то почему якобинцы пытались всеми силами отмежеваться от Бабефа и бешеных декларациями вроде следующих: «Пусть нам не говорят, что наша цель—ограбление богачей, народ ничего не хочет, кроме работы и хлеба»[2]).

Повторяю, глава 4 содержит в себе много неясного и должна будет в последующих изданиях книги т. Пригожина подвергнуться серьезной переработке.

Нельзя, пожалуй, согласиться и с конечными выводами нашего автора, который, давая оценку учению Бабефа, рассматривает его, как «чисто аграрный коммунизм» (19, 163).

«Все произведения Бабефа,—говорит т. Пригожин (стр. 164),—выставляющие требование уничтожения всякой частной собственности, имеют в виду почти исключительно собственность земледельца, не говоря ни слова о промышленных предприятиях». Между тем, уже из цитат, приводимых самим т. Пригожиным, или из документов, приложенных к его книжке, явствует, что Бабеф мыслил обобществление, как обобществление всей производственной деятельности общества. Ведь сам же тов. Пригожин находит возможным говорить о Внешторге бабефовской общины (стр. 151), сам же он цитирует одну из брошюр Бабефа, в которой говорится о необходимости «сосредоточить все наличные богатства в руках общины», «собирать в общественные склады все продукты земледелия и промышленности» и «положить конец всякой частной собственности и торговле» (122). И, наконец, опять-таки, сам же т. Пригожин на стр. 126 заявляет, что коммуна Бабефа «есть всесторонняя государственная организация, охватывающая все стороны человеческой жизни...».

[1]) Moniteur, XXII, 200—201.
[2]) Протоколы Якобинского Клуба, т. VI, стр. 528.

...ли мы обратимся к подлинным документам, к документам, хотя ...ично приложенным к рассматриваемой нами книге, то и в них ...найдем не мало доказательств против положения ее автора отно...тельно исключительной, якобы, аграрности коммунизма Бабефа.

Так, в «Доктрине Бабефа» (документ № 12), ст. 4, мы читаем: ...руд и потребление должны носить коллективный характер...» Ни из ...го не следует, что здесь дело идет только о земледельческом труде. ...тья 6 того же документа говорит, что «никто не может присвоить ...ключительно себе поземельную или промышленную собственность», ...довательно, эта последняя должна быть обобществленной, наравне с ...бственностью земледельческой.

Не менее убедителен в этом отношении «Декрет об общественных ...ботах» (документ 13 Г.). В этом декрете совершенно определенно ...орится о регулировании всей производственной деятельности общины ...к сельско-хозяйственной, так равно и промышленной. И если ст. 14 ...того декрета говорит особо о чиновниках, наблюдающих за улучше...нием животноводства, не упоминая столь же детально других сторон ...йственной жизни, то происходит это потому, что именно на этой ...тье обрывается декрет и его остальные статьи никогда не были ...писаны.

Тов. Пригожин подчеркивает, что Бабеф нигде не говорит о на...ционализации крупно-промышленных предприятий (стр. 164). С нашей ...чки зрения происходит это потому, что таковые предприятия, ввиду ...х малочисленности, играли слишком малую роль во всей экономиче...ской жизни страны. Не забудем, что Франция XVIII века была страной ...мелкого ремесла и домашней промышленности, а также страной, по ...преимуществу, крестьянской. Не забудем также, что в эпоху Дирек...тории именно земельная собственность являлась предметом злостной ...спекуляции и именно на почве этой спекуляции и создавались колос...сальные богатства и вырастало громадное имущественное неравенство. ...Потому не мудрено, что «Экономический декрет», на который ссылается т. Пригожин, особенно подробно останавливается на обобществлении ...менно земельной собственности.

Но это совершенно не может служить доказательством того, что ...прочие виды собственности остаются не обобществленными, да и все ...ранее приведенные нами доказательства уже достаточно опровергают ...высказанное тов. Пригожиным положение об исключительно аграрном ...характере Бабефовского коммунизма.

Однако при всем вышеуказанном, книга тов. Пригожина остается ...книгой не плохой, книгой, живо и популярно написанной, книгой, ...которую с интересом мог бы прочесть всякий, интересующийся исто...рией развития коммунистической мысли. Но, к сожалению, на всей ...этой книге лежит такой отпечаток спешки и небрежности, который ...сильно уменьшает ее качества.

В первую очередь небрежность эта коснулась аппарата ссылок и примечаний. Аппарат этот по первоначалу производит весьма солид...ное впечатление, однако впечатление это меняется при более при...стальном его рассмотрении. Так, многочисленные цитаты из авторов ...разных аграрных проектов взяты тов. Пригожиным не из подлинников, а из всем доступной, имеющейся на русском языке, работы Вольтерса: «Очерк истории аграрных отношений и аграрного вопроса в XVIII веке во Франции». Однако это обстоятельство нигде не оговорено, и у ...неискушенного читателя может появиться впечатление проработки тов. Пригожиным всего этого материала по подлинникам. Мало того, иногда

том. Пригожин изложение, имеющееся у Вольтерса, принимает за подлинную выдержку из автора XVIII века и как таковую ее и использует,—именно так обстоит дело с цитатой из Госелена на стр. 33.

Совсем непозволительной является ссылка на том II (!) «Немецко-французского ежегодника», который, как всем известно, появился всего в одном томе. Однако сличение страниц, на которые сделана ссылка, показывает, что цитаты сделаны не по подлиннику, а по второму тому русского издания «Литературного наследства».

Повлияла эта небрежность и спешка и на другие стороны книги, так кое-где попадаются очень неудачные переводы (70, 79), не везде гладко со стилем.

Небрежностью же только и можно об'яснить приписывание О'Коннору знаменитой, сказанной Стефенсом, о «ноже и вилке» фразы.

Словом, недостатки такого рода довольно значительны, но они легко и вполне устранимы. И если они будут устранены, если глава 4 будет переработана, а выводы автора относительно исключительной аграрности коммунизма Бабефа будут пересмотрены—книга очень и очень выиграет. Выскажем же пожелание, чтобы все это было проделано ко второму изданию рассмотренной нами книги, и тогда мы будем иметь хорошую, научно-популярную работу, посвященную родоначальнику революционного коммунизма Бабефу.

С. Моносов.

Karl Menger. Grundsätze der Volkwirtschaftslehre. 2 Auflage. Wien—Leipzig 1923

Перед нами, таким образом, 2-е издание «Основ» Карла Менгера, одного из основоположников австрийской школы предельной полезности, вышедшее спустя более чем полвека после выхода в свет первого издания (в 1871 году). Со времени выхода в свет первого издания и до своей смерти К. Менгер-отец, как свидетельствует его сын, также Karl Menger jun., продолжал работу над дальнейшей разработкой и углублением своей теории. В нашу задачу рецензента не входит ни изложение, ни критика теории школы предельной полезности. Оно всем известно, а также и его исчерпывающая критика со стороны марксистов (см., напр., Гильфердинг, Бухарин и др.). Здесь мы хотели бы, в связи с выходом второго издания, остановиться лишь на одном интересном моменте.

Как известно, исходным пунктом австрийской школы является потребность, или точнее предельная степень полезности. Учение о потребности, как относительном моменте и основе полезности благ, должно было бы поэтому явиться фундаментом всей экономической теории австрийской школы, в частности теории К. Менгера. И действительно, по словам R. Schüller'а, снабдившего Geleitwort'ом второе издание, «Менгер показал (правильнее, безуспешно стремился показать. *В. И.*), каким образом ценность всякого блага определяется силой (Stärke) потребности, удовлетворение которой зависит от наличия этого блага». И тот же Schüller справедливо отмечает, что на основе ценности надстраиваются такие явления, как обмен, деньги и цены.

Каждому известно также, что таким фундаментом в теории классической школы, а также и у Маркса, являлись труд и производство. Но всякая попытка критики со стороны буржуазной экономии теории Маркса, в которой трудовая теория ценности, развитая классиками, нашла свое логическое завершение, была, как показывал богатый опыт, заранее обре-

ней на неудачу. Эта критика, в лице австрийской школы, покидает обычный общепринятый в экономической теории путь от производства к об'яснению всех экономических явлений капиталистического общества и, идя, так сказать, в обратном направлении, кладет в основу своих теоретических построений индивидуального потребителя с его потребностями. Тем самым они думают, если и не преодолеть Маркса, то сделать его теорию просто ненужной. Отсюда потребность оказалась как бы монополизированной австрийцами, но это, между прочим, накладывало на них обязательство показать нам, что же представляет из себя эта основная у них категория потребности. Другими словами, они должны были бы дать теорию потребности, а между тем такая теория у теоретиков школы предельной полезности отсутствовала.

С этой точки зрения второе издание «Основ» Менгера представляет значительный интерес, ибо оно дополнено по сравнению с первым изданием, и дополнено именно этой недостающей, и притом самой основной, частью. В первой главе Менгер пытается подвести этот необходимый фундамент под свои теоретические построения, посвящая ее как раз теории потребности; можно, пожалуй, сказать, что в ней Менгер дает философию потребности.

Как видно из введения, написанного его сыном, К. Менгер посвятил выработке этого учения о потребности долгие годы, протекшие со времени выхода первого издания «Основ». Здесь, мимоходом, следует отметить некоторую пикантность: в 1871 году выходит труд Менгера, где с шумом и треском об'является о появлении новой экономической теории, строящейся не на базисе труда и производства, а в противоположность классикам (и Марксу) на совершенно ином фундаменте—на полезности и потреблении. Но в то же время оказывается, что этот самый фундамент для самого автора этой теории был прекрасной незнакомкой; по крайней мере, в дальнейшем, Менгер чуть ли не в течение полувека ищет разрешения вопроса о сущности этого основного понятия, и в результате приходит к своему учению о потребностях, уложившемуся всего на всего на каких-нибудь девяти страницах. Впрочем, дело не в количестве, а в качестве. Но и в смысле качества получается весьма неутешительная картина; получилась лишь новая «бесполезная бесполезность».

На самом деле. Исходным пунктом,—говорит Менгер,—всякого теоретико-экономического исследования есть имеющая потребности природа человека. «Без потребности нет хозяйства» (Ohne Bedürfnisse gäbe es keine Wirtschaft)—продолжает он. Это, конечно, совершенно верно, ибо при отсутствии у человека вообще всяких потребностей никакое хозяйство не мыслимо. Если предположить, что действительно существуют «бесплотные силы», то, разумеется, не приходится и говорить о «хозяйстве» сих бесплотных сил, ибо эти ангельские чины, не имея потребностей, или имея потребности высшего, мистического характера, не нуждаются ни в какой грубой материальной хозяйственной деятельности. Но из всего этого логически следует только один вывод, что наличность потребностей является необходимой предпосылкой хозяйства, подобно существованию земли и земной поверхности, но не более («Ohne Bedürfnisse gäbe es keine Wirtschaft, keine Volkswirtschaft, keine Wissenschaft von derselben»—продолжает Менгер. Последнее тоже верно, но лишь в том смысле, что наличность хозяйства вообще, или народного хозяйства, абсолютно необходима для того, чтобы могла возникнуть наука, изучающая это народное хозяйство). Нельзя сказать, чтобы этот трюизм был особенно ценным приобретением экономической мысли. Но кроме него, по вопросу о потребности мы, в сущности, ничего у Менгера не находим.

Но ведь целью всякой экономической теории является не только об'яснение всех явлений экономической жизни, она должна об'яснить и все изменения этих явлений. Основной принцип, найденный и установленный теорией, должен дать нам также и закон их развития. Требуется об'яснить не только данное экономическое общество и отношения внутри данного хозяйственного организма, дать, так сказать, статику экономики; нужно также об'яснить и ее динамику, вскрыть и установить закономерность ее развития. Менгер не замечает этой второй, более основной задачи. Для него экономика есть нечто застывшее, неизменное, разве что способное к чисто количественным изменениям; общество, как хозяйственное целое, есть простая арифметическая сумма входящих в него индивидуумов—атомов. Единственное, что можно наблюдать в обществе—это простое увеличение числа этих индивидуумов, простой количественный рост. О том, что в обществе происходят также изменения качественного характера, более того, что количественный рост вообще влечет за собой это качественное изменение и, наоборот, что этот количественный рост предполагает уже наличность некоего качественного изменения, обо всем этом мы ничего не найдем у Менгера. Общество фактически развивается, и развивается не только в одном количественном отношении; Менгер не может совершенно абстрагироваться от этого развития; у него получаются вследствие этого противоречия. Но эти противоречия, к слову сказать, вовсе не из числа тех, которые движут вперед, наоборот, они приводят к нулю все научное значение его теории.

Потребности человека не остаются неизменными, они постоянно развиваются,—таков, по крайней мере, эмпирический факт, в первую очередь требующий своего теоретического об'яснения; это теоретическое об'яснение тем более настоятельно для школы предельной полезности, ибо она, как мы знаем, считает «потребность» основным экономическим принципом. Абстрагировавшись от общественного, в частности экономического развития, или мысля его слишком упрощенно, как количественное нарастание, Менгер не мог, естественно, искать об'яснения этого развития потребностей в пределах самого экономического развития; поэтому он обращается к естествознанию («Учение о потребностях,—говорит он,—имеет основное (grundlegender Bedeutung) значение для науки о хозяйстве и вместе с тем представляет мост, который ведет от естественных наук, специально от биологии, к наукам о духе вообще и к науке о хозяйстве, в частности», стр. 1). Что же оно ему дает? Мы не можем здесь дать подробного изложения его учения о потребностях, приведем лишь его наиболее существенные черты.

Человек, подобно всем остальным живым существам (gleich allen übrigen Organismen) для своей жизни и своего развития нуждается в определенных условиях, всякое нарушение которых отражается на его жизненном процессе. Эти нарушения, притом не все, а только достигшие известной величины или продолжающиеся в течение известного времени, воспринимаются человеком, как известное раздражение, известное побуждение (Trieb) и вызывают в нем желание (Begierde) устранить их, вернуться снова «к состоянию внутренней гармонии и нормальному жизнеощущению» (Rückkehr zum Zustande innerer Harmonie und normalen Lebensgefühles). Это возможно только путем употребления определенных средств, известных благ. Наличность такого желания и представление о средствах его удовлетворения, т.-е. представление о соответствующем благе (здесь через заднюю дверь врывается момент производства!), т.-е. представление о соответствующем благе, составляют то, что называется, по Менгеру, потребностью (Bedürfniss). Следовательно, потребности

свойственны только психически одаренным существам; однако разница между человеком и наиболее высоко развитыми животными лишь количественная: человек обладает лишь более высокой степенью одаренности, чем животное. На этом стремлении человека к «поддержанию, к гармоническому развитию человеческой природы в ее целостности» (in ihrer Totalität) и основывается человеческое хозяйство. Но чем об'ясняется это развитие потребностей, в чем причина этой большей духовной одаренности человека по сравнению с животными—все эти вопросы даже и не ставятся Менгером; он принимает это, как данное. «Человеческие потребности, говорит Менгер,—не являются продуктом произвола, но даны нашей природой и тем положением вещей, в котором мы находимся» (стр. 4).

Однако мы встречаемся с эмпирическим фактом, с одной стороны, непрерывного развития потребностей человека, а с другой—такого же непрерывного развития человеческого хозяйства. Менгер, собственно говоря, и должен был бы разрешить эту проблему: во-первых, показать, как развитие потребностей обусловливает собой развитие хозяйства, а, во-вторых, найти закон развития потребностей. Ответ на этот второй, самый основной для школы предельной полезности, вопрос показывает всю беспомощность Менгера. Он ограничивается поистине детской ссылкой на игру человеческого ума. «Мы можем путем привычки модифицировать отдельные потребности, или даже их подавить, во многих же случаях путем привычки вызвать искусственные потребности. Однако всегда наши потребности, каково бы ни было их происхождение, являются прежде всего и непосредственно независимым от нашего произвола постулатом природы» (стр. 4). Тут же он устанавливает различие между **истинными** и **воображаемыми** потребностями. «Человеческие потребности не являются продуктом какого-либо изобретения (Die menschlichen Bedürfnisse sind keine Produkte der Erfindung), их нужно только открыть, и они становятся вместе с тем об'ектом нашего стремления к познанию. Это обстоятельство обусловливает то, что заблуждение, невежество и страсти влияют на истинное познание потребностей, его затушевывают, препятствуют его прогрессу и замедляют его. Соответственно с этим реальное человеческое хозяйство имеет дело на-ряду с **истинными** потребностями также с **воображаемыми** потребностями, которые имеют свое основание, в действительности, не в природе имеющего потребности суб'екта или в его положении, как члена какого-либо общественного союза, но являются только результатом ошибочного познания проявлений своей природы и своего положения в человеческом обществе» (стр. 4).

В конце концов, единственный результат, к которому мы можем притти,—это та истина, что вообще **предпосылкой** хозяйства является наличность потребностей у человека. Потребность же, как экономическая категория, осталась совершенно вне поля зрения австрийской школы. Второе издание «Основ» Менгера и развитое там учение о потребностях лишь еще раз ярко продемонстрировало всю бесполезность теории предельной полезности при решении проблем экономического порядка.

В. Позняков.

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

От редакции.

В статье тов. Степанова «Энгельс и механистическое понимание природы», помещенной в № 8—9 «Под Знаменем Марксизма», имеется несколько резких выражений по адресу тов. А. Тр., которые были сняты автором, но в условиях спешной работы остались неисправленными в корректуре.

Письмо в редакцию.

В «Библиографии о Гегеле» («П. З. М.» № 8—9 за текущий год) под № 19 помещена статья М. Бакунина «Реакция в Германии». Здесь говорится, что статья эта впервые напечатана у А. Корнилова «Годы странствий М. Бакунина».

Позвольте, для точности, внести поправку. До А. А. Корнилова статья эта была на русском языке опубликована дважды: в 1907 г. (сб. «Век ожидания») и в 1910 г. у Ф. Нелидова (с незначит. сокращ.) в книге «Западники 40-х г.г.». Мной это обстоятельство было указано в рецензии на «Годы странствий М. Бакунина» («Печать и Революция», книга 5—6 за текущий год).

Вяч. Полонский.

Редактор: **Редакционная коллегия.**

ИЗДАТЕЛЬСТВО
„ПРАВДА“ и „БЕДНОТА“
ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1926 год.

Производится прием подписки на 1926 г. на следующие издания	Подписная плата							
	На 1 мес.		На 3 мес.		На 6 мес.		На 12 мес.	
	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.
„Правда“, центральный орган РКП (б.)	1	—	2	85	5	50	10	—
„Беднота“, ежедневн. крестьянская газета	—	60	1	75	3	40	6	50
„Комсомольская Правда“, ежедневная комсомольская газета	—	75	2	15	4	25	8	25
„Под Знаменем Марксизма“, ежемесячный философский и полит.-эконом. журнал	1	50	4	25	8	—	15	—
„Прожектор“, двухнедельный литературно-художественный иллюстр. журнал	—	50	1	40	2	75	5	—
„Предприятие“, орган красн. директоров	1	—	2	85	5	50	10	—
„Рабсельнор“, руководящий орган рабселькоров	—	50	1	40	2	75	5	—
„Большевик“, двухнедельный полит.-экономич. журнал	—	60	1	75	3	25	6	—
„Деревенский Коммунист“, двухнедельный журнал ЦК РКП (б.)	—	25	—	75	1	50	3	—

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:

в Главной Конторе Издательства

„ПРАВДА“ и „БЕДНОТА“.

Москва, Малый Черкасский переулок, дом № 3/4.

Во всех Почт.-Телегр. Отделен., а также в Отделениях „ПРАВДЫ“.